

ЭДИТА

Андрей Мансуров
Дмитрий Учитель
Ерофим Сысоев
Наталья Разувакина
Константин Кравцов
Ольга Иванова
АММОНАФА И СИГИЦ
Дина Дронфорт
Владислав Козьминых
Сергей Калабухин
Андрей Саломатов

СПЕЦВЫПУСК 2025-2

ЭДИТА

**спецвыпуск
2-2025**

Литературный альманах
www.editagelsen2023.com

2025

Серия альманахов "ЭДИТА" запущена в марте 2024 г.
как преемник журнала "EDITA"

Выходит по мере накопления материала

Тексты публикуются преимущественно в авторской редакции

Литературная редакция:
Пётр Бледнёв, к.ф.н. Иоган Манаев,
к.ф.н. Эвдоксия Прянская, м.ф.н. Сильфида Селезнёва

Мнения редакции и авторов публикаций не обязательно совпадают

Графика обложки — из архива редакции

Издатель и главный редактор — Александр Барсуков

Copyright © 2025 bei Autoren
Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten

ISBN 978-3-911546-23-2

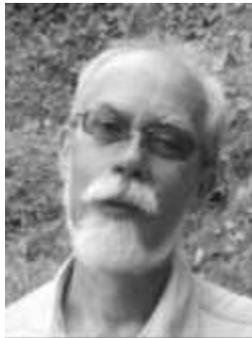
Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V.
logobo2023@gmail.com

Printed in Germany

РАССКАЗ

Андрей Мансуров

Ташкент



ЩЕНОК АКУЛЫ

Когда дядя Саня впервые принёс его, Бастер смотрелся... Мило.

Крохотные зубки не казались опасны — не больше, чем плоскогубцы: пока не сунешь пальчик и не сожмёшь, больно не будет!

Сам щенок выглядел маленьким, явно ещё очень юным. Из-за этого и пропорции тела были какими-то словно округлыми, и вызывающими не то жалость, не то умиление. Во всяком случае тётя Аня сразу засюкала:

— Ой, это кто же у нас здесь такой маленький? И кто — такой хорошенький? А уж наверное есть как хочет! Ну, иди сюда, малыш, иди! Тётя Аня сейчас мяска накрошит!..

На плохо держащихся и подгибающихся, ещё непрочных лапах, полуметровая «крошка» подковыляла к миске. Посмотрела на мясо, затем подслеповато пощурилась на окруживших её людей. Повела непривычно заострённой мордой вокруг миски, тыкнула пару раз в край... А затем, опустив нижнюю часть пасти — по-другому не скажешь! — принялась заглатывать наложенное мясо почти не жуя.

Дядя Саня победоносно оглянулся:

— Ну?! Я же говорил, что никаких проблем не будет?!

Как бы опровергая его слова, задняя часть тела «крошки» издала странный звук, и на ковре (пусть и синтетическом, но от этого — не менее нужном в комнате!) возникло нечто коричнево-зелёное и жутко... пахучее!

Вовка, поопасавшийся подойти ближе и погладить странное существо, когда оно ещё не то лежало, не то сидело на руках дяди, снова почесал в стриженном затылке.

Ему казалось, что радоваться ещё рано: акулёнок в доме лишь десять минут, а уже успел наделать большую кучу (ну, видать то, что поступило с переднего конца, как бы... выдавило то, что скопилось на заднем!), и прокусить тётя Анин тапочек.

— Ф-фу!.. Александр! Смотри, что он сделал с ковром мамы! Нет, так не годится — теперь придётся моющим пылесосом всё тут... И ещё не знаю — возьмёт или нет!

— Возьмёт, конечно. — дядя Саня казался слегка расстроенным, но старался «держаться марку», — Приучим! Будет проситься, как вон Маркиза.

Маркиза, шикарная персидская кошка, которой в «подростковом» возрасте сделали соответствующую операцию, чтоб не мучиться с когтями, молча смотрела на «приобретение» с фирменного места на диване. В прищуренном взгляде её Вовке виделись неприязнь и настороженность — ну как же!.. Любимица в доме должна быть одна!

— Смотри, он поел! — дядя Саня победно улыбаясь, взял в руки миску. Улыбочка подвяла. — А почему не облизал? И здесь ещё осталось по краям... А, ну да, у него же нет языка!

— Зато зубы у него — будь здоров! — тётя Аня, сунувшаяся было с совком к куче, отскочила со вполне понятной прытью, пытаясь спасти пластмассу от зубов. Однако реакции Бастеру оказалось не занимать: на совке остался след, как от перфоратора: три ряда мелких сквозных дырочек, — Гос-споди! Смотри, во что он совок превратил!

— Ну и ... — рука дяди Сани привычно потянулась туда, где в юности кустились шикарные кудри, немаловажную, кстати, роль сыгравшие в привлечении к себе внимания со стороны всё той же тётки Ани, а сейчас остались лишь ностальгические «обломки Империи», — с ним! Купим новый!

— Ага, смотрите, распокупался он! А тапочки, ковёр, и всё остальное, что он сгрызёт или уделает — тоже будешь каждый раз покупать? Может — сразу во двор? Мы ж его, вроде, для двора и покупали?

— Нет! Я его выбрал, я его и приучу!

Это храброе заявление дядя Саня честно пытался выполнить в ближайшие два дня.

Вовка гостил в доме дядьки ещё именно столько. Потом каникулы кончились. Пришлось вернуться в город.

Однако именно в эти последние два дня крику и шуму в доме оказалось куда больше, чем за предыдущие пять. Каждые два-три часа Бастер оказывался голодным. А когда голод начинал терзать его просто устроенную душу и мозг, щенок много не думал: начинал грызть всё, что, по его мнению, могло насытить его бездонную, по словам тётки Ани, утробу.

Вынеся на мусорку второй коврик из прихожей, три пары почти новой обуви, огрызок лыжи и пухик с разорванной обивкой, дядя Саня

решил применить крутые меры: стал тыкать Бастера в испорченную вещь рылом, и шлёпать ладонью, приговаривая: «Нельзя! Нельзя, говорю! Ну, понятно? Нельзя!»

Хуже всего оказалось в день отъезда.

С утра Вовку разбудил буквально громовой вопль тёти Ани:

— Саня! Саня, говорю, ... твою мать! Иди сюда скорее!

Вовка тоже выбрался из гостевой комнаты и спустился со второго этажа — столько в этом «крике души» было неприкрытых злости и ненависти.

Картина разрушений впечатляла.

От «маминога ковра» (всего каких-то пять лет назад подаренного любимому зятю по случаю Юбилея), осталось примерно половина. Остальное превратилось в весьма красивое, на взгляд Вовки, хохломское кружево, ходить по которому, правда, оказалось невозможно, по причине его щедрого обваливания в... Том самом.

Тётя Аня не поскупилась на эпитеты и нехорошие слова. И аргументацию, типа, что уж больно дорого им обходится «престиж» и «внушение соседям и друзьям должного уважения!» Дядя Саня рычал, разводил руками, сжимал кулаки, повышал тон, и «отбрёхивался». Да только как уж тут «отбрехаешься»: ковёр уже — только выкинуть!

Вовка привычно зажал уши, и ушёл к себе. Скандалов, если их устраивает профессионал, нужно стараться избегать — так его учила собственная мама, родная сестра тёти Ани. Дома она на папу никогда... Во всяком случае, при Вовке!

Хотя имелось у него подспудное подозрение, что мама отыгрывается, когда «сдаёт» его сестре, «погостить»...

Так что когда приехал отец, забирать Вовку, Бастер уже поскуливал на цепи у будки усыпленного зимой Тузика, (огромного престарелого волкодава) и пробовал на прочность её стенки и старую подстилку.

Отца Вовки дядя Саня вряд ли сильно любил. Тот категорически не употреблял спиртного. А дядя Саня не понимал, что за удовольствие сидеть за столом в трезвом состоянии... Так что здоровались и «общались» зятья весьма сухо, и в основном только по делу. Вот как сейчас:

— Привет, Михалыч. Как тут мой малец? Не сильно вас с Аней утомил?

Вовка врезался в отцовские ноги с радостным воплем: «Па-а!». Дядька фыркнул:

— Да ты что! Твой пострел — чистый ангел! Нет, Вовка молодец. Слушался, кушал хорошо, спать шёл не капризничая...

Зато вот другой питомец слегка припарил! Мягко говоря. Вон — смотри, во что тѣщин ковѣр превратил! — ковѣр как раз стоял у помойки, кое-как скатанный и свисавший неопрятными ошмѣтками со всех сторон. Вовке показалось, что дядя Саня даже здесь нашѣл повод погордиться: не у каждого такой питомец сожрѣт такой ковѣр!

Отец, опустивший вниз Вовку, не поленился пройти к куче строительного мусора у ещё не убранных от задней стороны дома высоченных лесов, и обозреть картину разрушений. Затылок он чесал, кстати, в точности как дядька:

— Обалдеть! Неужели это — вон тот акуленьш?!

— Ну да! — в голосе дяди Сани уже всю клокотала гордость, — А ещё испортил, гад, три пары выходных туфель и сапог, пуфик Анькин и мои охотничьи лыжи. Дерево грызѣт — похлеще, чем колорадский жук — картошку! Так что вот. Будет теперь жить не в доме, как я было хотел, а здесь. На месте Тузика. За двором присмотрит.

Отец Вовки покачал головой:

— Смысла не вижу. Они похожи на собак только отличным нюхом. А мозгов, чтобы отличить чужого, и даже голоса — погавкать, у щенков акулы нету.

Дядя Саня, как и всегда, когда кто-то ставил под сомнение рациональность его Решений и поступков, стал в позу:

— Ну, это мы посмотрим, есть ли смысл, или нету! Я ещё приучу его гавкать так, что всех соседей перебудит! Да и так никто не сунется: смотри, какие зубы!

Отец, давно понявший, что переубеждать родственника глупо и нереально, только покивал головой:

— Хорошо. А как он у тебя зимой-то будет? Кожа ведь — голая? Проведѣшь в будку обогрев? Или тулуп, что ли, сошьѣте?

— Да ладно, что-нибудь придумаем! Можно и обогрев... Ну, пошли, Анна уже на стол накрыла. Ты сегодня — как? Может, нарушишь традицию?..

— Да я же за рулѣм!..

Когда взрослые ушли в дом, Вовка ещё какое-то время стоял перед будкой.

Вид у Бастера был весьма несчастный. Ещё бы: кому понравится сквозная дырка с массивным кольцом из нержавеющей стали в основании спинного плавника! Да и цепь, соединяющая это кольцо с мощным металлическим штырѣм у будки, позволяла обходить пространство не дальше семи-восьми шагов.

Бедняга, подумал тогда Вовка, как жаль, что у тебя так мало мозгов... А мог бы жить и в доме, играть с хозяйской кошкой, и спать под вопли телевизора на диване. И кучи делать в кювету с «Катсаном». И зачем только дядя Саня взял тебя?

Неужели, только для того, чтобы как всегда — «соседи о...уели?!»

Следующая встреча с Бастером произошла на Праздники, когда они всей семьёй приехали на пару дней к дядьке в шикарно отделанный, наконец, двухэтажный особняк. У Вовки опять были каникулы, а у взрослых — Новогодний «как бы» отпуск.

В доме стоял слабый аромат краски, и сильный — свежей выпечки: тётя Аня этим славилась! И ещё витал тот необычный празднично-приподнятый дух, что сопутствует надвигающемуся Новому Году.

Однако когда Вовка в окно увидел Бастера, весь новогодний запал у него прошёл.

Щенок вылез из будки на шум, очевидно, в поисках еды. Сгрызть основательно окованную железом деревянную основу своего «дома» он теперь явно не мог, так что просто потыкался везде худым заострённым рылом, и уполз обратно, выдыхая облачка пара.

Вовку поразили проступающие под толстой грубой шкурой рёбра. Не кормят они его, что ли?

Подозрения усилились, когда дядя Саня и па жарили на рашпере бараны, остро пахнувшие маринадом, рёбрышки, и куриные окорочка. Вылезший из будки метровой щенок внутрь уже не уползал. И только униженно вилял задней частью тела, той, где ещё торчали остатки неотпавшего детского хвоста, да дёргал головой. Повизгивать, или издавать каких-нибудь звуков он так и не научился.

С мангала в снег упал, и сразу проплавил дырку до земли, горячий кусок рёбрышка, что было прокомментировано не совсем цензурными выражениями дяди Сани.

Вовка осторожно подобрал кусок, и пока дядька прыгал вокруг любимого «орудия производства», стараясь вернуть на место пытающиеся «удраться» остальные куски, кинул всё равно пропавшее для стола мясо ценку.

Бастер схватил его так жадно, словно не кормили месяц! (Впрочем, как знать — может, так и было!). Дядя Саня, уже отметивший «вкусную готовку» немецким «оригинальным» вариантом «Немирофф», предостерег:

— Зря ты это сделал, Вовка. Бастер у нас — сторожевой пёс. Так что кормёжку получает строго по часам. И — за работу! А если не выполняет её — пусть пеняет на себя!

Встрял с вопросом отец, явно пытаясь разрядить ситуацию:

— А кстати, почему он у тебя такой маленький? У Василия тоже шестимесячный, но почти на полметра длиннее! — отец думал, что знает, как «подстегнуть» совесть родственника — сравнив его питомца с питомцем другого «нового русского», — Мало кормишь, что ли? Или в будке нет обогревателя?

— Да есть там обогреватель... — дядя Саня сплюнул, — А маленький... Вот не растёт, гад, ни на вот настолько! — он показал кончик пальца, — Пробовали кормить как на убой — так только с...ет больше, а росту — ни вот столечко не прибавилось...

— Странно. А к ветеринару не возил? Всё-таки — три тысячи «у.е.» Обидно, наверное, что он... бракованный попался, что ли?

Дядя Саня налил себе ещё маленькую. Опрокинул, занюхав рукавом тулупа. Во взгляде, который он бросил на Бастера, как раз прикончившего брошенное, и жадно смотрящего на мангал, читалось почти открытое презрение:

— Возил, само собой... Ветеринар у нас, конечно, мужик образованный. Все уши мне лапшой увесил. Про «витамины для лучшей усвояемости», микроэлементы какие-то океанские, да «уход». Да «развивающие игры»... Да кто ж этим будет заниматься?! Сам понимаешь — у меня Бизнес! А Анька — на хозяйстве. А, кстати, про хозяйство — как там поживает Николаич?.. — разговор перешёл на общих знакомых, успешно или не очень, обошедших дядю Саню в вопросе приобретения материального Достатка.

У Вовки буквально сердце кровью обливалось, когда он смотрел, как Бастер, натягивая цепь (наверное, больно было — кольцо чуть ли не раздирало хрящ плавника!) тянется к источнику восхитительной, как он понял, пищи. Верно говорят: нюх у акул — куда там собачьему! Каким, наверное, мучением для щенка было ощущать, что всего в десятке шагов готовят вкуснятину, которой ему не видать, как своих ушей. Тем более, что их и нет...

От него не укрылся взгляд, словно мельком брошенный дядей Саней в ту сторону. Вспомнилась фраза, вскользь брошенная однажды отцом в очередном споре с матерью, о том, что дядя Саня даже не скрывает удовольствия от того, что может кем-то помыкать. Но если её сестру устраивает положение бессловесной и бесправной восточной жены из гарема, то...

Чтоб не видать этого, он ушёл в дом.

Там две сестры, весело щебеча, накрывали и сервировали. Речь шла о шмотках, которые каждая «выбила» из своей половины как Но-

вогодний Подарок. И об общих знакомых — кто на какие Мальдивы, или Корсику, подался, «достойно» встречать Праздники.

Но до ушей Вовки, думавшем о своём, долетали только обрывки фраз:

— ... представляешь, от Диора! И смотрится на этой корове — ну... Как на корове!

— ... а она тогда говорит: «Пошёл ты сам в ...пу! Берг свозила свою жирную задницу в Швейцарию, и я хочу! Вот прям обязательно кататься на идиотских лыжах — никто же не заставляет! А пить можно и не выходя из Отеля... Что мы, бедней, что ли?!..

Ёлка, натуральная ёлка, которую дядька специально рубил в Заповеднике лично, купив для этого дорожное Разрешение, наполняя огромную нижнюю комнату новенького особняка предновогодним ароматом: сразу становилось ясно, что скоро Дед Мороз станет разносить Подарки...

И уж можно не сомневаться — дешёвых и банальных среди них не окажется!

Часов в двенадцать ночи, когда па ушёл спать, а две сестры и дядя Саня всё ещё смотрели развесёлую юмористическую передачу, оглашая гостиную громовым хохотом, совпадающим обычно с подложным ржанием наёмной публики, Вовка встал в туалет.

Справив свои дела, он вдруг понял — нет, так не пойдёт! Это всё она — противная собака совесть, не давала ему уснуть все последние три часа, вынуждая отмять все бока, скомкав простыню... И она же погнала его туда, куда мочевого пузыря, в общем-то, и не особо тянул.

Зайдя в кухню, отделённую от зала перегородкой, он открыл холодильник. Вот.

Сырые куски шашлыка, замаринованные назавтра.

Наложив в пакет несколько штук, замороженный окорочок, и большую кость, небрежно брошенную в мусорный бак после того, как с неё срезали всё мясо, Вовка поднялся на второй этаж, и вышел через верхнюю лестницу. Накинуть тулуп тёти Ани, что висел в коридоре, он не забыл. А вот свою куртку взять незаметно никак не получилось бы: вешалка на виду, у парадного входа.

Бастер лежал у входа, мордой к дому. Он не спал. Похоже, дядька не то забыл, не то — специально не покормил его.

В бусинах глаз плясали, отсвечивая, сполохи света от огромного, в полстены (Ну так — дядя Саня никогда на престиже не экономил!..) квадранзора. А вот выражения этих глаз уловить оказалось невозмож-

но: кто их разберёт, этих акул! Всё-таки — не собаки. Не млекопитающие.

Вовка, даже не задумываясь о том, что перед ним сторожевая акула, с зубами, свободно перегрызающими дюймовую доску, подбежал — больше всего боялся, что его заметят! — и высыпал содержимое пакета прямо в будку. После чего спохватился — отбежал.

Однако он ощутил, что хотя бы тепла щенку должно хватать: калорифер в будке давал поток нагретого воздуха, часть которого пробивалась наружу из-под занавеса из воздушной подушки. Да и слава Богу — потому что ни о каких «греющих жировых отложениях» под грубой, сморщившейся складками шкурой, речи явно не шло.

Бастер смог подняться на трясущиеся плавники лишь с третьей попытки. Он словно не верил в своё счастье: посмотрел несколько раз то на кучку еды, то на Вовку. У Вовки словно волосатой когтистой лапой сжало сердце, когда несчастный щенок стал жадно, давясь, буквально заглатывать пищу — словно его и правда, не кормили добрый месяц!

Впрочем, акулы быстро переваривают...

Однако смотреть на это унижительное зрелище оказалось выше Вовкиных сил — он быстро вернулся к дому, и залез к себе, на второй этаж. Чёрные бусины, скрывающиеся за белёсыми перегородками, когда Бастер глотал, всё ещё стояли перед глазами.

Какая всё-таки сволочь эта совесть — так и не давала Вовке спать все эти три часа, когда он ворочался в удобной и мягкой постели, вспоминая, кусая губы, что там, на морозе, сидит голодный и тощий щенок... Может, теперь удастся уснуть?

Уснуть удалось.

Утром он встал, когда за окном уже рассвело. Отец и мать мирно почивали на огромной гостевой кровати у себя в комнате, куда он только глянул, чуть приоткрыв резную дверь — Вовка понял, что и дядя Саня с тётей Аней, скорее всего, тоже ещё не встали. Ну и хорошо.

Он оделся, сошёл вниз по внутренней, шикарно-помпезной, в чугунном каслинском литье, лестнице. Тишина. Даже ящик отключился — умный, всё делает сам.

Ага, отлично. Со стола убрано, но вся немытая после вчерашнего посуда ещё в мойке...

Прислушиваясь, он подошёл, и стал аккуратно выбирать с тарелок недоеденные куски покрупней — брал всё: и кости, и картошку, и остатки салата...

Бастер уже выглядел повеселей. Даже повилял остатками заднего плавника. И, хотя теперь уж Вовка помнил о том, что его могли поку-

сать, подошёл и высыпал из своего пакета пищу так же смело, как ночью — как, наверное, делал и дядя Саня.

Бастер стал есть. На него взглянул так же как вчера — раза три.

Отвернувшись и вытерев глаз — что-то попало! — Вовка ушёл в дом.

Застолье продолжилось только после двенадцати — к этому времени кое-как продрал глаза, проснулись, оделись и почистили зубы все домашние. Тётя Аня и мама снова накрыли на стол, дядя Саня принёс из кладовой ещё запасов Зубровки и «домашнего Скотча» — самогона. Его он предпочитал всему, когда не нужно было пускать пыль в глаза дорогими этикетками.

Разговор за столом долго не клеился. Потом кое-как двинулся вперёд — стоило завести речь о дороговизне и новых Налогах на Предпринимательскую деятельность. Правда, Вовка быстро потерял нить — потому что не слушал ни мужчин, ни женщин, предававшимся воспоминаниям об одноклассниках — кто сколько родил, в какие Лондоны-Бостоны пристроил детей на учёбу, и чей муж освободился, или сколько зарабатывает.

Поев, он вперился в телевизор, показывавший шоу-программу с песнями и танцами. Отвлечься его заставило окончание фразы дяди Сани:

— ... укусил, понимаешь, гад такой прямо за голенище! Прокусил, конечно. Ну — мы сразу к машине, Анька довезла до районного госпиталя... Наложили одиннадцать швов... А кровяки — полный сапог!... Нет, теперь подхожу только в спецобуви — она из кевлара. Не прокусишь. А? Нет, отдать в Питомник не хочу — там же нужно оплачивать проживание и кормёжку два месяца, пока не пристроят... Ага. Варнаковы? Да, до сих пор завидуют, гады. Ну, я же не рассказываю про сапог...

Дальше речь пошла снова о делах — новой машине-внедорожнике, которую можно взять, если сдать в фирменном Центре старый, похожий по мнению Вовки на настоящий сухопутный линкор, «Тойота-лэнд-крузер»...

Вот теперь Вовка понял, почему Бастер зачастую сидит голодный, и особой любовью у дяди и тёти не пользуется.

С другой стороны, чего ещё ждать от породы, специально выведенной для охраны тюрем, и бойцовских поединков?.. Которые теперь запрещены Законом.

Поскольку уехали домой только завтра к вечеру, он исхитрился ещё разок отнести Бастеру пакет с едой — никто так ничего, к счастью,

и не заметил. Да и тётя Аня вынесла щенку огромную чашку всяких объедков-очисток.

Так что уезжал Вовка, оглядываясь на сияющий наружными светодиодами гирляндами и светом панорамных окон дом, и неприметную будку рядом уже не с тоской, а лишь с огромным сожалением.

Пятнадцатого января Вовку разбудили странные звуки.

Кто-то бил и водил чем-то мягким по входной двери. Поскольку в глазок оказалось ничего не видно, он прошёл к спальне родителей. Постучал:

— Ма! Па! Там у нас с дверью... Что-то происходит!

Через пару минут, поскольку звуки не прекратились, Па таки встал, и, прихватив всегда пристроенный у стальной двери (так, на всякий случай!) ледоруб, отпер замки и щеколду. Дверь медленно открылась.

Это Бастер толкался и тёрся об неё — тощим и ободранным боком.

Но — о Господи! — в каком он был виде!

Выдранное с корнем из хряща плавника кольцо оставило огромную и ещё кровоточащую рваную рану. На тощих рёбрах проступали следы от ударов — похоже, били чем-то твёрдым, вроде прутка арматуры — остались глубоко впечатанные в кожу следы «ёлочек» нарезки. Один глаз закрыт, и опух, и Вовка уж было решил, что он вытек. Но к счастью, там оказался просто огромный синяк — глаз поэтому и не открывался.

Вовка с отцом какое-то время просто ошарашено глядели на щенка.

Тот входит, или делать что-то ещё тоже не спешил — потупив длинную морду, словно обессилено, прилёг — прямо на кафель коридора. Здоровым глазом, однако, продолжал смотреть на них. И было в этом глазе что-то такое...

Вовка, зарывав в голос, уткнулся в живот подошедшей матери, охватив её спину так, словно это его спасательный круг в бушующем океане. Затем задрал лицо:

— По... Пожалуйста, ну пожалуйста, ма! Можно, мы возьмём его?! Ну ма?!

Ма сглотнула. Отец, за всё это время не проронивший ни слова, и только обессиленно опустивший руку с ледорубом к полу, сказал:

— Решим позже. А пока пусть хотя бы войдёт. Всё-таки протопал двадцать три кэмэ. Не держать же нам дверь открытой всё утро. Да и соседи сейчас пойдут на работу.

Ма решила:

— Да, пусть уж... Раз пришёл сюда. Аньке я позже позвоню.

Вовка едва успев выдохнуть: «Спасибо!», поспешил к щенку. Но как же его?.. Всё-таки, весит добрых двадцать кило!

Однако проблема решилась просто: оказалось достаточно позвать акулёнка:

— Бастер! Сюда! Ко мне! — существо кое-как поднялось и заковыляло за Вовкой, инстинктивно поведшего его на кухню.

Когда они со щенком скрылись за косяком двери, родители остались в коридоре. Вовка услышал приглушённые голоса:

— Я не могу позволить оставить его здесь!

— Я это прекрасно понимаю, дорогая. Да и не подходит бойцовская акула для содержания в трёхкомнатной. Завтра... Нет, сегодня вечером я отвезу его в Питомник. Если только ты... Не надумай сдать его обратно. «Дяде Сане». Для продолжения «Курса воспитания».

В голосе ма прозвучала горечь и досада:

— Ты... Но я всё равно должна сказать сестре!

— А она скажет мужу. Он заедет, заберёт. И всё продолжится. Пожалей Вовку — он и так всю дорогу оттуда грыз ногти и оглядывался.

— Я... Нет. Ну... Ладно, пока не буду звонить. Но если этот... Эта штука покусает ребёнка — ты за всё ответишь!

— Согласен.

Ел Бастер с трудом.

При осторожном изучении его немаленькой пасти оказалось, что чуть ли не треть зубов выбита. (Благо, они у акул отрастают быстро!) Отец приоткрыл пошире пасть акулёнка, развернув зияющими в челюстях ранами и торчащими там осколками зубов к ма. (Бастер и не подумал сопротивляться, или кусать обидчика, хоть и было видно, что ему очень больно.):

— Тебе хорошо видно?

Ма отвернулась. Взгляд опустился к полу, руки метнулись к груди. Потом Вовка услышал её сдавленный голос:

— Я не... буду звонить сестре. И если сама позвонит — тоже ничего не скажу. Но! — она снова подняла подозрительно блестящие глаза, — Отвези его в Питомник сегодня же!

— Хорошо. Отвезу. Однако если дядя Саня узнает...

— Я не скажу. Никогда. Но — только если и вы никогда...

— Я не зайкнусь о том, что мы только что видали, ещё лет пятьсот!

Вовка, почуяв, что на него смотрят две пары глаз самых дорогих и близких ему людей, утёр слёзы рукавом, кинулся снова к матери, обняв:

— Я тоже... Никогда! Никому! Клянусь! Ма-а-а... — он задрал заплаканное лицо, — Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста! Только не надо его снова — к дяде Сане!..

Ма почему-то зарыдала, и прижала Вовку к себе ещё даже сильнее, чем он сам только что...

Отец, подойдя, обнял их вздрагивающие плечи:

— Ну, всё-всё... Успокойтесь. Днём позвоню, договорюсь. Вечером отвезу.

Бастер вёл себя на удивление тихо.

Не доставил им вообще никаких хлопот.

Когда Вовка вернулся после обеда из школы, он мирно спал в углу за холодильником, куда ма перетасила коврик из прихожей. Вовка спросил шёпотом:

— Как он тут? — ответ получил тоже шёпотом:

— Спит! Удивительно, но как вы ушли, даже не просыпался. Даже на двор не просился! — и, уже спокойней, — Ну, иди, мой руки. Будем обедать.

Всё время, пока обедали, и потом, пока Вовка делал уроки, а ма что-то набирала на компе, акуленыш спал. А к вечеру, когда вернулся с работы Па, проснулся.

Но продолжал лежать, словно удивлённо кося единственным пока рабочим глазом.

Па сказал:

— Поехали, я даже мотор не глушил.

Однако вот подняться на плавники у Бастера не получилось. Даже когда его позвал Вовка, он лишь приподнял тело с половичка, но так и не смог встать, только виновато пошевеливая стержнем заднего плавника.

— По-моему, придётся ему подлатать ласты-то... Похоже, переломы. — отец, сопя, поддел руки под полутораметровую тушу, и вынес моргающего Бастера за дверь. Вовка, снова рыдая в голос, кинулся одеваться.

В питомнике сделали рентген.

Дежурный хирург, молодой парень-практикант, кусал губы:

— Гипс я, конечно, наложу... Однако я должен подать Рапорт по инстанциям. Предупреждаю сразу: вы получите повестку в суд! За издевательства над животными есть статья!

Отец переглянулся с Вовкой. Вовка вдруг выпалил:

— Но это же — не наш щенок! Мы его... Нашли на дороге! За что же нас-то — в суд?!

— Хорошо, я проверю... — практикант, глянув ещё раз на татуировку на спинном ласте, прошёл за компьютер. Вовка и отец расположились у стены, на лежаке, обитом кожей и накрытом простынёй.

— Ага, есть. Регистрационный номер 317А — 67854. Продан такого-то... Зарегистрирован Колесниченко Александром Михайловичем, как сторожевой. Кличка — Бастер. Хм...

Уж не хотите ли вы сказать, что это его хозяин так?..

Отец полез во внутренний карман пиджака. Остановился. Посмотрел на Вовку:

— Владимир. Будь добр, подожди меня в коридоре.

Вовка посмотрел в глаза хирургу. Тот, не выдержав, отвёл взгляд. Вовка вышел.

В коридоре Вовка слонялся из конца в конец, рассматривая плакат, призывавший вовремя делать щенкам прививку от бешенства. Однако, прочтя, наверное, в десятый раз первую фразу, понял, что от неё в памяти так ничего и не отложилось.

Он прекратил читать, и сел на жёсткую скамью, грызя ноготь.

Отец появился только через минут пятнадцать. Вовке показал большой палец.

У Вовки прямо камень с души свалился. Хорошо, что его отец может убедить почти кого угодно почти в чём угодно...

Недаром же он — известный и уважаемый адвокат.

В следующий раз Вовка увидел Бастера через месяц.

Леонид Петрович, к дежурству которого они специально и подъехали, быстро провёл их к стандартному вольеру в длинном ряду таких же:

— Вот. Гипс, швы и бинты мы уже сняли. Очень, кстати, терпеливый щенок. Даже не заскулил!.. Шутка. Ну, во всяком случае, не кусался, хотя это довольно больно — снимать швы и гипс.

Вовка, вцепившись в титановую сетку, сказал:

— Бастер!

Щенок (Всё же правильней уже называть его акулой — два метра, и тридцать килограмм!) и так уже стоял у сетки — не иначе, учуял их от входа! Оба глаза только моргали, не давая вычислить, что же на самом деле происходит в душе щенка... Ну вот нет в них выражения того, что можно прочесть в глазах тех же собак! Но всё же...

Что-то там точно было! Такое, от чего щемило сердце, и руки сами тянулись — погладить, почесать выровнявшийся бочок с шершавой кожей!

— Можете войти. — сказал практикант, — Более терпеливого и спокойного пациента у меня ещё не было. А вас он, по-моему, помнит. Не обидит.

Через месяц Бастера забрал для постоянной работы Завод по разделке бройлерной птицы.

Отец, съездив туда через полгодика, вернулся, хитро ухмыляясь.

— Начальник охраны говорит, что более добросовестного поисковика у них ещё не было: за последний квартал число «несунов» снизилось на шестьдесят процентов!.. И пытаются что-то пронести только новички — ветераны уже в Бастера «поверили»!

Сам не зная от чего, но весь следующий день Вовка ходил, словно павлин — гордый, счастливый, и расфуфыренный.

А вот к дяде Сане «на шашлыки» он теперь не ездил под любым предлогом.

А мать и не особо настаивала.

«ВСЕ ДИНОЗАВРЫ — ПРИДУРКИ!»

— Динозавры — тупые придурки!

Выкрикнув фразу, Ленур что было сил рванул вдоль щербатой кирпичной стены назад — к спасительной черноте проёма. Не обязательно, конечно, было оскорблять десятиметровое чудовище: монстры на Полигоне не понимают человеческую речь, что живые, что механические! (А именно с таким Ленуру и пришлось столкнуться сейчас.) Поскольку те, у кого мозг (ну, или — материнская плата) — с лесной орех, речи в целом и слов в частности, понимать в принципе не могут!

А о том, что перед ним — механоид, недвусмысленно говорил словно обрубленный хвост, ещё и закрытый в торце прямоугольной стальной пластиной с рельефом «в ёлочку», сидящей на двенадцати болтах. Похоже, в предыдущих схватках монстру досталось...

Краем глаза Ленур успел заметить, как при звуках его голоса двухметровый чемодан пасти Ти-рекса начал поворачиваться, и чудовище, до этого лежавшее к нему, как это изящно говорится, задним торцом, стало неуклюже подниматься на ноги: вначале массивный таз, а уж затем — уродливая голова с крохотными передними лапками под ней.

Ленур, забежав в открытую створку ворот ангара, бросил две ароматическо-иллюзионные гранаты: одну — поближе, другую — подальше. Сам вжался в ту створку, что оставалась закрыта. Задержал дыхание. Промыслил команду.

Адаптивный комбез воспроизвёл цвет и текстуру старых потемневших и подгнивших досок, из которых полутонная высоченная створка была набрана: он в очередной раз подумал, что организаторы не поленились скрупулёзно воссоздать весь интерьерчик заброшенных Армейских складов!..

Хранили brave вояки здесь когда-то, как понял Ленур из маркировки осмотренных заранее ящиков, артиллерийские снаряды калибра двести пять, (под гаубицу, как он смутно помнил) и сто пятьдесят — эти уж для пушки. Ровные штабеля нагромождений тускло-зелёных ящиков, разделённые проходами-коридорами, уходили вдаль тёмного помещения насколько хватало взгляда.

Ти-рекс не заставил себя долго ждать: приоткрытая пасть с полным набором жутковато смотрящихся зубов из нержавейки возникла в проёме. Ленур приказал сердцу биться медленней, а комбезу — перекрыть и ноздри. Он уж как-нибудь протянет пару минут без воздуха, а не хотелось бы, чтоб обонятельные сенсоры машины учуяли его запах! А её звуковые анализаторы различили стук сердца.

Первая граната хлопнула — словно уронили на бетонный пол бутылку шампанского. Разумеется, облачко газа приняло форму человека на корточках. Феромоны и индекс пота Ленур вводил в блок управления сам — хватит, однажды доверил это дело Инструктору, из-за чего облажался на первом же кранахе: пришлось проходить полигон Океана повторно.

Пасть, эта доминанта неумолимой машины разрушения, мерно раскачиваясь на лапах-рычагах, и чуть поворачиваясь, чтоб лучше видеть и «обонять», двинулась на запах, вдвигая в проём пятиметровой высоты и остальное тело. Плечо монстра пришлось вровень с макушкой Ленура — ну, это с учётом того, что динозавр пригнулся, идя на полусогнутых, с присвистом внюхиваясь, и с подозрением вглядываясь в странное образование в пятнадцати шагах от освещённого пятна входа.

Пока тварь преодолела половину этого расстояния, фигура из дыма осела, и расплылась тёмной лужей по бетонному полу. Но тут сработала вторая граната: и на этот раз монстр не стал дожидаться, а сразу кинулся, пружинисто отталкиваясь могучими «курьими» лапками от поверхности пола, и вожделенно хлопая челюстями.

Ленур выждал, пока тварь разгонится: сейчас её инерция играла ему на руку!

Затем метнулся к открытой створке, и принялся толкать что было сил: а вот огромная инерция ворот ангара работала уже против него!

На скрип обернулась голова чудовища. Затем мозг (Или то, что его заменяло. Уж на эту-то тему у них в подразделении кто только, и как только не прикалывался!) подал сигнал управляющему движениями твари центру — «мозжечку». Но не так просто затормозить и развернуть на сто восемьдесят градусов трёхтонную махину! Пока это произошло, Ленур успел захлопнуть створку, и наложить пятидюймовый брус: теперь взломать ворота можно только таранным ударом! Например, танка.

Чёрт! А вот калитку он зря не открыл заранее: её почему-то заклинило! Пришлось вложить все силы в удар, после чего нырять в образовавшийся проход, лишь чудом в последний миг увернувшись от щёлкнувших у плеча, а затем — у ступней, челюстей!

Он перекатился и развернулся к воротам лицом. Приказал комбезу освободить рот, судорожно вздохнул: Ф-ф-у-у...

Лёжа в пяти шагах от клацающей пасти сердито пытающегося протиснуться в полуметровый в ширину проём монстра, (Вот уж точно: словно верблюд — в игольное ушко!..) можно было уже с законным удовлетворением констатировать:

— Ну, я же говорил! Все динозавры — придурки и дебилы!

Поднявшись на ноги, он первым делом внимательно осмотрел окружающую обстановку: бинокль. Инфравизор. Датчик давления. Эхосканнер.

Нет, никто больше не маячил в двадцатиметровой ширины «улице», разделявшей длиннющие, по добром полукилометру, одноэтажные кирпично-бетонные приземистые, словно вросшие в землю, здания. Хорошо. А то — он уже научен горьким опытом.

Приведя комбез в норму, он отряхнулся. Уходя, не удержался: показал всё так же свирепо, хоть и тщетно хлопающему челюстями и гулко взрывающему чемодану, язык. Помахал ручкой:

— Чао, Бобик!

В крохотных для безобразно огромной морды глазёнках что-то блеснуло: обида?!

Не смешите! Для «обид» у Ти-рекса извилин не хватит! Просто запрограммированная механоигрушка жалеет об обломившемся «ужине»!

Вдоль поперечно стоявшего здания пришлось пробираться буквально на цыпочках: он вовремя заметил на крыше детекторы звука: а нетрудно вычислить эти штуковины по их нелепо-граммофонным раструбам. А то — так и схлопотал бы пару гранат с «нейро-паралитическим»... Хорошо, что у костюма есть глушилки в подошвах...

Жаль только, что жрут непозволительно много энергии. А её осталось и так... Хм-м... Пятьдесят два процента! Маловато. Ну ничего: даст Бог, ещё на пару часов хватит.

Повернув вновь на север, Ленур почесал многострадальный затылок: странно.

Почему-то он думал, что «Знамя», видневшееся на флагштоке в дальнем конце очередной «улицы» будет хоть кто-то, но — охранять! Или они (Хитро...опые сукины дети!) опять коварно попрятались?

Ну что? Будем забираться на крышу? Или попробуем старым традиционным?..

Продвигаясь мимо подозрительно тихих рядов приоткрытых или вообще настезь распахнутых ворот-дверей очередного склада, Ленур подал максимум энергии на слуховые и обонятельные сенсоры и датчики давления воздуха. Жаль, конечно, что сенсоры работают не так, как стационарные: не позволяют уловить, откуда именно пахнет, или слышится... А датчики давления не говорят, каким именно объектом создаётся движущаяся наружная кромка воздушной микроволны.

Но и так — предупреждают об опасности! Вот!

Нарастает не то — топот, не то — стук!

Из ближайшего отверстого проёма выскочила тварюга — для разнообразия поменьше: велоцераптор! Ленур кинулся прочь, быстро осматриваясь: нужно найти подходящее место, и быстро: велоцераптор разгоняется до шестидесяти, а он — только до сорока!

Вот оно!

Бросившись на живот, он доехал на сразу покрывшемся тефлоновыми вставками пузе до бордюра, перевернулся на спину, уперся, сгруппировался!

Прыгнувшую на него в радостном предвкушении тварюгу встретил ударом подогнутых к животу ног! Подошвы послушно выпустили семидюймовые штыри: хищник, грудь которого оказалась как раз в нужном месте, оказался словно проперфорированным!

Удар позволил ещё и отбросить его прямо на стену за спиной Ленура: смачный чавк показал, что и собственная инерция, и его удар придали телу злобного монстрика неплохое ускорение!

Однако ждать, пока начавшая подниматься на лапы восьмидесятикилограммовая животина очухается и придёт в полную боеготовность, он не стал! Убрать штыри! Вскочить снова на ноги!

По отработанному приказу мысли рукоять выскочила в ладонь из правого рукава, и её почти метровое лезвие мгновенно затвердело. Удар!

Голова только успевшего кое-как встать велоцераптора откатилась аж на десять шагов! Поток буро-красной крови из пенька шеи чуть не залил Ленура!

Надо же. Этот и правда, оказался живым. Ну, вернее, выведенным в автоклаве.

Жаль конечно. В смысле, жаль потраченных на него обслуживающим Полигоном Персоналом усилий и материалов. Их бы можно было применить для создания чего-то действительно опасного. Например, тех же крысострекоз!

Ленура передёрнуло. Он до сих пор не совсем (Даже несмотря на курс психо-адаптационного гипноза!) оправился от пережитого кошмара. Да и не часто тебя съедают настолько болезненно и издевательски медленно: он терпел и рубился до упора, пока не пропала последняя надежда: знал, разумеется, что сразу сдавшиеся получают штрафные очки...

Только потом он додумался: надо было применить инсектициды!

Ну, задним-то умом все крепки. Он тогда думал больше про крыс, чем про стрекоз, и совсем забыл про баллончики на спине! Блинн...

Он втянул лезвие. Капли крови стекли к сапогам, чуть не испачкав их. Этого ещё не хватало! Он и так, наверное, излишне «потоотделил», и пахнет!

Спрятав меч в рукоять, а ту — снова в рукав, как всегда внимательно осмотрелся.

Нет, к счастью, тварь была одна. Но до конца улицы ещё добрых триста шагов — Организаторы что-нибудь да наверняка придумают! Он, включив климатизатор с абсорбентом, не торопясь двинулся вперёд. Что там у нас «случится» дальше?.. Он чует!

Точно! Не прошёл и пятидесяти шагов, как в двери слева что-то уж слишком громко зашумело: слышалось и наглое смачное чавканье, и отрывистый жалобный писк.

Никак, кого-то едят!

Пройти мимо? Ему-то, кажется, ничего не угрожает — некто, явно большой, голодный, и злобно-плотоядный, уже занят. Едой.

Вздохнув (Кому он голову морочит своей «чёрствостью»!) и снова выпустив меч, Ленур пригнулся и вкатился с переворотом в проём.

Ага, вот оно как... Двухметровый дайнонихус «мирно» закусывает детёнышами аллозабра: это только они такие голенько-глянцевые и с рисунком на шкуре, как у гепарда! Проклятая тварюга уже сожрала половинку (переднюю) одного, на очереди — ещё двое. Пока — целые.

Но слишком малы, чтобы убежать: ещё и из гнезда-то сами выбраться не могут!

Соревновательный дух и желание быстрее остальных закончить Миссию гнали Ленура дальше — к Знамени. Однако что-то другое, похожее, не совсем осознанное, но куда более сильное, поднимавшееся откуда-то изнутри, и сжимавшее сердце словно раскалёнными обручами, заставило его быстро сделать пять шагов вперёд, и разрубить буквально напополам даже не испугавшуюся его, а лишь подозрительно изучавшую слишком мелкого, по её глупому мнению, чтоб создать проблему, «конкурента», прожорливую наглую скотину.

Половинки с дробным стуком грохнулись на пол. Однако оставшиеся в живых детишки не заткнулись: пищали так же жалобно.

Странно. Значит, дело не в испуге.

Да и правильно: в таком возрасте они же ничего не соображают! Вряд ли осознают даже, что только что сожрали их брата. Или сестру. Впрочем, выбор причин, по которым могут плакать младенцы (Даже только что вылупившиеся из яйца!) не слишком богат: голод, холод, боль... Наверное, на эти звуки дайнонихус и припёрся.

Чёрт её задери — а где же их мамаша-то шляется?! Ведь детей, которые ещё не способны даже вылезти из обнесённого высоким бордюром гнезда и спрятаться, явно надо оберегать... Хотя бы для того, чтобы не вымереть. Вот уж реально глупые твари!

Ленур сделал ещё шаг вперёд. Точно: голодные. Вон — пытаются что-то жевать. Даже ветки (Вот кстати: откуда здесь, на территории складов — ветки? Что-то он тут ни деревьев, ни кустов до сих пор не...) и раздробленные палки-доски от ящичков, из которых сложено гнездо.

Опустившись на корточки, он приблизил руку. Осторожно пальцем отвёл десну детёныша поменьше. Точно: зубы уже вполне... Сформировавшиеся. То есть — «жевать» за крошку уже не надо. То есть — нужно только мясо. Мясо, мясо...

А, вон: дайнонихус. Чем не мясо?!

На то, чтобы вырезать из спинки две полосы «лангета» помягче, и нарубить их мелкими, с четверть пальца, кусочками, ушло не больше полминуты! (Попутно Ленур подумал, что из него вышел бы отменный шеф-повар!)

Он высыпал кучу прямо в центр гнезда.

Ого! Вот уж проголодались, так проголодались! Глотают буквально не жуя... Впрочем — с такими зубами-штырями и жевать-то толком нельзя! Только вырывать из жертвы куски поухватистой, да глотать. Хотя как именно кушать — их личное дело.

Ладно, детёныши хотя бы заткнулись.

Беззвучно на него упала тень — он встал в стойку, развернулся. Точно: мамочка-таки решила припереться. Ну, дурак он. Сейчас, с перекрытым путём к отступлению, ему остаётся только бежать в глубину склада, надеясь затеряться в рядах штабелей!

Медленно, стараясь не делать резких движений, он отступил как можно дальше — к проходу между двумя ближайшими рядами ящиков (Кажется, это опять были снаряды. Или мины.). Пятиметровая монстриха, однако, не спешила кидаться на него. Она вначале внимательно обнюхала всё ещё увлечённых едой малышей. Затем — дайнонихуса. И убитого детёныша. Сердито фыркнула: Ленур заметил облачко капелек, вылетевшее из ноздрей.

Затем самка принялась обнюхивать куски, нарезанные Ленуром. Подняла морду, взглянула на человека... Моргнула: раз, другой.

Странно: она даже не сделала попыток напасть. Просто улеглась так, чтобы гнездо оказалось возле морды. С не таким, конечно, роскошным «столовым набором», как у Ти-рекса, но тоже — будь здоров! На такой «зубок» лучше не попадаться.

Ленур замер в нерешительности. Кажется, его не стремятся... Сожрать?!

Странно, да.

Может, тогда попробовать... Да нет — не может быть! При виде, как он пробирается к пятну дневного света, должен сработать охотничий рефлекс! Тварюга непременно должна попытаться убить и его: мясо про запас!

Однако пока мозг рефлексировал и сомневался, ноги уже сами несли его к проёму: шаг, ещё шаг... Чуть поворачиваемая голова монстра и движущиеся в глазницах глазки аллозаврихи недвусмысленно давали понять, что она видит его, следит.

Однако каких-либо попыток помешать так и не сделала.

Через полминуты окончательно взмокший Ленур оказался снаружи и буквально на цыпочках удалился к следующему открытому проёму. Тут никого не было. Он скрылся в спасительную глубину помещения, как всегда заставленного штабелями ящиков защитного цвета. Присел прямо на пол, оперевшись спиной, так, чтобы контролировать вход.

Ноги до сих пор тряслись.

В чём дело?! Почему он испугался даже сильнее, чем Ти-рекса?! Может...

Может, всё дело в том, что ему ну очень сильно не хотелось убивать... «Кормящую мать»? А ведь пришлось бы это сделать, если бы она...

Об этом не хотелось думать. Но почему же она — не?!..

Может, какой-то мозг, и сознание всё же есть и у динозавров? Где может существовать такое простое понятие, как благодарность?

Хотя — вряд ли. Ведь благодарность — почти абстрактная вещь. Динозаврам едва ли знакома...

Ну, а что же тогда спасло его от нападения?! Не метровая же тростиночка (В представлении динозавра!) в его руке? Ведь того, что «тростиночка» способна перерубать стальной рельс, аллозавриха точно не знала?!

Хватит дурацких рассуждений и рассусливаний! У него не завершена Миссия.

Пришлось снова на полную включить климатизатор, и подождать пару минут: чтобы острый и словно половой феромон бабочек, издаലെка призывающий — вот только не к спариванию, а к обеду беззащитным человечишкой! — запах страха оказался впитан, переработан, и нейтрализован. Порядок. Нужно встать и идти. Тридцать один процент. (Блин!)

Вот теперь пришлось залезть на стропила, разобрать шифер и выбраться на крышу: хватит с него как дурацких, так и коварных сюрпризов разработчиков этого Лабиринта. В том, что это «поработали» именно они, Ленур уже не сомневался.

Однако буквально через сто шагов пришлось очень быстро съехать по скату вниз и спрыгнуть на землю: от солнца, тактически как всегда безусловно, на него заходила стая птеранодонов!

Хорошо, что успел! Хлопки раскрытых в торможении пятиметровых крыльев почти оглушили! А если бы промедлил лишнюю секунду — познакомился бы и с метровыми пастями. Полными острейших зубов! О подлой «традиции» летучих монстров нападать одновременно со всех сторон ему рассказал Марлен, «сожранный» буквально в двадцати шагах от Знамени Уровня «Триас-1».

Ленур, боковым зрением заметивший движение, рефлекторно метнул слёзо-дымовую гранату: из ближайшего проёма к нему двинулся кто-то большой!

А-а, трицератопс. Тьфу, зар-раза — напугал!.. Он же — травоядный.

Ладно, через полчаса монстр прочихается, проморгается — и будет жив-здоров! А он хоть подстраховался: мало ли какие твари пригото-

лены для него именно здесь, буквально в ста шагах от вожденной Цели Миссии!

Но если уж честно, почему-то Ленуру стало жаль неуклюжего урда: вон, как он усиленно трёт закрытые слезящиеся глаза о створку ближайших ворот... О плечо. Завывает... И даже — словно поскуливает, как большой щенок. Жалобно.

Ну правильно: не лапами же с копытами, как у слона, вытирать пуговичные глазёнки!

Подумав, Ленур подошёл к уродливой морде, и полил в оба судорожно сощуренных глаза воды из фляги. А когда глаза заморгали, полил ещё...

Ну всё — приехали!

Мозг вынесло! Теперь он — фанат и «спаситель» динозавров!

Может, монстру ещё носовой платок подарить с кружавчиками?!

Но вот от трицератопса «благодарности» не дождёшься! От сердито махнувшей двухметровым бивнем головы еле удалось увернуться! Ленур выругался:

— Придурок бегемотистый! Не...рена было соваться: ты же всё равно меня не переварил бы! У тебя и жевать-то нечем! Тьфу ты — кусать!

Жевать у трицератопса уж точно имелось чем: именно этими роговыми пластинами он и перерабатывает в кашу до полутоны травы в день... Где вот только он её берёт здесь, на асфальтированных улицах?!

Стоп! Раз есть трицератопс — значит, где-то рядом есть и поля с травой. Ну, или — леса с кустами подлеска: трицератопс — не дипломат, и ветки с листьями с высоты нескольких метров достать не может!

Смотри-ка, как же он раньше об этом не подумал!

Ленур снова вошёл в склад. Пролез к стропилам, и разобрал очередную крышу.

Влез на конёк, огляделся. Ага — есть!

К Знамени, оказывается, очень даже мило можно подобраться сзади! Там отличные кусты и навалом деревьев! Вот только... Не прячутся ли возле столь отличного «пастбища» какие-нибудь хищники. Поедающие тех, кто поедает траву...

Ну, у него есть способ проверить это.

Пройти там!

Обойти Знамя с задней стороны, разумеется, не считалось чем-то уж прямо таким необычным в тактическом плане... Так действовал зачастую и он сам. С другой стороны, именно прямой и кратчайший путь

обычно больше остальных подходов насыщен препятствиями и ловушками.

Ленур поплевал через плечо. (Нет никого суеверней спортсменов и Курсантов!) Слез с крыши обратно в темноту склада. Прошёл к отворённой створке, выглянул. Точно: не послышалось! Вон: стая карнорапторов гонит по улице нечто, напоминающее... Страуса! Чёрт возьми — откуда здесь (ну, вернее — «сейчас») страус?! А, вон оно что! Оказывается, это ранний предок птиц — тоже какой-то динозавр! В перьях. Как ни стыдно признаться, Ленур даже забыл, как он называется!

Однако ситуацией глупо не воспользоваться: придурки бегут как раз туда, куда ему надо! Вот и выявят для него ловушки, если они есть!

Он смело пристроился в хвост за последним карнораптором, незаметно выскочив из проёма, когда все пробежали мимо.

Копуши! Так лохматую дурынду не догнать! Не больше тридцати пяти кмэ в час! А, может, они берут не скоростью, а измором? Ну, или загоняют, как волки — в засаду?..

А зря, оказывается, он посчитал, что твари слишком увлечены погоней, чтоб заметить что-то ещё... Бегущий последним карнораптор вдруг повернул непропорционально маленькую голову и открыл пасть. Ленур не успел срубить голову до того, как она издала гнусный оглушительный визг! Остальные твари, как по мановению волшебной палочки, затормозили! Всё верно: стайная тактика, как у волков!

Ленур, ругая себя за неверное решение, кинулся к ближайшему проёму.

На то, чтобы вновь взбежать по штабелю, забраться на стропила, пробить лист шифера, пробежать и проехать по крыше, а затем прыгнуть вниз за задней стенкой ангара, ушло секунд пятнадцать. Он оказался как раз там, где хотел: в дебрях подлеска ему по пояс.

От карнорапторов отделался! (Слава Богу, лохматая тварюга, воспользовавшись форой, похоже, тоже теперь убежит от них!) А что за сюрпризы ждут здесь, в зарослях?

Ага — вот и первый! Что-то совсем уж быстро стало пробираться к нему, заставляя верхушки кустов качаться, а траву — подозрительно шелестеть... Блин! Да что же за день-то сегодня такой!..

Он ринулся вперёд, туда, где кусты стояли пореже, и намечалось что-то вроде поляны. На бегу оглянулся: а, ерунда! Змея! Чёрная мамба! Вот кто никогда не отступает...

Но отрубить ей голову от пусть даже восьмиметрового тела не сложно.

Ну вот. Порядок. Теперь-то можно и к Знамени пробраться.

Странно, да: никто и ничто и правда — не мешает. Победа?

О, да! Вот он и на крыше очередного ангара, и сжимает древко в руке. Последний штрих: победный Клич!..

Ленур, уже не сдерживая ни радости, ни силы лёгких, заорал:

— И-й-я-у-у!..

— «Разбор полётов» хотелось бы начать, разумеется, с приятного. — когда Наставник говорил вот так, как сейчас, вкрадчиво и мягким голосом, все курсанты знали: у них будут проблемы...

И точно.

— Вы все добрались до Знамени живыми... Это уже на «хорошо». Бориса укусила Зелёная мамба — минус очко, потому что универсальное противоядие яд настоящей мамбы не нейтрализует. Ленайна наступила на мину. Минус одно очко... И одна нога! Благо, за древко оставалось только взяться рукой.

Теперь — Каспер. Каспер, почему ты решил, что трицератопса нужно убить?

Поднявшийся из-за своего стола Каспер постарался не мяться и не «э-э-кать». За неспособность чётко формулировать мысль очки тоже снимались:

— Он стоял прямо на дороге к выходу! И я ему почему-то не понравился!

— А почему ты не захотел воспользоваться дымовой гранатой — как, например, Ленур?

— Я посчитал, что для массы тела этого монстра её может оказаться недостаточно!

— Хм... Неверное рассуждение. Граната эффективна для рептилий с любой массой тела... Ладно, ответ принят, спасибо. Садитесь, курсант. София.

София встала. Нахмуренные брови показывали, что она чувствует грядущий разнос.

— Почему ты поубивала всех карнорепторов, а не... Забралась на крышу?

— Потому что я и вообще не люблю кусачих и хищных тварей! — Софию передёрнуло, брови сошлись на переносице, — И, кроме того, как сказал Каспер, они стояли у меня на дороге.

— Ответ засчитан. Спасибо. Садись. Ратмир?

Ратмир встал спокойно, с чувством хорошо выполнившего трудную работу ветерана — но это чувство читалось лишь в лучащихся улыбкой глазах. Рот оставался сведён в жёсткую линию.

— Почему ты предпочёл двигаться по крышам?

— Я знал, что оттуда, с воздуха, можно ожидать только птеранодонов. Ну, я и приготовил им парочку сюрпризов! (О склонности шестнадцатилетнего почти Выпускника всегда «оснащаться» средствами для борьбы с летающими монстрами знали все. Но не все и приветствовали эти жестокие штучки.) Молекулярная сеть действительно порубила всю стаю на кусочки не крупнее конфетти. А те, кто преследовали меня по земле, увлеклись поеданием того, что попадало, и я оторвался... Дальше прошло без проблем.

— Спасибо. Садитесь, курсант. Ответ засчитан... Класс! Благодарю за высокий профессионализм и отличную выучку. Вы все получаете зачёт по Уровню «Мел-2». Окончательные баллы — как всегда, на Доске.

На сегодня все свободны. Можете отдыхать.

Все, хоть и обладали великолепной выдержкой и самоконтролем (А других и не берут в курсанты!) с невольной вырвавшимся вздохом облегчения задвигали стульями, зашевелились в радостном предчувствии положенного отдыха. И направились к выходу. Взгляд, которым Ленура буквально припечатал к месту Наставник, заставил того сделать вид, что у него что-то с обувью и задержаться — чтобы выйти уже после всех.

Когда спина Ленайны, шедшей последней, скрылась за дверью, Ленур, медленно шедший за ней, услышал и тихие слова Наставника:

— Ленур. Можно попросить тебя задержаться?

А вежливо шеф отдаёт Приказ!..

Сейчас точно что-то будет!

Ленур уже с начала разбора чувствовал, что что-то должно сегодня случиться. И случиться именно с ним. Необычное. Именно из-за прохождения этого, последнего, Полигона.

Он прикрыл дверь класса и вернулся к столу.

— Возьми стул и садись сюда. — Наставник указал на место напротив себя.

Ленур так и сделал.

— Скажи мне вот что. Почему ты от пары маюнгазавров предпочёл спрятаться?

— Ну... В учебной кассете говорили, что они живут семьями. То есть, значит, приёмы охоты и атаки с двух сторон отработаны до совершенства... Не хотелось связываться.

— Это не ответ, — взгляд, которым седой мужчина по другую сторону стола буравил глаза Ленура, показывал что наставник не поверил, — Разрешаю отвечать не для Отчёта. Говори, что ты подумал на самом деле!

А не вовремя Ленур вспомнил, что датчики энцефалографа, потоотделения, мнемографа, и вся прочая фигня, которой тело облеплено, словно противоперегрузочным костюмом, позволяет контролирующему персоналу отслеживать всё — пульс, давление, эмоции и всё прочее, что происходит с курсантом... Только что мысли не читать.

И Наставник, конечно, изучил все записи. Перед Разбором.

— Ну... Если честно, то этот маюнгазавр своей бородой... Да и печальным выражением на ли... Тыфу ты — морде! — чем-то немного напомнил мне отца... Моего отца.

И я подумал: а было бы мне приятно, если какой-нибудь оснащённый высокотехнологичным оружием сволочь зарубил его... Или мать... Просто потому, что они «стояли у него на дороге»!.. Ведь, скорее всего, если б я убил одного, пришлось бы убивать и второго — он не испугался бы, а захотел отомстить. А я против бессмысленных убийств. Даже таких вроде бы безмозглых созданий, как динозавры. А в том, что у них есть эмоции, и какое-то сознание, я тоже... Убедился.

Поэтому я просто спрятался.

Наставник продолжал смотреть в глаза Линура: явно ждал продолжения.

Ленур сглотнул. Потом всё же решился продолжить:

— Да и давно уже я понял, если уж быть честным: вовсе не все эти твари, с виду кровожадные и злобные, тут, на Полигоне, вот прямо мечтают сожрать мен или запрограммированы задержать любой ценой. Нет, думаю, тут полно и таких, которые просто живут. Своей жизнью. И которым на нас глубоко на... э-э... Ну, которым всё равно — есть мы, люди, или нету... И я не считаю нужным мешать им!

— Понятно. Хорошо. Спасибо за трезвую оценку ситуации. Тогда следующий вопрос. Почему ты не убил механоида — он ведь... Не живой?

— Да, верно. Но... Когда мы три года назад проходили электротехнику и наноэлектронику, я долго не мог научиться чинить сложные схемы. Вот я и представил, что техники, обслуживающие Полигон, должны будут капитально повозиться, чтобы восстановить соединения. Ну, то есть, если я отрублю голову — работы у дежурной бригады будет полно. Зачем же я буду лезть на рожон, стараться испортить такую сложную и добротную сделанную машину, если я могу её... нейтрализовать по-другому?! И просто — пройти. Дальше. К своей цели.

— Хм-м... Звучит разумно. Да, ты прав, конечно. Техникам Полигона и так живётся несладко. Так что от их имени выражаю тебе благодарность. За сохранение имущества.

Понять, говорит наставник серьёзно, или иронизирует, Ленур не мог. Серые глаза за дымчатыми стёклами оставались абсолютно равнодушными. Как и тон.

— Теперь, если ты не возражаешь, (А попробовал бы он!) ещё впрос. Почему ты решил спасти детёнышей?

На этот раз Ленур молчал куда дольше. Глаза опустил к носкам кроссовок.

Если честно, он сейчас и сам не знал, почему решился на этот шаг.

Жалость? Ерунда. Как можно жалеть тварей, про которых точно знаешь — они выведены из автоклавов специально для этого Полигона, и, после прохождения всех членов Группы будут, скорее всего, всё равно «деактивированы». Уничтожены. Они — не «существа». А биороботы.

Однако ответить надо. Помня о... Записи его эмоций.

— Хотя я и знаю, что всё это, — Ленур обвёл рукой круг, как бы описывая виртуальное пространство Полигона. — Симулятор... Пусть и с настоящими, живыми, или механическими, монстрами... И что прохожу его на самом деле — не я, а мой механический двойник, андроид, а я в это время мирно лежу в баке с нейтрализатором, облепленный электродами, но...

Детёнышей мне стало попросту... Жалко. Они же ни в чём не виноваты, и сопротивляться ещё не могли. Да и явно ничего ещё не соображали — даже что их могут сожрать.

Но ведь я же не получил штрафных очков за... Нерациональные действия? — Наставник покачал головой, показывая, что нет, не получил. — Да и тварь эта... Уж больно радовалась, что напала на беззащитных. Так не должно быть!

Словом, я и показал ей «мать Кузьмы». И детёнышей покормил ею же!

— Кстати, как ты догадался, что они голодны?

— Ну, это-то как раз было не трудно... Они пищали даже после того, как я убил дайнонихуса. И пытались грызть палки и всё остальное там, в гнезде. Я и подумал — где это мамаша шляется, а тут — такие дела! Ну вот и попробовал. Покормить. А ничего — они, вроде, ели.

— А почему ты не убил мать? Ну, когда она перекрыла тебе выход, «встав на пути»?

— Это просто. Она же не напала. Вот если бы напала...

— Да, что, если бы напала?

— Я бы... — Ленур как-то не задумывался раньше над таким вариантом. Теперь же попытался восстановить перед внутренним взором

эти напряжённые обстоятельства, и чувства, которые тогда у него возникли. — Наверное, всё же побежал бы в глубину ангара, и попробовал уйти через крышу. А то — глупо получается: детёнышей спас только для того, чтобы грохнуть их мамашу и всё равно обречь на голодную смерть... Или — смерть от других хищников.

— То есть ты уже задумывался над экосистемой этого Полигона?

— Да нет, ни о чём таком, типа поддержания баланса видов, или экологии, я тогда не думал. Честно говоря, я хотел просто уйти — так, чтобы мы все остались живы. И я, и аллозавры. — Ленур осознавал, что происходит точно что-то ненормальное. Таких бесед, да ещё столь долгих и подробных, с ним ещё никогда и никто не проводил!

Во что же это всё выльется?!

Неужели...

Отчислят?!

За излишнюю... сентиментальность?!

— Понятно. И ещё вопрос. Почему ты не перебил карнорапторов? Ведь они — мелкие и это не составило бы проблемы?

— Вот уж да!.. Однако... Я сам, балбес такой, виноват, что они меня заметили: я надеялся, что они, двигаясь впереди, замкнут, или выявят для меня Ловушки. И держался к ним слишком... Близо. Ну, и, понятное дело, задний засёк мою тень. Камуфляж-то скрывает саму фигуру. А потом я же знал, что они — стайные твари. Охотятся сообща, роли отработаны. То есть — опять придётся или всех убивать, или... Я предпочёл просто убежать. Заодно и придурочный «страус» смог спастись! — Ленур невольно хмыкнул, чуть дернув плечом.

— А что — насчёт змеи?

— Насчёт змеи — просто. Или я — её, или она — меня. Дура же — мыслит линейно. Она первая кинулась. По рисунку на теле понял — мамба. Да и вообще: ни разу я не видал мамбы, которая, обладая ядом, ушла бы с дороги... Они всегда — кидаются в атаку!

— Хм-м. Это-то как раз — неверное наблюдение. В природе, если змея сыта, они — вот именно, отползают, предпочитая не тратить яд зря: он для них очень ценен. Как и рабочие зубы. Другое дело, что для Полигона мы сытых и неагрессивных змей не предусматриваем. Так что ответ — тоже засчитан.

Наставник замолчал. Ленур тоже не слишком рвался задавать вопросы — для чего нужна была эта беседа. Знал: если будет нужно — ему всё объяснят.

— Ленур, — теперь Наставник чуть расслабил тело и склонил голову, как бы сидя уже не в дежурной, рабочей, а — в нейтральной позе.

— Всё, что я скажу тебе сейчас — строго конфиденциально. Какое решение бы ты ни принял — остальные члены Группы про наш разговор узнать не должны. — Ленур поспешил кивнуть.

— Как ты смотришь на работу... Сотрудником дипломатической Миссии?

В качестве штатного полевого Агента?

— Хорошо смотрю. Ведь мы все здесь и учимся для... Этого?

— Ладно. — Наставник откинулся и глубоко вздохнул. — Пора открыть карты. Не думаешь же ты, в самом деле, что мы гоняем вас всех по Полигонам с разными доисторическими монстриками, вооружив старым оружием и комбезами доисторической эпохи, только для собственного и вашего, удовольствия. Или отработки вами «моторных навыков».

Ты наверняка задумывался, почему вас заставляют раз за разом воевать с тварями, которых вы в реальных условиях не встретите уже нигде... — Ленур снова автоматически кивнул. Ещё бы! Такие мысли возникали у них у всех! Постоянно!

— Ну так вот: объясняю. Делалось всё это только для того, чтобы изучить: как и кто относится к этим, на первый взгляд, малопривлекательным и глупым созданиям. Не появится ли у кого из вас, подростков... Мысль. Что они тоже... Живые. Хотят жить. Хотят семью. Хотят защищать семью... И еще — сможет ли кто из вас, курсантов, преодолеть стереотип о «куриных мозгах» размером с орех.

Пока переоценка, так сказать, ценностей и сдвиг в сознании произошли...

Только у тебя. Да и здоровый прагматизм тебе не чужд — ты даже позаботился о техниках: действительно, чинить Ти-рекса каждый раз непросто. Собственно, ты — единственный, кто не отрубил ему голову, — теперь усмехнулся уже Наставник. — Потому что уж больно велик соблазн: показать трёхтонной тварюге, что не она здесь самая «крутая и сильная»!..

А суть всего происходящего очень проста.

Мы открыли в созвездии Малого Лебедя, на одной из кислородных планет, Цивилизацию динозавров. Первые несколько лет изучали их дистанционно — с орбиты, и с помощью беспилотных летающих устройств. Потом запустили и наземных разведчиков — замаскированных под камни, птиц и прочих местных тварей.

Цивилизация доминирующего вида — созданий, похожих на маюнгазавров — находится примерно на уровне бронзового века. То есть — заведомо «ниже» нашей по уровню... Хм. И морали и техники. Но!

На ближайшие годы запланирован Контакт. Кто-то из людей должен будет ступить, наконец, на поверхность и попытаться наладить дружеские отношения с туземцами. Торговлю. Взаимобогащение Культур — ну, там, фольклор, Мифы, Религия... И всё остальное, что может оказаться взаимопользным.

И нам вовсе не нужны там, при установлении и поддержании этого самого Kontakта, люди, считающие динозавров — тупыми и кровожадными тварями. Которых лучше сразу убивать, чтобы не «стояли на пути».

Ты показал своим поведением, что перешагнул эту ступень. Ты уже не думаешь, что все динозавры — тупые злобные твари. Тебе даже стало... Стыдно перед ними. (Это когда ты обозвал обманутого Ти-рекса — «Бобиком»!) И даже — жалко. (Ну а это — когда ты пытался промывать трицератопсу глаза!)

Ленур почувствовал, как краска вновь заливает лицо и шею — действительно, ему стало стыдно тогда, что он обозвал... Хотя он даже не сомневался: тот не поймёт ни слова... А вот — поймёт!

— То, что тебе и сейчас стыдно, радует меня ещё больше. Поэтому я без тени сомнений могу тебе сказать: ты подходишь для работы на этой планете! И будешь относиться к контактам с местными разумными Существаами без предвзятости и... Презрения.

И, разумеется, я должен задать тебе Главный Вопрос: Ленур Селяметов. Согласен ли ты на эту работу?

Вот это — да!!!

Ленур сглотнул. Мысли разбегались. А он-то, баран такой, всё считал себя хуже остальных бравых вояк! Которые только и могли, хватая, рассказывать, где и у кого они нашли уязвимые места, скольких поубивали и как кого лучше завалить!..

А ведь у него и правда — с самого начала возникала такая мысль: что неспроста их гоняют через все эти Эры и Эпохи. И с какими только монстрами не сталкивают лоб в лоб! Собственно, он-то с самого начала предпочитал стараться именно избегать кровавых разборок, если возможно, пройти мимо противников так, чтобы, как говорится, «и волки сыты и овцы целы!»...

Но сейчас Наставник прав во всём. Ему было и стыдно, и жалко. Динозавров.

С другой стороны — он не мог не видеть презрительных косых взглядов остальных курсантов, особенно девушек, когда Группа просматривала записи, как кто прошёл Полигон...

Эти взгляды, конечно, жгли словно огнём и отнюдь не способствовали тому, чем более «крутые» парни уже давно пользовались: ночной «благосклонности» этих девушек.

Но он всё никак не мог заставить себя — убивать больше. Убивать для... Собственного удовольствия. Самоутверждения. Чтоб выглядеть «крутым» — для всех остальных курсантов. И девушек.

Не получалось у него удовольствия или самоутверждения от убийства. Или даже — порчи механизма. Работа мясника или «портителя техники» — явно была не для него.

Ведь кто-то, потратив массу терпения, времени и сил, делал и чинил этот механизм. И — кто-то «рожал» из выводковых камер этих монстров. И выращивал их!..

Ладно, хватит самоедства! Наставник ждёт. Смотрит так, словно понимает, что сейчас творится в его душе.

Впрочем — почему — «словно»? Понимает.

— Я... — пришлось сглотнуть, чтоб голос не дрожал, — согласен.

— Отлично. Переживёшь расставание с Группой без прощания?

— Переживу. А... Что вы им скажете — почему меня... больше нет?

— Я скажу им то, что они должны услышать. Чтобы не исказить их приоритеты и мировоззрение. Философию. Самоосознание.

Потому что Выбор и Понимание к человеку должны прийти сами.

Без внешних подсказок.

Для них ты — просто переведен на другой Факультет. В другом городе.

Так что — поздравляю с... новой работой, Коллега!

Ленур понял, что по лицу расплывается глупая, но счастливая улыбка.



Дмитрий Учитель

Днепр, Украина

ЧЁРТОВО КОЛЕСО (ВМЕСТО КИНО)

"...А теперь я хочу напомнить тебе, — сказал Владимир Иванович, злобно глядя на племянника, — что всё это не шутки и чревато бедой. Вечно с тобой что-то происходит.

На этой неделе ты откопал зеленую круглую

коробочку и принес ее другу. Оказалось, что это противопехотная мина, и пришлось вызывать специалиста, чтобы он её унёс куда полагается.

А позавчера вы с Таней тайком украли у тети Раи трехлитровую банку марганцовки и подожгли ее на стройке. Взрыв был на весь район. Мне всё рассказали... не буду говорить кто. Но я в курсе!

"Хватит! Так больше продолжаться не может..."

"Хватит ворчать, Володя, — вмешалась Вероника Анатольевна, помешивая в тарелке яичные желтки. — Что ты к ребёнку постоянно придираешься?"

Всё в жизни бывает. И толку от твоего брюзжания никакого.

Знаешь, как наша семья жила в Нижнем Поле?

Так я тебе расскажу.

В нашем доме был рыбный магазин. Во дворе разгружали машины.

Я любила смотреть, как разгружают живую рыбу. Иногда они давали мне мелочь на кошку. Кошки у нас не было. Зато рядом был парк. А в нём — пруд.

Я выпускала рыбу в этот пруд.

От рыбы оставалась куча деревянных ящиков. Мы с друзьями собирали их и разводили рядом костры.

А соседи приходили к моей маме каждые два дня и кричали: "Ваша дочь опять разводит костры во дворе! Остановите её, пока дом не сгорел!"

Однажды мы подстрелили из рогатки чайку и зажарили ее на костре!

Но от нее сильно пахло рыбой. И мы её не доели.

Мы совершали набеги на огороды соседних домов, искали редиску, морковь, картошку, да всё, что только могли найти...

Какое было время! Может быть, с этого все и началось...

Но и тогда жизнь была непростая.

Когда моей сестре Рае было 13 лет, она играла одна во дворе.

Помнишь эти дворы в форме помятого блина? Таки много было у нас в Нижнем Поле.

Так уж вышло, что она в тот день была старше всех среди тех, кто там гулял.

И тут один девятилетний оболтус упал с качелей, как жёлудь с дуба!

И, конечно, ударился головой об землю.

А старушки, которые сидели напротив, стали жаловаться на мою сестру!

Так и сказали: она же была старше других, значит, должна была вмешаться и остановить того дурачка, чтобы он не упал.

В то время как его мать была дома и занималась своими делами.

Мы что, должны с них брать пример и брюзжать?

А что было у нас в седьмом классе? Одна моя одноклассница потом стала директором лучшего продуктового в Нижнем Поле. А тогда она подошла к племяннице прокурора нашего района, которая сидела на первой парте, и дала её пощёчину. Завязалась ссора. Они кричали друг на друга, катались по полу, шипели, как змеи...

И весь класс, включая меня и нашу любимую учительницу химии Марию Ивановну, она тогда была классным руководителем, их разни- мал минут 20. Класс у нас был дружный. Всё делали вместе! По-товари- щески! От самого сердца!

Чего только тогда не было! Незабываемые годы!

Нет, не надо думать, что раньше молодежь была хорошей, а теперь вдруг испортилась!"

— Вероника, ради Бога, остановись! — сердито отмахнулся Влади- мир Иванович, намазывая масло на хлеб. — Мне жутко всё это слы- шать. Чем больше я смотрю на всех вас, тем больше мне становится страшно за будущее нашей страны. Раньше я думал, что ты единствен- ный человек в нашей семье, у которого есть что-то, напоминающее здравый ум. Да и моя мать мне так говорила! Но смотрю на тебя, Таню и Егора, и убеждаюсь, что единственный нормальный человек в этой семье — это я.

— Но, дядя Володя, — Егор повернулся к столу, постукивая чашкой по столу, — разве в вашей юности не было приключений? Например, когда за день до полёта Гагарина вы с товарищем рассыпали красный перец на танцплощадке техникума, танцоры чихали, а вы ушли, подми- гивая...

— Где ты это слышал?" — нахмурился Владимир Иванович.

— Да Таня мне как-то рассказывала. И я...

— Уф... — Владимир Иванович глубоко вздохнул. — Не слушай эту негодницу. Не так всё было.

— И как же это было, дядя Володя?

Владимир Иванович шмыгнул носом и закатил глаза.

— Я не помню, как это было, но это и не важно. Дело прошлое. Не слушай её. Услышал — забудь! Ты вот скажи, правда это, что вы с ре- бятами недавно в затопленном котловане играли в морской бой?

— С чего вы взяли, дядя Володя?" — озадаченно спросил Егор.

— Мне Таня недавно рассказывала.

- Но вы только что сами сказали, что не надо ее слушать...
 - Допустим. Но ты мне скажи, было дело?
 - Ну... Честно говоря, было.
 - Вот что, друг мой, — вздохнул Владимир Иванович. — Я не хочу жить как на чёртовом колесе. Пора закрывать этот луна-парк.
-

Ерофим Сысоев

Шарлахберг, Германия

АВОКАДО

(Тантра)

— Рептилоидам пора уже вносить поправки в конституцию... — проговорила Люська, когда они с Хромовым уселись за столиком в кафе на пешеходке. — Если они в нас, конечно, вообще заинтересованы.

— Что за поправки? — без выражения поинтересовался Хромов, не отрывая взгляда от бедер движущейся к ним по залу официантки.

— Чтобы плохих всех изолировать, — пояснила его спутница. — А то через десяток поколений мы все тут друг друга передушим.

Официантка подошла к столику, улыбнулась по очереди даме Хромова и ему самому, уверенным движением положила перед каждым меню в толстой папке под крокодилью кожу и двинулась дальше по своим делам.

— Теперь ты на жопу ее будешь глазеть?.. — ядовито поинтересовалась Люська, открывая в меню раздел утреннего буфета.

— Как ты всё замечаешь... — недовольно крякнул Хромов. — Раньше у тебя этого не было.

— Чего — этого? — переспросила его собеседница.

— Этого... — непонятно пояснил Хромов. — Цинизма, к примеру. — Он потер себе переносицу. — Чутья на всякую дрянь... Ты была... ты была как нежная забывка...

— А ты налетел, растлил, развратил... и пристрастил к дзен-буддизму, — басом хохотнула она, не переставая листать страницы. — Как Настасью Филипповну.

— Я не пристращал... — насупился Хромов. — Так что за поправки конкретно должны принять рептилоиды?

— Не принять, а протаскать тайно, через свое лобби. Чтобы всем казалось что это мы сами о себе позаботились.

"Ночи были теплы и непроглядны, — вдруг представил себе Хромов, — в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни"¹.

— Как сын? — вырвал его из полузабытья Люськин голос.

— А что сын? — моргая, переспросил он.

— Ну, где он сейчас?

— У бабушки, насколько я знаю...

— А ты не хочешь... — начала Люська, подняв брови, а затем тут же сделала участливое лицо.

— Послушай, с чего ты взяла, что тебе позволено задавать такие... щекотливые вопросы? — фыркнул Хромов.

— Ну, извини. Если бы я была нормальной, я бы предложила тебе взять его себе... Жалко Зинаиду. Нормальная была баба.

— И ничего не нормальная. Просто тараканы у всех разные. Была бы нормальная — вызвала бы тогда врача. И была бы сейчас жива.

— Ну, тоже верно... — легко согласилась Люська. — Вообще не представляю себе... Это их у тебя уже четверо? Онидохнут просто как мухи, эти твои бабы.

— Да. Похоже... И лежат потом в ряд на моем мысленном подоконнике. С задранными кверху лапками.

Они снова замолчали, вернувшись к только что принесенному завтраку — омлету с беконом для него и фруктовому салату для Люськи. "Кафе-дель-Соль" умеет порадовать своих посетителей.

"Сперва К. гнал по черноземной колее вдоль шоссе, — думал дальше Хромов, занятый омлетом, — потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задрезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывающийся вслед затем необыкновенными по своей сокру-

¹ Здесь и далее цитаты из прозы И. Бунина.

шающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши..."

"Молния... рубиновым огнем? — прервал сам себя Хромов. — С хера ли рубиновым?"

— Это поэтому ты подписался на эти свои... командировки? — снова заговорила Люська.

— Может быть и поэтому. Там по крайней мере смерть входит в условия задания. А значит в ней есть хоть какой-нибудь смысл.

— Ты уже многих убил? — сдавленным голосом продолжала она, разглядывая дынные дольки у себе в тарелке. Сливочно-шоколадная подливка разлилась среди фруктов муаровой жижей и теперь отливала по краю прибора голубоватым.

— Ты что-то сегодня совсем распоясалась, Люся... Какое тебе собачье до этого дело?

— Ну, извини. Сама не знаю что я вдруг так разболталась...

— Ешь как следует, — нахмурился Хромов. — Приятный аппетит...

"Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы всё еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смиренно, молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок...

Он без сна слезал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, всё так же свернувшись, поджав ноги, всё забыла во сне! Милая и жалкая девчонка...

Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, устала на него ничего не понимающими глазами.

— Стёпа, — сказал он осторожно. — Мне пора.

— Уж едете? — прошептала она бессмысленно".

— Кто этот Стёпа, Хромов? — ввернулась в сознание Люська. — Откуда он там вдруг взялся?

— А? — не понял он вопроса.

— Не думала, что тебя настолько растащит от Бунина... Ты что же — вот так наизусть можешь шпарить и дальше? — Брови ее задрались вверх, на лбу некрасивыми дугами собрались морщины.

— Поела? — мрачно осведомился он. — Тогда поднимаемся. — И он помахал рукой официантке. — Как твои сиськи?..

— Ты опять за свое?! — тут же вспыхнула Люська.

— А что такого? — не растерялся Хромов. — Обычный светский вопрос женщине... Что ты вообще нынче такая манерная... как какая-нибудь Гапа Мещерякова.

— Ты совсем обчитался Буниным, Хромов?! — в голос завопила она. Головы остальных посетителей как по команде повернулись к ним. — Какая еще Гапа?

— Мещерякова... — повторил Хромов.

— А полное имя у ней какое? — взвилась Люська. — Агапа?! Ты хочешь меня обидеть?!

— Всё, всё... — примирительно поднял руки Хромов. — Пошутил... По-товарищески.

— Ну то-то же... — тут же сбавила тон она. — Вообще-то я замужем. — Люська нахмурила брови. — Если ты вдруг позабыл...

— Невелико достижение, — фыркнул он. — И когда это чему-либо мешало?.. — Они гуськом, лавируя между столов в зале, направились к выходу, к машине.

"Темнело по вечерам только к полуночи, — вспоминал Хромов, усаживаясь за рулем поудобнее. — Стоит и стоит полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, всё казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, — и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии..."

— Опять молнии у него... прям наказание какое-то, — проворчал Хромов вполголоса, снова возвращаясь к реальности.

— Что ты там опять бормочешь? — недовольно скривилась на пассажирском сиденье Люська.

— А как это вообще ощущается, — начал он, внезапно раздражаясь, — быть замужем за ничтожеством?

— Он не ничтожество... — возразила она. — Он мастерит, вырезает из картона чудесные замки...

— Ага... В то время как ты наставляешь ему рога — с этим своим Павликом. Или не с Павликом.

— А вот это вообще не должно тебя интересовать! — Она нахмурилась и задышала чаще. — По крайней мере у меня есть муж и я не таскаюсь по чужим странам чтобы убивать там ни в чем не повинных людей.

— Это враги, — кратко урезонил ее Хромов. — У всякого государства бывают враги.

— Да и никто другой, кажется, замуж меня не звал, — не слушая, продолжала она. — Вам ведь всем нужно только одно — разлапить пошире ноги у женщины. Включая и твоего Бунина... Кто наверху — тот и прав.

— Это не мой Бунин! Меня от него тошнит.

— А меня тошнит от тебя, от этих твоих мух на подоконнике с задранными лапками.

— Время такое, — раздумчиво согласился Хромов. — Рептилии у руля, вот всех и плющит. Или тебе хоть одна из них была симпатична?

— Нормальные были женщины, каждая по-своему, — скривилась Люська.

— Ага. И каждая изводила меня ревностью, желая чувствовать себя неотразимой и единственной... Но такое на деле крайне редко встречается. Неотразимых всех давно уже расхватали рептилии... Ну что, мир?

— Мир... — тут же согласилась она и слегка оттянула на плече ремень безопасности. — Зайдем в гастроном? Мне нужно купить авокадо. Запаркуйся... — вон там впереди есть местечко.

— Хорошо. И напоминаю для забывчивых — про брак у нас с тобой речи тогда вообще не было...

— Да знаю я, знаю... — огрызнулась Люська и полезла вон из машины.

— Дверь придерживай! — рявкнул в ответ Хромов. — Стукнешь соседа, плати за тебя потом. Кто мне прожег дырку в сиденье своей сигаретой?!

— Это было три года назад... — дерзко возразила Люська.

Они взяли тележку и вкатились внутрь магазина.

"Мда... — думал Хромов, шагая вдоль полок с фруктами. — Раньше персики были как персики. А сейчас говно одно на прилавках — твердые как камень, незрелые, типа как средство от запора. И запаха ни-

какого... И так везде. Живем в эпоху лжи... — Он покрутил головой, отыскивая взглядом свою спутницу. — Бога забыли, совесть засунули себе в... дальний карман, в рюкзак".

— Красота спасет мир, Хромов... — добавила масла в огонь она, появляясь из овощного ряда с авокадо в обеих руках. — Смотри, какие хорошенькие! Как огуречики... только в форме лампочек.

— Ага, спасёт... — недовольно проговорил он в ответ. — С чего бы... Апокалипсис грядет, православные. Реки обратятся в кровь. Всадник бледный, конь у него бледный — хорор и трэш везде, куда ни возьми.

— Как вообще получился этот ребенок? — как обычно не слушая, поинтересовалась Люська. — Вы что, не предохранялись? Она замужем, он какой-то нерусский. Как он тебя тогда не убил?

— Я всё это уже рассказывал...

— Но я не понимаю психологически!..

— Они долго хотели ребенка. Муж был физически бесплоден. Комплексовал, они жили подолгу врозь, он давал ей волю без края. Впрочем, это наполовину мои догадки. А потом она, вероятнее всего, просто вынула спираль. Ведь два года до этого никаких деток у нас не было...

— То есть ты оказался типа донором?

— Типа того...

— Давай на выход, — проговорила она. — Если тебе, конечно, ничего тут не нужно.

— Мне вообще ничего не нужно, — патетически провозгласил Хромов. — Ты всё, что возможно, для этого сделала. — И они с двумя авокадо в тележке двинулись в сторону кассы.

"Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный, — бормотал на ходу Хромов. — А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою — я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно..."

"Сильней всего человека накрывает когда рушатся его представления о незыблемом, — думал он дальше. — То есть сидит человек на больничном дома с острым бронхитом и уже пятый день принимает антибиотики... и тут вдруг к ночи у него начинается дергать зуб, а наутро выскакивает флюс в полщеки — и это в то время как он считал себя

уже почти что стерильным из-за назначенного ему лекарства. Или жена, на которую он потратил десять лет жизни и привычно считал глухой, хотя и полезной курицей, даже овцой, вдруг заводит себе любовника, а потом и вообще снимается с места и уезжает с новым избранником напрямик в столицу, поскольку у того кто-то из одноклассников выбыл в большие шишки и теперь набирает себе лояльную команду".

— Как у тебя сейчас с Машей? — снова влезла в его размышления Люська.

— Что с Машей? — удивился он. — У нас лесбиянкам теперь в поселке зеленый свет: их к нам откуда-то понасыпалось уже чуть ли не половина. А что? Строиться дальше некуда — болота кругом. Да и денег в бюджете кот наплакал, застройщик основное построил и свинтил — тютю; теперь я за всё отдуваюсь, только успевай поворачиваться. А так они поживают себе друг с другом по-лесбиянски — ни пьянок тебе, ни мордобоя. Нашла она себя в этой нише... респект и зеленый свет. С мужиками у нее вообще всё по-левому выходило. Я навещаю ее иногда — если возникают какие-то технические вопросы.

— Ну что... классно...

— Одни плюсы... — согласился Хромов.

— Ну а когда они состарятся? Как оно тогда будет? Не думал об этом? Просто интересно...

— Кто состарится?

— Ну, эти твои жительницы в поселке.

— Ну что ж что состарятся... Новые на их место насыплются.

— Ты знал, кстати, что трамвай, дырокол и даже авокадо — всё это изобрели лесбиянки? Так по крайней мере утверждают их идейные вожаки.

— Нет... — озадачился он. — Про трамвай не знал... Прикольно.

— Вообще это счастье, конечно, что у нас с тобой вот так... — мечтательно проговорила Люська. — У тебя бесконечные бабы... у меня муж... И в то же время...

— В то же время что? — заинтересовался Хромов. — В любой момент можно без предисловий перепихнуться?

— И это тоже, — по-прежнему мечтательно подтвердила она. — Но и не только это...

— Всё было бы вообще замечательно, если бы мы с тобой были нормальные люди, — без выражения проговорил Хромов. — Я бы, к примеру, работал технологом на каком-нибудь предприятии... а у тебя не было бы инвалидности по психиатрии.

— Мы такие, какие есть, дружок, — нахмурилась Люська. — И этого уже не изменить.

— Да, — согласился он. — Разве что только вмешаются рептилоиды.

— Не обнадеживайся... — ответила она. — Уж наверное не в этой жизни. Придется и дальше самим тянуть ляжку, без рептилоидов. Сбыча мечт отменяется. Ты, кстати, можешь попробовать писать триллеры — ну, чтоб отпустили призраки убитых.

— Хорошая мысль... — согласился Хромов. — А то и правда снится порой всякая дрянь.

— Ну вот... — одухотворилась Люська. — И мрачность твою как рукой снимет.

— А что муж? — перевел стрелку он.

— Объялся груш... — в тон ему ответила Люська. — Ходит себе на службу и вроде бы всем доволен. Он вообще-то хороший...

— Кто б сомневался...

— А что у Маши было не так с мужиками? — снова вернулась к общей знакомой Люська.

— Ну что... — Хромов задумался, припоминая. — Она же в IT, программистка какая-то. И вот однажды ее услали на целый год в Пермь...

— О! — заинтересовалась она. — Мотовилиха... Уральская балетная школа...

— Да, — согласился Хромов. — И еще дубак постоянно. Она тогда три дня выдержала в гостинице, а потом сняла мужика и поселилась у него...

— Молодец какая. И что?

— Весь год у него жила типа жены, а потом договор кончился и она без слова просто свинтила домой обратно. Зачем ей по месту жительства чел из Перми?

— Тоже верно, — согласилась Люська.

— А он как-то напрягся, нашел ее по соцсетям, приехал, сломал ей руку и сильно разбил табло...

— Круто... — покрутила головой Люська. — Срослось?

— Что? Рука? — не понял он. — Да, срослась. Факт, что челу этому ничего не было, он паспорта нигде не показывал, ехал на попутках, а в Перми числился в отпуске на даче, ну или в деревне. Менты по ее заявлению особо рыться не стали, так и заглохло дело за недостатком улик. Такая вот ей шарахнула карма.

— Ну да... — согласилась она. — Нарвалась на бойца в своем роде.

— Так уже в следующее лето она сняла себе мужика уже здесь, чтобы жить на заливе и близко было купаться. А в сентябре опять свинтила, не сказавши ни слова. Но этот пока ее не нашел.

— Тут, наверное, действует закон больших чисел, — предположила Люська. — "Если каждому давать — ломается кровать", как говорят британские ученые.

— К чему это ты? — удивился он.

— Один раз изменила — ты несчастная женщина. Сто раз — это уже совсем другая женщина...

— Так она вроде никому и не изменяла. Но в целом согласен... — задумчиво проговорил он.

"Солнце притягивает Луну вдвое сильнее, чем Земля, — думал Хромов дальше. — А Луна притягивает каждого из нас в десять тысяч раз сильнее, чем партнер, лежащий рядом в кровати. И даже если прижаться вплотную, то Луна всё еще в тысячу раз сильнее. Есть к чему ревновать... Какие уж там измены..."

— Ты знал, что в подлодке вообще не укачивает? — затеребила вдруг его локоть Люська.

— Подлодка какое-то мутное слово... — проговорил он. — Семантически раздражающее. Типа лодка большая, а подлодка поменьше. Как полковник и подполковник. Или лещ и подлещик...

— Да, верно, — согласилась Люська. — Не замечала. Ты молодец...

— А английское слово вообще ни в какие ворота... субмарина. Это буквально выходит "подморка", типа под морем такая вся... Вот тебе и британцы.

— Продавщицы в последнее время в магазинчиках как заколдованные... — вдруг не в тему забормотала она. — Беру авокадо, говорю ей что-то, а она тут же переспрашивает то же самое, как будто в ступоре... И так же на почте. Вчера захожу в маленький филиал. Ни одного посетителя. Мне, говорю, посылочку к вам сюда занесли — и даю листок со всеми данными, на компе распечатанный. А тетка такая: "Да? Не может быть... Как ваша фамилия, адрес?.." А фамилия с адресом на листке в самом верху аршинными буквами напечатаны. Вот о чем они на работе грезят? Неужели всё о рептилиях?

— Вообще такого раньше не было, это правда, — согласился Хромов. — И взгляд был живой у них, без ступора, и какой-то интерес к окружающему... Скучно живем... Как мушки какие-то сраные...

— Корпорации нас давно одолели, — поддержала Люська. — Скоро лишних вообще будут на котовые консервы перерабатывать.

— Причем лишние будут идти на убой типа как добровольно, — хмыкнул он.

Они заехали по пути за мясом в небольшой магазинчик.

Знакомый Люськин мясник Фима, морщась и крутя носом, рубил свинину. Некошерно — но у Фимы детки: девочку водят на балет, а мальчика на пейнтбол. Планируют потом сразу в Оксфорд...

Немного постояли с Фимой и поговорили о пустяках.

— Стреляет уже как Сильвио... — с гордостью сообщил Фима о сыне.

— Это который ел у Пушкина черешенные косточки? — заинтересовалась Люська.

— Он самый, — подтвердил Фима. — В тире сажает одну пулю в другую...

— Сильвио плохо кончил, — нахмурился Хромов. — Прибился к фанариотам, а те возбудили этеристов и принялись свергать турецкое иго. Ну и пропал пацан... видимо, подстрелили.

— Жалко... — без выражения заметила Люська.

— Вот видишь, — вскинулся Хромов, — Сильвио ты жалеешь, а меня нет. И никто не называет его продажным наемником и не объявляет в розыск.

— Но ты, мне кажется, служишь всё-таки не вполне бескорыстно, — не собиралась сдаваться она, нахально разглядывая дорожные хромовские ботинки. И, помолчав, добавила задумчиво: — Представьте, всё это писалось двести лет назад — ну, "Повести Белкина". А с турками воз, можно сказать, и ныне там — во всяком случае в том что касается Кипра.

— Пассионарность у турок высокая... — разъярил Фима. И, улыbnувшись, продолжил: — Вы заезжайте. Баранинка послезавтра будет кошерная.

...Они ехали теперь в направлении предместья вдоль унылых бесконечных фабричных заборов.

— А-аа! — внезапно вскинулся за рулем Хромов. — Ичь гюрюм шыкыдым...

— Опять войну вспомнил? — участливо поинтересовалась Люська.

— Да... Бывало, сидят боснийцы пленные на земле, руки за спиной связаны, и вдруг один какой-то вот так заорет в голос...

— Отчаяние. Чего тут особенного? — проговорила она. — В больничке в гинекологии тоже у нас, помню, вот так в голос принималась

вопить, мол, "течет молочко по вы-ымечку... С вымечка по копытичкам..."

— Да-да! — перебил он ее. — "С копытичек на сыру землю...". Знаем такое, читали в школе...

— Не в школе, а в детском саду, — поправила Люська. — Инфантилизм какой-то долбаный...

— И еще было, помнишь? "Как из гардероба высунулась жоп..."

— "А? Что? — тут же подхватила она. — Да ничего: жёлтые ботинки".

— Правильно... — заулыбался Хромов. — Ты знаешь много стихов, молодец... А что ты делала в гинекологии?

— Закровила внезапно не по-детски, — пояснила Люська. — А лечащий доктор мне такой: "если, мол, желаете упиваться своей депрессией и будете продолжать выплевывать в унитаз прописанные вам таблетки, лечение окажется неудачным и мне придется вас усыпить...". Как долбаный ветеринар!

— И что ты? Перестала упиваться?

— А куда денешься?! — нахмурилась она. — А вдруг и вправду усыпит? Добавит в капельницу пентабарбитала побольше — и тютю Люсьенька... поехала на погост...

— Да-а... — согласился Хромов. — Дела... Как это говорят: из реаниматоров его за живой и веселый нрав перевели в простые аниматоры — теперь он шутит и приплясывает, так сказать, профессионально... С погостом это была бы, конечно, большая травма для твоей матери.

— Матери-лохматери... — передразнила Люська. — Ты просто не знаешь, что это такое, когда ребенок родился больной, когда он не оправдал ожиданий, как она мне всегда говорила. И запрещала кашлять в квартире, даже в уборной. Дескать, у нее нервы...

— Круто... — проговорил Хромов. — Досталось тебе... Но вообще всё это погрешности социума, а не отдельных людей. Материнский инстинкт проявляется далеко не у каждой, это научный факт. В старое время такую мать подменяли ближайшие родственники, а сейчас что? Все разбрелись по однушкам-хрущовкам, сеют рознь и чинят произвол. А потом удивляются, откуда берутся маньяки.

— Или психи, как я, — согласилась Люська.

— Вообще всё в социуме далеко не так просто, как нам обычно кажется. Видала в любом почтовом киоске открытки? — все в блестящих, типа я супер-модель... Но красивых людей совсем не так много. Что делать в этом тренде людям обычным, некрасивым? Повеситься и убититься об стенку? Или возьмем всего лишь чуть-чуть пошире: представь —

женская красота с точки зрения лебеда. Ноги какие-то безмерно длинные, непонятно для чего — бегать, что ли? Пальцы без перепонки, сиси непонятные, от которых только лишний вес. А главное — нету крыльев. Ну куда лебеду без крыльев?! Абсурд...

— Согласна. Вот у меня на всем теле только глаза получились более-менее...

— И это деление на юпи и лузеров, постоянный раздражитель для латентных психов. Лузеры сбиваются в группы и мочат юпи, чтобы те дали им хоть сколько-то ништяков. А юпи типа соглашаются: "Берите канешна. У нас этих ништяков вообще сколько хочешь". Ну где тут справедливость, я спрашиваю.

— Верно... — согласилась она. — И с ретилоидами твоими тоже наверняка непросто. Вот на изображении в чате затяжки, и все думают, что это спутник как раз корректирует орбиту, или что там у него еще... А может, и спутников-то никаких нету на самом деле! И вся связь идет через мозги рептилий, засевших в канализации. — Люська нахмурилась, удерживая на коленях пластиковый пакет с мясом и авокадо. — Да и космоса нет никакого: обтянули Землю по кругу органзой с фонариками типа звезд и разводят трудящихся, чтобы оправдать инфляцию. А мы, дураки, верим...

— Такое возможно, факт... — согласился Хромов. — Или вот в целом с историей биовида... — Он, руля одной рукой, потёр себе переносицу. — Человек как биовид проделал огромный путь, эволюционируя от обезьяны. Что-то типа двух миллионов лет хомо эректусу, не помню точно. И при этом у Сильвы...

— Твоя соседка-чернушка этажом выше? — уточнила Люська. — Видела ее недавно в городе...

— Она самая... Так вот... Сильва вообще не имеет волос на теле. Даже подмышками и кое-где еще у нее лишь лёгкая пружинистая мелкозавитая поросль — так же как и на голове. На волосистой покров обезьяны это и близко не похоже. И тут же, где-нибудь в Малой Азии, встречаются женщины, у которых не только руки и ноги заросли шерстью, но и вся спина меховая, как у медведя. Вот как это следует понимать?

— Ну, может быть обезьяны, из которых выросла негроидная раса, как-то исторически вымерли и сегодня больше не встречаются, — предположила Люська и, достав из пакета мясо, принялась его нюхать.

— Откуда же тогда взялась Сильва?.. — уныло спросил сам себя Хромов.

— Черная раса самая древняя, — уверенно заявила его спутница.
— Но сейчас постепенно стараются доказать что это ошибка.

— Рептилии и стараются, — хмыкнул Хромов. — Кому же еще...
Вон, слышала, морякам на походе стали добавлять в пищу синтезированные на фабрике Е-белки — типа они компенсируют рядовому составу тяготы длительного воздержания. А у матросов от них такие сны, что находиться ночами в спальнях помещениях свежему человеку реально страшно, так они там стонут и мечутся, наши несчастные матросики — тискают всю ночь подушки и всё что попадает под руку. Приятель у меня журналюга, недавно выпросил допуск себе на подлодку, типа писать репортаж. Насмотрелся там на всю оставшуюся жизнь.

— Подлодка мутное слово... — возразила в пространство Люська.
— Типа как подлещик...

— Так это еще поход был коротенький, — продолжал Хромов, не слушая. — В смысле до первого всплытия: приятеля через две недели уже сняли наверх, на какой-то кораблик. Где-то посреди Тихого океана, ближний свет...

— "Ближний свет" по-нерусски будет "ultima thule", — блеснула эрудицией Люська. — Или, выражаясь иронически, "за три звезды" — как любят говорить астрономы.

— А туляремия тогда что? — забеспокоился он, останавливаясь на красный сигнал светофора.

— Это другое... — важно заметила она. — Зайцы болеют, кролики. Водяные крысы.

— Водяные?

— Не водяные... А водяные крысы. Я же тебе говорю: это другое.

На светофоре включился зеленый.

— Или токсоплазма. Коты от нее сатанеют, а их владельцы перестают строить социализм.

— Или кастенеда, — добавил Хромов.

— Костоеда, чудила... Она давно уже лечится.

— Шучу, — кратко пояснил он. — Журналюга мой собирает такие вот оговорочки. Типа "Квасобланка". Или "Охлакома".

— Хороший юмор, чистый, — поддержала его Люська, закручивая мясо обратно в полиэтилен. — Типа как "Вождь ирокезов Миннету".

— Вот что я ценю в тебе, Люся, — улыбнулся Хромов, — так это твою девичью непосредственность.

— Ага, — гыгыкнула она. — "Лена Вожделенова — маньяк целомудрия"... Как тебе?

— Никак... — удивился Хромов. — Зачем нам такое?

— А "художопник с мольбертом на мысе Писунда"?..

Ему вдруг подумалось о вещах действительно значимых... — оwoцах, баранине, рисе... О картофеле, наконец — для тех кому дорог крепкий стул...

— "Пропедевтика благости, вводный курс"... — не унималась Люська. — "Марио Глицерини и Нунцио Мандарини, оба гандоньеры в Венеции".

— А это надо будет послать приятелю... — смилостивился он и продолжил: — Подъезжаем, Люся. Вспомни о муже...

Впереди действительно показалась, приближаясь, Люськина девятиэтажка.

Еще через пару минут Хромов притормозил у подъезда.

Муж уже стоял на балконе третьего этажа, вглядываясь в хромовскую машину, как будто заранее почуяв их приближение.

— Не вздумай лезть целоваться... — прошипела Люська, отстегивая ремень. — И не смей подниматься в квартиру, даже если он позовет...

— Люсенька! — приветливо помахивая ладошкой, завопил с балкона муж, когда они выбрались из автомобиля. — Ты просила напомнить за авокадо... А я как-то позабыл позвонить, прости... Здравствуйте, Хромов! Вы не зайдете?

— Доброго здоровья! — мрачно ответил тот. — Нет, не сегодня, спасибо... Уже выбиваюсь из графика.

— Спасибо что повозили Люсю... — Муж продолжал водить из стороны в сторону ладошкой, как это делают китайские статуэтки в дисках-унтах.

Хромов согласно покивал в ответ головою.

Наконец Люська с пакетом продуктов скрылась в подъезде, а ее супруг исчез с балкона.

Хромов снова уселся на водительское сиденье. Запустил двигатель, пристегнулся.

"Муж пустил служить золовку в городскую уголовку", — вдруг всплыла у него в голове нелепая частушка.

— Чушь какая... — пробормотал он и, поглядывая в оба боковых зеркала, тронул машину задом с парковки. Из-под пассажирского сиденья выкатились, кувыряясь и отсвечивая зелеными боками, два авока-

до — случайно ли забытые Люськой или оставленные ею умышленно...
— этого мы в точности теперь уже не узнаем...

СТИХИ

Наталья Разувакина

С.-Петербург



ПЕСНЯ ПОЛЕЙ И ОКРАИН

Мы неслись — не вниз, не вкось и не по спирали,
Мы сгорали ввысь — ты жаждал, чтоб понимали
Нас — а я смеялась: вообще о чём ты?
Я такая была звезда и опять девчонка.

А теперь война, как детство, пришла и пляшет.
И уже не важно, как звёзды встанут, как карта ляжет.
Мы уже полегли, как надо, на чёрном пляже.
Посмотри, мы оба в какой-то саже, в какой-то саже.

Так идут поезда — на север, а север сзади.
Так лисица холкой чует врага в засаде.

Так в ладонь целуют — и холод ладони страшен.
Так во сне приходит мама с тарелкой каши.

Не бывает на минном поле хорошей мины
При любой игре — ни дома, ни домовины.
Угольками влёт — я ветрена, ты горячий.
Ну скажи — пройдёт, и я наконец заплачу.

Солнце августа густое, как покрывало.
Всё что быть могло — со мною уже бывало.
Не прошу о прошлом, я неба прошу у неба.
Ты такой хороший, как прежде никто и не был,

Как выходит враг из засады внезапным другом,
Как лучистый вождь трубу подаёт по кругу,
Учудук в пустыне, маяк в полночи, Хэм в Париже
И ещё волшебный зонтик из детских книжек.

Но хорош, не жги, сгорев — экономя движенья.
А вокруг ни зги, ни рая, ни пораженья.
Я уже, я вста, встаю, подымайся тоже.
Плоть и кровь, трава и небо, слова и кожа.

Живи, пожалуйста, посредственно.
На средства, стало быть, живи.
Ищи причину для последствия,
Когда ладошка вся в крови.

О край платформы кожа содрана
На правой, на дающей, на
Прочь, будто и не соткана
Из этих песенок страна —

Про поезда про горемычные,
Мытарства жизни кольцевой.
Мы так и знали, мы привычные:
Не спи, не жалуйся, не вой.

Москва, хватай меня под мышками
И хорошенечко встряхни,
Чтоб не валялась вровень с книжками,
Чтоб и подумать-то — ни-ни

Неметь вот так в кровище собственной,
На рельсы скашивая глаз.
Залей брильянтовым, особенным,
Дай белый пластырь про запас,

Весну-зелёнку, будто в азбуке,
И ангельских одежд снега —
На взлёт, на память и за пазуху,
На друга-недруга-врага.

Какая чушь читать Каренину,
Какая прелесть и беда.
И как живой в стихотворении
Лежать не буду никогда.

Сшибай меня указом бедственным,
Фантомом-поездом дави —
Я буду жить всегда посредственно —
Посредством воли и любви,

Влекума самым нерасказанным,
Что ощущается едва,
Как запах музыки под вязами,
Вчерашней музыки под вязами,
Где струны-рельсы петь обязаны,
Где мы отвязаны, повязаны,
И гитарист забыл слова.

До снега, до маленькой смерти, до новой луны — сидела в углу в монастырских глубоких потёмках, смотрю — человек челноком от стены до стены, монахиня в чёрном — и кошку ведёт на тесёмке. Вернее, весёлая тварь выступает вперёд, белеет бочком, золотыми играет глазами — и тенью за нею вечерняя птица плывёт, монахиня в чёрном, ей хочется к Богу и к маме, так долго, так сладко, что

Серёжа-сантехник, старьёвщик, сапожник Серёжа...
Ты, мать, в телефон-то «Сапог» запиши аль «Баян»...
Ремёсла разнятся, а так что ни рожа — Сирожа,
Да руки... ага, золотые, с землёй по краям,
По ногтю с каймою — метро, говоришь, сексуалы,
Ну да, за сто первым не видели сроду метра,
Берите, сударыня, сносу не будет — нет, налом,
Наличкой, да ланно, не пьян, ну чуток со вчера.

Усмешка, амбре. Шаг назад, дорогие москвички.
У нас за сто первым км что ни Серый — то волк.
Ухватит — так за сердце... Тьфу ты, сказал же — наличкой,
Наличники, кстати, киоты — вы знаете толк?
На днях откопал, из деревни привёз чудов-юдов,
Держите, да правда задаром, отмоешь сама,
На чашке-то скол, не возьмёшь — обижаться не буду,
У нас всё одно впереди — то тюрьма, то зима,
Завьюжная тишь или ядерной ярость жар-птицы,
Она же на всех — успевай надышаться травой,
Чайку на дорожку? А глазом-то синим струится,
Он Сергей, он лес, ничегошеньки он не боится,
Он колокол грозный, он волчий полуночный вой.

А я свечку зажгу голубую,
Пусть горит голубая свеча.
Чечевицу тебе наколдую,
У вечерней плиты хлопоча.

Режу лук, и весёлые слёзы
Застилают очки изнутри.
А в окошке танцуют берёзы —
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три...

Это сумерки, это сумей-ка
Уложиться в мои полчаса.

На столе огневидная змейка,
Голубая под ней полоса.

Это ужас нетленного лета,
Это ужин, которому стыть,
И молитвенный сон Филарета,
Обретённый нестрах и нестыд.

Чечевицу-то можно без хлеба,
Можно — слово твоё обо мне.
Я люблю тебя, ибо нелепо,
Как берёзы танцуют в окне.

Ну сколько можно о погоде.
Зима-весна-опять зима.
Сегодня хмарь на небосводе,
Вчера качались терема.

Мы никуда с тобой не ходим,
Но неминуемо летим.
И буковки построчно водим,
И чай на кухне кипятим.

А в окнах — Брейгель неизменный,
В душе — наверное, Шагал.
Ещё бы рубль неразменный,
Но рубль в щёлочку упал.

Как падают под снег, под плети,
В забвенье топкое идут,
Как бывшие родные дети
Молчат, скрываются и врут.

А что пройдёт — то будет мило.
В гробу видала милость ту.
Иди, я свежий заварила.
И о погоде — в темноту,

В полночь, в лепет — святы́й Боже,
По чёткам — трижды пятьдесят.
Скажи, зачем у нас в прихожей
Часы вокзальные висят?

Господи, ну зачем ты сюда идёшь?
Солнечный ослик чётко шагает прямо,
Как заведённый. Брось же его — и в дождь,
Долгой дорогой к морю, туда, где мама
Лодку тебе укрыла под сенью ив,
Ветер заговорила, чтоб был попутным —
Что тебе до осанн оголтелых их,
Что тебе до восторгов, не знаешь будто:
Через всего-то годиков тридцать семь
Город святой спечётся сплошной коростой.
Господи, мы же звери, уйди совсем —
По морю, морем, небом, Тебе же просто!
Нынче осанна — завтра распни-распни.
Хлеба и зрелищ, да посытней-покруче.
Вот он стеной белеет — так поверни,
Мир обречённых тщетно Тебе поручен,
Землю не уберечь от её могил,
Воздух — от вопля, воды — от смертных Курсков.
Ливнем уйди по крышам, впитайся в ил,
Облаком стань до срока для тех, кто в курсе.

Господи, не могу я Тебя встречать.
В спину смотрю и миро травлю слезами.
Солнечный ослик — лодочку раскачать,
Посланную за нами.

В синих зарослях длится и длится
Белых камешков ясная нить.
Я живу, чтоб за сына молиться.
Я живу, чтобы мужа любить.

И зачем мне подножная тропка,
Если можно иначе — летя?
Я забуду, где тонко и топко.
Я узнаю Тебя, как дитя.

И, об этих двоих иноходцах
Продолжая мелодию лить,
Разгляжу, как струится и рвётся —
И петлёю свивается нить

По-над пропастью жизни змеиной.
Только бы не споткнулись они!..
Но бегу, и веселье — лавиной.
И подножные светят огни.

А день рожденья как по нотам.
Сверкают розы-огоньки.
Была стремительным пилотом —
Крыла нежны, слова легки.

Мне птицы радостные пели.
Жасмины пышные цвели.
Меня в июньской колыбели
Цветные ветры оплели.

Нам ночью небо розовело
Над озером, ты мёрз слегка,
А я не чувствовала тела,
Была оскоминой цветка,

Сурепки терпкой и летучей.
А впереди — и пир, и сон,
Шопен — и ты, мой самый лучший
И дирижёр, и камертон.

Смотри — присела на балконе.
Андроидный запомнит глаз

На драном стуле, как на троне,
Меня и в профиль, и анфас.

А после — взор в окладе строгом
И монастырские врата.
А после — взмах уральским роком
И юность с чистого листа.

...Июнь. И чёрный, и проклятый.
Гореть тебе, июнь, в аду.
Как я пойду к военкомату?
Как я вообще туда дойду?

«Донской табак» привычной дозой
И соловей как заводной.
Но эти огненные розы.
И сын как сон. И Бог со мной.

9 июня 2024 г.

В Москве узбеки. В небе самолёты.
На сломе кедра — долгая слеза.
Прости-прощай, невидимая рота,
Мальчишеских мечтаний бирюза.

Смола сорвётся завтра на рассвете.
Окно в дому — и ладно, что в дому.
В большой ладони камушки, как дети.
Не отдавай нас, Боже, никому.

Какие были мы хорошие!
Ведь мы же думали всегда
Смотреть болгарскими Алёшами
На голубые города.

Скорее вырасти хотели мы,
На Марсе яблони сажать,
Но прилетели свиристеями
На час, в мороз под сорок пять.

Так «Нараяму» мы не поняли
(Смотреть ходили в десять лет):
Зачем в таинственной Японии
Не налепить на всех котлет?

Зачем сейчас в глухой контузии
Алёши стонут и хрипят?
А птенчики летят по Грузиям,
И по Армениям летят.

Они отбелены до просини,
Они великого ума.
Они сосчитаны по осени —
Но нынче, Лёшенька, зима.

Зачем гора такая медная
И эта медленная жуть,
И эта подлость неприметная —
Кимвал, звенящий как-нибудь?

Зачем стоишь, навеки брошенный,
На Нараяме командор?
На Марсе, снегом припорошенном.
И тот же дом.
И тот же двор.

И понимаешь: никого и нет.
Ни мамы нет, ни мужа, ни ребёнка.
Никто меня не знает на просвет,
Не вычленит прощальную воронку.

И только лик в окладе, только лик.
И падаешь в него дождём солёным —

Калека, дрянь, коллекция улик,
Клеймёная и миром, и законом.

Где соль моя? Услышь меня, услышь!
Ни жалости хочу, ни соучастья.
Я чуткая, как полевая мышь,
И ушлая, как денежка на счастье.

Услышь мои горючие дожди!
В осенний свет бензиновые лужи
Пересуши, в ладонь мою клади
Моления о сыне и о муже,

О матери, о каменной стене —
О памяти о первородной пене...
И яблоко, мочёное в войне
Черница-ночь роняет на ступени.

В те дни, когда ты любишь спать
И засыпаешь не одна,
Ему — казённая кровать,
Ему — война, война, война.

В те дни, когда ты любишь петь
И тихо веником шуршать,
Ему — терпеть, терпеть, терпеть,
Не забывая, как дышать.

А может — всё наоборот:
Вся боль его — твоя лишь боль,
А он-то в лодочке плывёт
И замирает над тобой,

Чтоб ты спала, чтоб ты мела,
И пела, и чего ещё...
Чтоб ты была, была, была
Под засекреченным плащом.

Твой личный ангел в вышине
В стрижиной радости погон.
«Мам, смерть — на нашей стороне,
Она со мной, я вышел вон

Туда — гляди, какая тишь.
Храни тебя надмирный свет».
И ты глядишь, глядишь, глядишь —
Не зная, спишь ты или нет.

Фауна

Снова включаешь умное
о ядерной о войне.
Режу чеснок — и думаю:
это же обо мне.

Это о нас — ну надо же!
Надо из дому вон —
под предзакатный радужный
радостный перезвон.

Не чесноком, а розами
благоухать — лететь,
между большими грозами
главное рассмотреть!

Вижу — планета плоская.
По небу — три кита.
Речка — кривой полоскою.
Голуби у моста.

Я вон тому, пятнистому,
столько наговорю!
Муркает близко-близко мне —
я его рассмотрю,

я его, франта-фраера,
пёрышки — белый фрак,

щёлк — и уже отправила
в инопланетный мрак.

С круглой земли встревоженной
снимок в ответ придёт:
«Он в камуфляже тоже, мам, —
гвардии суперкот».

Стрункой замру космической
все-то глаза волью
в этот этюд лирический,
дырочку проклюю.

Ах вы, коты да голуби,
летняя воркотня,
что за дурные головы
гонят во тьму меня!

Как там оно разрулится,
веруй, молись и жди.
...Как хорошо на улице!
Фоточки вот гляди.

Тополя стремительно желтеют,
Так и рвутся в пропасть сентября.
Жизнь моя — прекрасная затея,
Несмотря на... В общем — не смотря.

Откровенен, охристо-узорчат
Короткометражный боевик.
От кровей ли, кровель — только зорче
Различаешь неба каждый миг,

Каждый вдох в желтеющем просвете —
Ветер, ветви, вечность, веера
Вечеров, где жили мы как дети
Вот недавно, вот позавчера.

Не смотри. Кругом одна чужбина.
Странники не ведают гнезда.
А в окне — кровавая рябина.
Вот о ней не буду никогда.

Шарлотка

У нас случился яблочный пирог —
Такой, как любит сын, и запах тот же.
Как будто раз — и Сашка на порог,
Монах, герой, скрипач, весёлый Роджер...

Мы это с ним на кухне перетрём.
Вот — рот займи, потом все разговоры!
Ведь вкусно? Да, мы вовсе не умрём.
Да, можно в монастырь, а можно — в горы.

Ты ешь, сынок, тебе же и пекла.
А чай с травой. А Летов что-то понял.
А мир сожрёт безумная пчела,
Размажет в мёд Австралий и Японий
Границы, языки, разрезы глаз —
Всё в мёд, в бензин, в гущёнку, в биомассу...
Ты ешь, Санёк. У нас медовый Спас.
И яблочный, и всё-то мимо кассы —
В огромную дырявую суму
На долгую молочную дорогу.
Ты не голодный, что ли? Не пойму.
Да, можно в лес. А можно сразу к Богу.

Пурга твоя и смыслов, и словес,
Кудрей твоих роскошество лихое —
Мой символ веры, вектор и отвес,
Отметина и точка непокоя.
Обритым, в камуфляже, со стены —
И с автоматом — твёрдо смотришь с фотки.

Молчишь. Молчу. Лишь запахи слышны.
То матери сынам колдуют сны:

Из довоенной яблочной страны
О здравии солдат пекут «Шарлотки».

Живой

Тихо-тихо, тонко-тонко
Я всё время жду ребёнка.
На плите согрелась каша.
Не сходи с ума, Наташа.
Нет воды и отопленья —
Это всё для вразумленья.
Где ты, где ты, где ты, где ты?..
Без тебя промчалось лето,
Кануло в анабиозе,
Как жемчужина в навозе,
Проскрипело спицей ржавой,
Окровавленной державой.

Я всё время жду ребёнка
Не строкой, не похоронкой.
И с утра опять статейка
Не за грош, не за копейку —
За большую шоколадку:
Он вернётся. Будет сладко.
Но с утра опять портреты
Убиенных этим летом.
И вчерашние, вот эти —
В интернете. Дети. Дети.

Боже, чудо сотвори,
Матерей уговори
Кашу есть по ложечке
За сына Серёжечку,
Супчик по горошинке
За сына Алёшеньку,
Кофе по глоточку
За сына Санёчка.
Если ждёшь ребёнка —
Надо есть, сестрёнка.

Он вернётся за тобой:
Здравствуй, мама! Я живой.

Кошка-скрипка

— Знаешь, сына, хорошо не будет.
Как угодно — но не хорошо.
Нас ещё осудят-пересудят,
Назовут и зомби, и лапшой.

Справа — камни, слева — канонада.
Примус починяй и не сопи.
Зверь облезлый — вот тебе отрада.
После смены накорми и спи.

— Знаешь, мама, хорошо не надо.
Выживать — пошлейшая юдоль.
В облаке вселенского распада
Нас хранит единственная боль.

Примус не в чести — в окопах свечи:
Банки от горошка, парафин.
По лучу уйти в страну далече —
Хоть сейчас, но я же не один.

Кошка-скрипка. Сорванные связки.
Помирала в нынешнем аду.
Вместе нам досталось под завязку,
Вместе с нею к Господу приду.

Мой зверёк прожорливый и нежный
Скажет «Скрип!»— живая, погляди!
В новом небе, в небе белоснежном,
Где сплошное лето впереди.

— Ну кого ты опять спасаешь в кромешной ржи?
Кто тебя поставил ловить дураков и пчелок?
Колосится ложь. Ты в небо гляди, лежи,
Слушай птиц возню да пенье слепых девчонок!

— Я гляжу оттуда, я высвистел эту боль.
Над моей землёй — почтенное черноптичье.
У меня пятьсот паролей к душе любой,
Но душа верна отмычке, то ржет, то хнычет.

У меня стрекозы стайкою над ручьем.
У меня хрусталь в ладонях, а в нем — подснежник.
У меня закат вручную и в пять подъем,
Потому что с ними нужно предельно нежно.

Потому что селфи, бабочки-мотыльки,
В телефон обои, гляди-ка, прикольный профиль...
Потому безбожно счастливы дураки,
Потому я зверь-омега и альфа-профи.

Я гляжу на их цветочную шебутню,
Васильки всегда синее у края бездны.
Подхватчу, укрою, не брошу, не уроню.
А когда всё поле вспыхнет к святому дню —
Вот тогда домой, свободен, я не железный.

Снегу в чёрном течении равен,
Солнцу в синем свечении рад,
Чуешь песню полей и окраин,
И она тебя чувствует, камрад.

Это гимны невидимых соков —
Стали гибкими ветви на вид,
Накрывают легко и жестоко —
Ужасайся весне, индивид!

Всё известно, измерено, было,
Но сирена сквозь галочий гвалт —
Если нас до сих пор не скосило,
Не придумывай, кто виноват.

Доставай телогрейку из ниши
И резиновых пару сапог.
Выше, выше, безудержно выше
Будет лето без наших тревог.

Ни дурмящих снов Одиссея,
Ни военных сирен над тобой.
Отражается в луже Рассея —
Чистый шёлк, голубой, голубой.

Узнать, что балерины курят,
Что мама делала аборт —
Страшней, чем шёлковые кудри
Спалить на свечке без забот,
Остаться без коня и крова,
До дна кредитку обнулить,
Вернуться с моря без улова —
С одним желанием свалить.

Бери шинель, пошли отсюда.
Здесь всей-то святости — война.
Черны кресты, пьяны Иуды,
А ты не понял ни хрена,
Когда слагал приветы небу
И чтил божественный балет,
В нечеловеческую небыль
Себе оплачивал билет.

Очнуться целой под прицелом,
Ладонью погасить свечу
И мёртвым снегом — белым, белым! —
Живых оплакивать хочу,
Стать санитаркой-звать-Наташкой,

Я распашонка — не шинель.
От чёрных птиц до рукопашной
Раскину снежную постель.
В седьмом поту, в шестой палате
Тебя настигну — и уйду,
Как вертолёт на перехвате
И как черёмуха в меду.

Шагаю, ложкой снег мешая.
Я — ночь тиха, и я сильна.
На ёлке призывком трамвая
Звенят иные времена,
Где папа с севера приедет
И самый сладкий новый год
Закружит с грацией медведя,
И мама песенку споёт.

Наталья РАЗУВАКИНА

Поэт и журналист. Родилась в Хабаровске, долгое время жила на Урале, затем в Переславле-Залесском. Работала в различных СМИ. Стихи публиковались в литературных журналах «Новый мир», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Плавучий мост», «Кольцо А», «Дальний Восток», «Урал» и др. В 2018 г. стала победителем в международном конкурсе русскоязычной поэзии «45 калибр». Автор книг «Быстрая Синева» (М., Арт Хаус Медиа, 2020), «Дикороссия» (М., Свободный писатель, 2021) и «Если б я знала» (М., Русский Гулливер, 2023). Живет в Санкт-Петербурге.

Константин Кравцов

Московская обл.



Перед Пасхой

Ты завершаешь земную природу
зябью излучин под рваным навесом
ив на ветру, вымерзающим лесом:
выйдя из вод, он уходит под воду
и проступает морозным замесом
слабых лучей, как орнамент по своду,
порослью солнца течет сквозь ресницы,
в строки рядится и просится в оду.

Бродят лучи вокруг Твоей плащаницы,
снег по ночному летит переходу.
Все прояснилось к концу. Прояснится.
На четвертинку подашь нищebroду
и заиграют по стенам зарницы.

Ты завершаешь земную природу
мертвой дорогой в краю бессловесном,
грузится нищенский скарб на подводу,
но в третий день, обещал Ты, воскресну,

и до сих пор еще нет переводу
тем, кто уверовал, даром, что длится
ночь век за веком, тасуя колоду
тех же мастей, разве что колесницы
к нашему чуть поменялись исходу.

Лилии спят вокруг Твоей плащаницы,
лампы белеют как талые птицы,
снег по ночному летит переходу
и проступает орнамент по своду
к Пасхе отмытому: просеки, лица...

У гроба

Петр к себе возвратился, ушел Иоанн,
Ну а ты все стоишь, все плывет наугад
Аромат бесполезный сквозь месяц нисан.

Ты во взломанный склеп привела с собой сад,
Беззаконный, сырой, охраняемый лишь
Светляками под гвалт неумолчный цикад,
И созвездья блещут над уступами крыш
По-над известью ям меж прогорклых ветвей,
И пылают жаровни у храмовых врат.

Из пустыни заносит пыльцу суховей
И твердит тебе кто-то: — Все тлен и распад,
Возвращайся домой к прялке, что ли, своей,
Как они к своим лодкам: учитель распят,
В выгребной, значит, яме теперь он, как те,
Бедолаги, Мария. Все падаль и смрад.
Так живи, как жила, в суете, срамоте.
Все тщета и обман. Никому не жена,
Не сестра и не мать, что ты, шлюха, стоишь,
Что ты, дурочка, ищешь? Какого рожна?

Мельтешит над дорожкой летучая мышь,
Оловянного вербы полны молока,
Звездных воинств полки над уступами крыш,

И, как слезы, бегут за строкою строка,
И сочится рассвет сквозь загробную тишь.

Шары над Переславлем-Залесским

Воздухоплаванье над Горицким, Никитским,
Никольским, Соколиною горой
и наяву ли это или снится,
не разберёт лирический герой,
но что-то от Ривьеры здесь, от Ниццы,
игры Господней с вечной детворой.

Снуют стрижи. Полны уловом сети.
Странноприимен свет могильных ям
и в трапезной, в скудельном этом свете,
бродячий люд расселся по скамьям.

Вот в свежих розах свежая могила
и год как опечатанная дверь.
— Такие деньги, Господи помилуй,
крутились здесь, что вряд ли кто теперь
концы найдёт. Кадило да кропило —
вот наш удел. А следствию не верь.
И что бы с нами ни происходило...

В замшелой вязи плиты, валуны —
надгробья без крестов. Но Даниила
святые мощи в храм возвращены
и всё плывут шары цветные эти
по-над *раздольным царством сатаны*,
заманивая нас куда-то в нети,
и на необитаемой планете
всё снятся нам несбыточные сны.

Делирий

*The shadowy flowers of Orcus
Remember Thee.*

Ezra Pound

А где лирика — там и делирий:
теневидные заросли лилий,
лампы, ампулы, ил и берилл —
узы мрака, в котором пребудем,
но не слишком-то верь этим людям:
не отнимется, что возлюбил.

Вран на нырище, выпь на болоте,
ты в пролёте, а кто не в пролёте?
Всяк, как сказано, ложь. Но не лгут
облака над речушкою вскрытой
и на кухоньке, солнцем размытой,
только ль пьяные слёзы бегут?

Сквозь Дантовы круги

Прожектор над казармой, чёрный снег,
роящийся в луче его бессонном
во времени ином — не том, а оном,
где сгинул, разрушаясь, человек,
рассыпался по гаснущим зонам.

Лишь этот снег сквозь Дантовы круги,
подвалы, полигоны, коридоры.
Есть кто живой? Не медли же — беги
в ещё неоцифрованные горы,
где ни ночного виденья приборы,
ни спутники не высмотрят ни зги.

Прогулки с Георгием Ивановым

1

Вот выползаю, как зверь, из берлоги я...

Минюя Опера и синагогу,
купая в звёздах старое пальто,
выходишь на кремнистую дорогу,
не видя ни прохожих, ни авто
в сиянии голубом, и понемногу
осознаёшь... Россия? Что, ей-богу,
нам горевать о том, чего уж сто,
сто лет как нет? Вползай в свою берлогу
и дно обзеревай, как Жак Кусто.

2

Снились вам, в сущности, сны золотые...

Всё, что намыли мы, всё, что утратили,
сны до конца досмотрев золотые,
горе-сновидцы и горе-старатели,
тщательно ставя, как встарь, запятые...

Родина? Дым из трубы крематория
в храме закрытом. И зрелище то ещё —
вся, прости Господи, *наша история...*

Впрочем, подробности здешнего гноища
золотоносными водами вешними,
чёрными водами, протуберанцами
что-то смывает со всеми скворечнями,
плясками смерти и прочими танцами.

3

И Россия как белая лира...

Забей, не гоношись, не реагируй
на фазы разложения никак —
что мертвецу до города и мира?

Вот на столе и розы, и коньяк,
вот луч с лучом — с рапирою рапира —
сошлись, и губы сблизились, и сирю
горит ночник, хоть свет давно иссяк.

Она не федерация, а лира,
судьба и снег, земля и Зодиак.

Они, конечно, правы...

Они, конечно, правы, клерикалы:
нам оправдания нет, как ни крути,
но неисповедимы и пути,
что вдребезги разносят все лекала.

Так *музыка, сводящая с ума,*
закручивает нас в свою лавину,
а ты — и жизнь, и музыка сама,
и как тебя такую я покину?

Inferno

*По прихоти им вымышленных крил...
Баратынский*

Нет ничего, что б ты не осквернил.
И что в сухом остатке? Про запас
не взять туда нам вымышленных крил
и здесь не скрыться, где бы ни парил,
от этих талых, льдистых этих глаз.

Вот Антарктиды вздыбленный берилл,
верхом на козероге — козодой,
вот брачный твой чертог, его стропил
обломки над крикливою водой
и год как не забыться, не уснуть.

Вот ад. И, коченея вне времен,
он вечность лицезрит, вникая в суть,
сам на заре творенья сотворен.

Все движется любовью, ей одной.

И, словно разбежавшаяся ртуть,
блестит Дорога Мертвых — Птичий Путь —
и весь в гирляндах мост перекидной.

Стрела, летящая во дни...

Стрела, летящая во дни,
вещь, переходящая во тьме, и
сама та тьма, ее затеи...

Одни, мы были не одни:
к воронке той вся нежить ада
сползлась на зрелище распада.

В той тьме я пил твои огни,
торжествовали василиски
и открывали нам, как близко
к погибшим Сущий искони.

Волчьи изумруды

*Снегири взлетают красногруды...
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.*

Павел Васильев.

Лубянка, внутренняя тюрьма, февраль, 1937

— А ну вставай, соколики, пора!
На пять минут работы в гараже
и грузовик вывозит со двора
соколиков, лежащих неглиже,

но нет тебе покоя, кобура,
и сохнет на террасе бланманже —
опять ведут! Отложено лото:
аншлаг сегодня в цирке шапито.

— По мне так, что подвал, что полигон —
работа как работа. Но жена!
Льёшь литрами, считай, одеколон,
а толку? Знать, совсем повреждена
умом-то голубица, твою мать:
мол, пахнешь кровью, как с тобою спать?
И что теперь? Опять залить шары?
— Ты вот чего: давай-ка без хандры,
и вообще язык попридержи.
Подвалы, полигоны, гаражи —
кровавых понасмотришься соплей,
мозгов ли там, но, что ни говори,
жить стало лучше, стало веселей
работать от зари и до зари.

А что по всей столице эта гарь...
Я говорю: дрожащая ты тварь,
спалишь ли, нет каракули свои —
подпишешь всё, как миленький, а там
удобришь сам культурные слои,
свезут ли на Донской к истопникам,
в Надыме ли, в Нарыме ли каком
потрудишься и сам истопником.

Ну, вздрогнем. Балычок из осетра,
икорка, коньячок, et cetera —
всё честь по чести. Брось ты. Всё мура.
Как говорят в Париже, се ля ви.
Но Запад — Запад сгнил, а соловьи
и в Бутово поют. И что Париж?
И там достанем. Чует, говоришь?
Привыкнет. Да и мало, что ли, баб?
Вот я до балерин, к примеру, слаб —
как всесоюзный староста, ага.
Враг не сдаётся, сука, и врага

уничтожают, так ей и скажи.
Передовицу курве покажи.

Вот, полюбуйся: сын донёс на мать,
мол, тащит из колхоза — вот пример
всем детям, вот что значит пионер!
Её — в расход, сыночку — исполать.
А как социализм без этих мер
построишь? То-то! Бабы — что с них взять?
А Запад, знаешь сам: СССР
им в горле кость. Но есть НКВД,
великий кормчий есть. А кто и где,
скажи-ка мне, кто дров не наломал?
Всё правильно. Плесни еще мал-мал.

.....

Игарка, Салехард ли, Воркута...
Взлетают, красногруды, снегири,
но, может, и они, как мерзлота, —
фата-моргана? Глазоньки протри,
покуда ты в своём ещё уме —
мерцающем и зыбком, но своём,
пусть не совсем, не всё же не во тьме —
той полной тьме, в какой и познаём,
что значит свет, что ты, милок, уже
одной ногой в том самом гараже.

.....

По стынущей Оби текли огни
и намекали: дуру не гони,
наймись в оленеводы, рыбаки,
в охотники подайся, в батраки,
шабашники — тебе же не в первой
и хрен бы с нею, красною Москвой.

Всего-то год и, смотришь, кровоток
идёт на убыль, там, глядишь, война
всё спит, мать родна, с говоруна,
сдерут с тебя, паршивца, шерсти клок
оставив шкуру — зиму продержись

хотя бы зиму! Обь или Амур —
какая-никакая, всюду жизнь,
а там, в Москве, как тебе, каюр.

Здесь только карандашик послуни,
текут стихи, а там не карандаш —
хребет тебе, продашь ли, не продашь
ты всех и вся, колись ли, не колись...
Сначала ты — размазанная слизь,
а уж потом — зола. Пустись в бега —
солончаки ли, тундра ли, тайга...

Там кровь, как ни бели её с утра,
час от часу становится видней
подследственным: тому — на севера
ну, а тебе — тебе в страну теней.
Ты просто невостребованный прах,
орёл степной, листвы ненужный ком:
сгребли тебя — забудь о северах:
подвал и крематорий на Донском.
Исчезни! Что ты лезешь на рожон,
в правах давно, погромщик, поражён?
Поправишь в парикмахерской вихры,
выходишь на Арбат, а там авто,
и Ваньку не валяй — за что, за что?

Так лишнего выводят из игры,
сочится кровохлёбкой решето,
и я, и он, и этот конь в пальто —
все чьи-то мы наймиты для Кремля
и логика тут есть: кто ты, кто я?
А враг не спит — повсюду он внедрён,
он в каждом — враг! И хлещет кровоток,
и рукоплещет зал, приговорён,
и никакой урок не будет впрок:
распалась триста лет как связь времён
и не связать концов её, браток.

.....

Тебе уж двадцать семь, а невдомёк,
что прах ты, невостребованный прах.
Ткнет в зенки папиросной куманёк
и золотарник золотом потёк
на рваную рубаху в петухах,
— Охрана! Выносите гусяра.

Овчинка стоит выделки? Игра
окупит свечи? Гол ты, как сокол,
раздавленный кузнечик-богомол,
седой, как лунь, таращишься во мрак,
и, по ветру развеянный подзол,
роняет лепестки югорский мак,
и мрак, поди, не худшее из зол.

Обол Харону — сталинский пятак —
паромщику косматому обол,
а, может быть, посмотрит — и за так,
как сам ты гнал плоты через Тобол.

— Кончаешь этих — новые стоят.
Какой, к чертям собачьим, файв-о-клок!
И крестится какой-то пустосвят.

Преследует голубку голубок,
грузовики уходят со двора
и оттого, должно быть, что жара
недолг сон, неровен, неглубок.

Левкои

Памяти Николая Клюева

Проступит даль забеленною кровью —
занявшиеся жатвой небеса,
небесных птиц и рыб морских становья
и пёрышко жар-птицы на весах.

Там для рубах небесного покроя
впотьмах исходит нитями зерно,
и снег ли там скрипнет, веретено,
но посмотри, всё белое какое!

Расстрел в затылок, как заведено,
и в избыном раю твоём левкой
впрядает солнце в мёрзлое рядно.

Дорога на старый Надым

*За городом вырос пустынный квартал...
Блок*

Там шпалы облаками затекли
и нет границы неба и земли —
одна лишь пустошь ягельного сна,
и из пустого всё не перельёт
в порожнее обдорская луна
ни дыма, ни курящегося льна,
там длящийся столетье перелёт,
за нитью нить слоющийся, как бинт,
выуживает нас из мёрзлых ям,
в воздушный увлекает лабиринт,
оставив на помин лицейский ямб.

Чертог Твой вижу, Спасе, Твой ковчег:
в нём нары на крови, на нарах снег,
сквозь рванный свод сочится мерзлота
и кверху дном несёт Генисарет
лодчонку, чья коробочка пуста.

На том пути, на ветке, где нас нет,
спит мёртвый, весь в телегах, Вифлеем,
слепой, как крот, Гомер, и глух, и нем,
ест голову свою, и полон рот
кривой воды, и крутится фокстрот
по всей Москве, не верящей слезам,
где храм стоял — там лыбится сезам

нарядного, с иголки, метро
но мёд, мешаясь с кровью, по усам
течёт, и всюду липко и мокро,
мочала на колу и там и сям
плывут по всем излучинам, осям
сквозь требуху сияет рыбий жир
и звёздный осыпается инжир,
подпрыгивая градом — скок-поскок! —
и пуля-дура, если не в висок,
летит тебе в затылок, пассажир.

Что ты забыл там? Пей томатный сок,
иди сторонкой, дождь, идущий вкось!
Здесь никого. Лишь лиственницы скрип
над быстриной, с обрыва. Или ось
скрипит земная? Что это за тип
там шастает? Олень, должно быть? Лось?

Осётр и банка с паюсной икрой —
зачем тебе художества сии
в столовой раскуроченной? На кой
нам ворошить культурные слои,
с немых печурок снег сбивать клюкой
и вышку на поехавших столбах
разглядывать сквозь пихты день-деньской?
Все умерли. И мусор на столах.

Мосты и рельсы — что тебе до них,
висящих сикось-накось на соплях,
как чей-то кровью вымаранный стих,
разбитый позвоночник, млечный шлях?

Кукушкин лён, растущий абы как,
не разобрав, луна там или зрак
прожектора, овраг там или ров,
не Бога видит в небе, а барак,
июньской тундры жиденский покров.

Где косы, солнце, малый тот цветок
и тучки те жемчужные, старик?

Сознания угасающий поток
сковало льдом, уже ни всхлип, ни вскрик
не донесётся — канул в краснотал,
по льду растёкшись кровью, тот квартал,
распался с воем псов сторожевых
в пространствах бесконвойных, неживых,
и зная, что бессмысленны слова,
седой слепец — Гомер или Ямал —
безмолвствует, полярная сова.

Чертог Твой вижу, Спасе, Твой ковчег,
в нём нары на крови, но этот снег
и синяя оленья немота
весны в июне, лиственница та,
движение неусыпное светил...

Занявшийся сияньем пережной,
себя я в этой бездне разместил,
прозяб, как виноградник Твой больной,
и видел сны, и снег со дна могил
ещё блестит под северной луной.

Оператор видеонаблюдения

Стылый май под знаком Zorro,
снег заносит корпуса
бывшей фабрики, но скоро
утро, ты, моя краса.

Вспышка слева, вспышка справа
и видны от А до Я
строки красные и главы
Бытия ли, забытья.

А изящная словесность —
кто я, собственно, такой,
чтоб вписаться в эту местность?
И зачем она? На кой
перед светопреставленьем?

Вот я в будочке сижу.
На твои, даст Бог, колени
буйну голову сложу.

Просто лето

Где-то бойня, ну а где-то
просто лето, просто лето:
плавно, медленно, лениво,
в чём-то даже и вальяжно
пух струится тополиный,
льётся меж пятиэтажек.

Рвать ли связки горловые
ради песни бесполезной?
Маков цвет разрыв-травы и
пух, кружащийся над бездной.

Око бури

Колокольным путём
никому не известным
мы уйдём, как умрём
в Переславле-Залесском.

Око бури. И в нём,
в эпицентре распада, —
водоём-окоём,
звоны Китежа-града.

Ни кола, ни двора,
но поют соловьи нам.
Что ж добра от добра?
Знать, к родным палестинам

путь-дорожка лежит,
если Русь, а не Рашу

лицезришь, вечный жид,
Гефсиманскую чашу.

Перед фреской Судного дня

Сквер в крови, свет текучей листвы золотой,
нить за нитью струящийся в почву потир,
обретение здешней реальности в той,
где лишь жертва хваления, милость и мир.

Мир, лежащий во зле, переходит в иной,
превращает ноябрь листопад в листогной,
и уснул, не прикрыв срамоты своей, Ной,
мертвецы восстают и приходят на Суд.

Всё известно давно и забыто давно.
Листогной на дворе, время бедствий и смут,
поручился Спаситель за грешника, но...

Посмотри, не пустившее корня зерно:
колорит, композиция — всё учтено,
а помогут, спасут ли стихи, не спасут,
Город Агнца нас ждёт или адово дно...

Почва, глина, а после — скудельный сосуд;
распадается чаша — сохранно вино.

Ольга Иванова

Москва



ЦЕНТОН

всё, что сбыться могло —
наповал убивало,
но и это прошло,
словно и не бывало

жизнь лупила в табло
и шаблоны ломала,
но горела — светло...
инвалиды, алло! —
разве этого мало?..

НАРОДНОЕ

во статусе-кво, в катмандэ мирозданья,
в узде Командора, в байде спецзаданья,
ужё — пациентка [в душе — поэтесса],
положим, дантиста [отложим — дантеса],

в палате юдоли [за срок — нисказале],
в её баснословном условном вокзале —
юны́, невзирая на раны, седины,
судьбою-даны́ и с-тобою-едины́,

в надежде на чудо толпяся у кассы,
народные [и инородные] массы...

18.01.25

ЭКСПРОМТ на Татьянин день

моим подругам Тане Миловой и Тане Лемешевой

онегин, я скрывать не стану:
душа моя обожжена...
но днесь [вангúя за татьяну]
она иному отданá,

разя великоросской мóвой
её нервирующих муль,
раневской некою сверхновой,
стрезвá — вполне себе нормуль,

с сердешной раной [небольшою,
занé — ни сердцу, ни уму],
но спьяну —
русская душою
[сама не зная — почему]

25.01.25

АЛАВЕРДЫ

поэту Володе Гладких

минуя хороводы и вордý,
вот и тебе — моё алавердý
[из — крашше нету — рта, не из вирты́]

за то, что *видишь* [а не *говоришь*,
что видишь] и хернёю не горишь —
допотрошить поверженный париж

за то, что *был*, когда [в лямурной тле]
кипела в мифотворческом котле —
но, *как она*, не сгнула в петлё

когда случалась подлинная жесьь,
за веточку оливковую — весть...
за то, что был, вернее — *был и есть*

ну, а ещё за то, что — Ученик
[намедни, как из воздуха, возник],
отныне — брат и друг [не только ник]

*по теме ж маяка — грести куды
[и хлебанув эдгаровой воды] —
отдельное тебе алаверды

К ДУШЕ

поэту Марине Марьяшиной

стоя, лёжа ли, с колена ли —
полюбэ не сдобровать
где не звали да не стренули —
лучче вовсе не встравать:

безысходен без исходника
[пусть и ныне *ночьнежна*]
квест «охота на охотника»,
ясноокая княжна...

* * *

итоги гóда? — право, нивапрос! —
пневмофибрóз [в итоге — пневмотóракс],
а децкий вброс [с миллионом-алых-рос]
давным-давно густым бытьём порос...
однако *пишет* дэвичья контора-с.

нехай и Credo кроецца ведром,
и хата — недвусмысленный клоповник, —
зато в ней есть двуспальный космодром.
и там —
с прибором,
с вынутым ребром —
ну, просто ахуительный любовник!

Из цикла «Самсон»

ЭВРИДИКА — ОРФЕЮ

в груди — пробоина
буза́ — задвинута
[не зря ж тобой она
из ада вынута]

взывать возвышенно
в тотемной темени
[сызмлада выжжено
клеймо на темени]

харэ о бремени,
колебля тину нам...
в пространства-времени
фантом/континуум

2 зимних месяца
едва ль уместяцца
[пурга тупа́ така —
нуга да патока...]

и покровители
[с-под спуда, свыше ли]
не зря ж увидели
не зря услышали...

суля избранники
декабрьски пряники
да в январе кнуты́
себя, как рекруты́

тащца канвы протів
[хрящцы повыкрутив]
во урагана мглы́, —
любви ангелы

[в огонь облечённые,
неизреченные]
нутро не фрэзами —
СЛОВАМИ взрезали

КОНТАКТ

не лбом уже — в стекло,
в камере одиночной —
витийствуя *СВЕТЛО*
за чаркою полночной,

цедя [нехай и врозь]
отраву полусладку,
всепроникая сквозь
континуума кладку

*за дружбу, аноним! —
приветствием безгрешным
[не стронувшись за ним —
воздушным и нездешным]

телесности тотем
не будет поругаем
[хотя б уже затем,
что сам — *недосягаем*]*

скользя по ряби черт
воздушным поцелуем...

[не так и страшен чёрт
как мы его малюем...]

* * *

дурных будней бесменная планида,
декора неразборчивый бардак
да мерное дыхание Кронида
[пронизывая данности наждак]...

по обе — снеготá, как стекловата
[побудь, не уходи / мгновенье, стой]...
не осуди: сама — витиевата,
как венский стул со спинкою витой...

но лиха не буди: нема резона
в камлании в домú глухонемом
[не стронуться — с шестка, по обе — *зона*,
где мудрено — не тронуться умом],

по-э-зии посвёркивая цацкой
[где по судьбе — оно нибожемой],
эклогу дня шельмуя трелью ацкой,
трубы во ожидании седьмой...

да вот невмочь — без этого надсада
[и этих рифм — уже не потерять,
звучащих из предутренного сада,
утраченного рая посередь]...

как венский вальс — до головокруженья —
стихослуженья клятое сродствó
[да пламя моего самосожженья —
в плену самостоянья твоего].

КОНВЕРТ

когда уже рук — не умыть,
и вран приговор огласил,
и слить эту манкую муть —
нема ни хотений, ни сил,

с радаров уже не уйти,
не сныкаться в нóру хитрó,
и порослью не порастити
во спаме беспамятства, бро,

когда — на колú красоты —
беда — со свободою воль
[засáдка такá] — уж и ты,
пожалуйста, тоже изволь

[бо в кашу уже — удилá,
и некуда ставить печать]
всё то, что гора родила —
вознёю мышиною встречать,

взирая — как скрозь саркофаг —
как [тын киновáря кремля]
ярило восходит, и как
[за флаг нискажу корабля],

нехай и слезою набряк,
нехай, аки мир, и старó —
во греки летят из варяг
по воздуху лифчики чепчики, бро!!

ИСТРЕБИТЕЛЬ

*Да, я иллюзий истребитель,
я мессершмитт пустых идей...*

Пётр Сторожев

я так свет-ло тебя любила
и так лех-ко б тебе дала —
пока судьба не истребила
и на корню не извела,

пока труба седьма судна не будит,
пока не гикнулся дисплей... —
да вот, увы, кина не будит
[по теме воплей и соплей]:

идут, увы, без перебоев
неумолимые часы,
и полюбэ — не до плейбоев
в засаде эндшпиля, не ссы,

когда ни зги уже — по обе
[и одесную и ошуй],
и та, в платкэ, уже во гробе —
не с ней тебе, не кипишуй,

х*рами меряться — а с тою
бесполой порослью, с травой,
с той «безымянной высотой»,
с сюжетной финишной кривой,

с убитой бабою-на-чайник,
с строфой, затёртою до дыр...
ша, умывальников начальник!
гудбай, мочалок командир!

жи-ви [!], заядлый нелюбитель
тебя взыскующих людей ледэй,
иллюзий влажных истребитель
и messerschmitt лихих идей!!

ТЕРЦИНА

*Вон чайка пролетела, и ага...
А моря нет. Откуда ты, пичуга?
Попутала, как видно, берега.*

Владимир Гладких

фанера пролетела, и ага...
положим, далеко не над Парижем
[попутала, как видно, берега]...

субботним вечерком, в закате рыжем,
собою оттенив едва-едва
февральский снег, съезжающий по крышам...

ходи сюда, столичная блядва
[на снег-башка не выделено смайла —
а жаль], гунди — два бэ или не два

в глуши метафизического файла,
потерянного рая посередь
[под триста-тридцать-три ла-ла-ла-лайла]...

не всё же синим пламенем гореть,
вангүя впрок — а надо ли — егдаже
ни строк, ни рук уже не отогреть,

не всё же стыть [рыдая всё туда же]
незваной милосердия сестрой
в ветрами продуваемом блиндаже...

нишкни туда, коль тут сирота,
отколева, нездешняя пичуга,
ты выпала, как бомба из дупла...

егда тесна любовная лачуга —
судьбы терцину с чистого листа
[да рассосётся чур-меня мрачуга]

начни...

*кому по силам — иншалла...

MESSAGE

Сволóчь — уже пылающие — перья под вечности трезвящий ветерок... И терпкою тропой долготерпенья [поверх иных и призрачных дорог] — пойти на крик, состариться [досрочно!] и неподдельно, дó смерти скорбя *уже — не глиной, рушащейся прочно, но — анимой, распятой за тебя*, оплачивая личною голгофой твой каждый том, вз[р]ывающий тотем, кровавым паром в битве bestолковой дыша на вызревающий эдем бессмертия... [провального — в итоге: там далее — не брачный вертоград, но Лоскуты Нерукотворной Тоги, тлетворный склеп, сошествие во ад]...

Или — ожжась о жало лжемессии
[раз ни одной из ран — не оросил],
сойдя с креста — отдать тебя России. —
В оракулы
*хоть это — выше сил.

CREDO

что рабице назло
повылезало за́
цвело-дикоросло
мозолило глаза —
чтоб башню не снесло
корная на корню
а с ним — и ремесло
и прочую херню

стенанием ума
всезнания со дна
[не трогая бельма
тем более — бревна]
буровя белый свет
и над-лежащий свод
без права на ответ
и на самоотвод

ползи себе путём
завязаного зерна
чтоб некогда потом
[в конце того кинá]
как лазером прожгло
герметичку тенет:
и прошлое — прошлó
и будущего — нет

Лене Лапшиной

1.

***и башня — чтоб почувствовать: ты вошь
и пашня — чтоб почувствовать: ты мышь
и бездна — чтоб почувствовать: ты меж
однако же — вживаешься, живёшь,
лиственной инакомыслия шумишь —
да ничего с собою не возьмешь...
автоэпиграф***

ни сизой голубки
ни репки, ни рыбки
ни мёчт о яйце золотом
скорлупки, скорлупки
и скрепки, и скрыпки
а смыслы? — а смыслы — потом

риторикой — гулкой,
моторикой — мелкой,
покедова не перемрут,
по жизни гложа
саблезубою белкой
их чистый *етить* изумруд,

нехай и наляжешь —
вовек не догложешь
глядишь — и рукою махнёшь
на хлеб не намажешь

в карман не положишь
с поклажею не умыкнёшь

ПОЭЗИЯ

на пустыре привременного рая
не ради, а скорее невзирая
не в силу, а скорее несмотря на
тревожное мерцание экрана

уже [увы] неласковые áвы
несытое поклацыванье клави
и кулера, и прочего курсора
не уточняя — *из какого сора*

ни разу не подыгрывая прóге
[но вопреки], хирея по дороге
скрозь парники проглядывая — вроде
как сорняки в глобальном огороде

всё мудреней выдрючивая трюки
и всё нежней выкручивая руки
скрозь календарна круга заморóки
ползут ростки —
непуганые строки

RÉSUMÉ

поэту Лене Фроловой

нехай отлютовали надо мною
земная нега с болью неземною,
да эта в эпилоге правота —
едва ли в оправдание врата,

а дар — едва ли дверь, скорее — бездна,
как водится, разверста и любезна,

а вот в обрат — как чёрная дыра —
задраена ещё позавчера.

но то, что было в ней душой живою
[прикручено незримой бечевою,
как пугало, к поганому столпу] —
ни дня не позабавило толпу,

и как ни тлело то, что было — тело —
как в этом клятом пекле ни коптело,
треща по швам, на выходе оно —
как феникс, воскресать обречено,

и где по-новой *fantasy* питаю,
на финише — всё та же запятая,
да на холсте [с каёмкой золотой] —
всё то, что там,
за этой запятой.

ЭПИЛОГ

кому кровіща — аки вишенка на торт —
до сўдна дня не расквитаешься за тот
подгон босяцкий [до поры за даровій]
от комариной камарильи мировой.

за те химеры да тройные топоры,
да полумеры [неродные до поры]
родного воинства [огнёвицы-«русни»].
что до *достоинства* — ты это объясни,

зелёный змий, накокаиленный ковбой,
младенцу-«сёпару», убитому тобой,
донецкой девочке, сквозь адовы круги
в обитель праведных идущей без ноги.

понеже ныне и незрячему видны —
в лихие дни братоубийственной войны —

народной ярости побеги на крови,
оковы рвущие, зовущие: ж и в и!!

2022 — октябрь 2023

К ДУШЕ

как ни жги, без волшебного слова —
сага, вроде бы, та — да не та...
как ни щурься — утók да основа...
как ни вслушивайся — немота...

живы ж, здравы, хоть ран и премного,
и лазурна — небесная твердь...
почему ж и в раю — одиноко?
по Кому ж мы тоскуем? — ответь...

01.11.24

Ольга Иванова (автоним — Ольга Евгеньевна Яблонская), родилась и проживает в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького, отделение поэзии. Состоит в Союзе писателей Москвы. На данный момент издано 7 книг стихов, последняя из которых, «Вне фабулы», вышла в 2014 г. в Германии.

ПОВЕСТЬ

АММОНАФА И СИГИЦ

Щёлково Московской обл.

ФРАНЦУЗСКИЙ НА МАРОСЕЙКЕ

Всем развалившимся православным семьям 1990-х посвящается

Хорошо в сиреновом костюме велюровыми ботинками пинать переднее колесо Maybach-а цвета берлинской лазури. Грустить в лимузине приятней, чем в железном корыте.

Поэтому — и не только — в четверг я ушел от своей жены.

Набрав в легкие воздуха и рванув с плеча чехол с аппаратурой, сказал с небрежностью, которая стоила мне неровной мимики, «талак».

Отвернутый мой торс мимику скрыл. Нагнувшись к тумбочке с греческим видом одного из монастырей, куда нас с женой занесло пять лет назад, выдохнул. Дело сделано. Сделал дело, как известно, — гуляя смело.

Ушел я от нее в своей голове гораздо раньше.

Раскинув руки — если бы я только мог бы мог оторвать их от руля — я мчал с песней: «Я свободен!!!»

Свободен я был от нее. Но не в абсолюте. У меня появилась Селестин. Так я звал про себя Женю.

Я увидел ее у нас в журнале полтора года назад. Это показалось мне невероятным, но словно бы все чаяния и мои внутренние неуютства давних лет соединились в одном фокусе. И — эта потрясающая внешность. То, что через прицел объектива я, похоже, искал в гостивших у нас подругах многочисленных родственников, клиентах конторы и просто в телевике своего «Никона».

Перелопатив за лет так пятнадцать кучу философской и, в первую голову, православной литературы, я задыхался от одной мысли: я был готов и, наверное, действительно был готов подвизаться в пустынях, есть акриды (то бишь, саранчу) и дикий мед, если бы мог их добыть / если бы мог понять — зачем мне была дана моя почти голливудская внешность, о чем мне не однажды говорили, и вся та радость прекрасного мира с его изысками и главное — изумительными талантами не только поваров, но и — гениев мирового искусства.

Искусство было моим дыханием, смыслом моей жизни, которого не разделяла моя бывшая странная жена прошедшего рода и единственного, увы — на тот период времени — числа.

Я был воистину сражен тем, что Селестин, распахивая, как два неба, свои охристо-зеленые глаза, шептала: как, как же можно довести такого человека, словно сошедшего с блестящей обложки журнала, до столь измученного состояния...

Я подарю тебе счастье, — шептала Селестин, — огромное, как море. Как океан. А ты, кстати, был на океане?

Одно время она интересовалась океанологией и иногда рассказывала мне о баснословных каких-то чудищах Марианской впадины и огня святого Эльма (Saint Elmos fire). Я обещал ей все моря, все океаны, все, что только она пожелает краем изогнутых велюровых ресниц...

Селестин, между прочим, поведала мне, что если повесить карту на самое видное место и обвести кружками те места, куда хочешь отправиться, и долго-долго смотреть на Гоа или Сейшелы, все сбудется. Если отправить посыл в небо — оно ответит тебе.

«Мы будем делать все правильно», — говорила Селестин. Любуясь ее контровыми линиями в отблеске червонного золота закатного диска, я верил и был необычайно счастлив.

На свою упряжь с четырьмя потомками и на вечно скулившую, как выражаются, вторую половину я смотрел, как старый больной осел, уже не способный тащить грузы и с отчаянием рассуждавший — во имя чего это все было. И для кого сверкают ослепительные вершины гор, пенятся белизной изумрудные морские волны, призывно шумят пальмы и стройнеют кипарисы?

Я успевал прыгнуть в последний вагон житейского поезда. Жить нужно сегодня и сейчас. Иначе зачем тогда Бог послал мне Селестин? Чтобы, переворачиваясь на больничной койке где-нибудь в доме инвалидов труда, шепелявить соседу по комнате, что я мог бы (!)— но остался с занудной женой, гвалтом дерущихся детей и неугомонной тещей, появляющейся всегда в самый неподходящий момент, словно отделившись от стены?.. И выслушивать, как тот с присвистом, частично помогая словам кривыми руками, хрипит — как и он так и не смог, не успел и не попробовал?..

Если взглянуть с точки зрения недолговечности человеческой жизни — «...седьмдесят лет, аще же в силах осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь» — часть ее я уже отдал Богу (с Ним я разобрался). Отстоял на многочисленных службах, перепел невероятное количество песнопений в столичных и провинциальных храмах, куда мы с подругой

дней моих суровых, как я называл про себя жену, рванули из Первопрестольной в свои двадцать с небольшим.

Мы познакомилась с ней еще студентами на одной дружеской вечеринке. Она была невероятно грустна и абсолютно свободна — в отличие от ее роскошных подруг. (Селестин права: нужно выбирать лучшее, а не довольствоваться тем, что попало... Пошагово она объяснила мне всю неправильную мою предыдущую жизнь). Рыдавшая тогда на моем теплом плече будущая моя половина жаловалась мне на каких-то своих нечутких кавалеров и не любящих ее однокурсников.

Мы долго и упорно искали с ней общее занятие. Я увлекался съемками, она писала стихи, которые я находил довольно милыми. У нас оказалось много схожих вкусов в сфере мировой истории и искусства. Мы днями и ночами обсуждали кинематографические нюансы, стилистику различных направлений в живописи и танце, искали, как большие, параллели — подобно гессевским ученикам Игры в бисер...

Понял я позже. Мы были просто хорошими друзьями и компаньонами. Сердце не вспыхнуло у меня, как факел, не дрогнули руки, не улетела голова в неизвестные выси, и мириады звезд не блеснули алмазами вверху и в моей душе. Поэтому я так остервенело искал ее, Селестин. И нашел. Отчасти — чтобы понять, как я сурово заблуждался прежде.

Моя жена очень быстро отвела меня в ЗАГС. Ребенку надо было что-то писать в графе. К тому же, у нее было казенное жилье. Плюс ее тетушка из Калуги, помогавшая материально, в частности — подарками, оснащавшими нашу сотворческую деятельность. Меня, правда, немножко коробило от собачьей какой-то преданности и зависимости от меня быстроиспеченной жены, в которую она (непонятно зачем) себя ввергла. Первое время я воспринимал это как должное, но постепенно это стало надоедать. К тому же, ровный овал лица с блестящими глазами и юный стан — это одно, а собачьи глаза на растолстевшем после нескольких родов лице — это, согласитесь, уже нечто иное...

Подработка привела меня в церковь. Невысокий, умильного вида, отец Пахомий предложил мне читать и петь на службе. Благо, с пяти лет я не вылезал из театральных кружков и даже записывался однажды на радио в нашем небольшом районном городке. Везде следовавшая за мной молодая жена с непонятным для меня жаром принялась вручную переписывать молитвы, шептаться со старухами, бессребреннически влезать в какие-то храмовые уборки и посещения больных и сумасшедших.

Дома на руках у тещи уже орали разболтавшийся от бабушкиных сюсюканий старший и помладше капризный Мика. Окрики на малышню, тещины шлепанцы и халаты, потертые пакеты с гуманитарной помощью, приносимые для раздачи убогим, превратили наше небольшое съемное жилище в комнату привокзального общежития. Молодая творческая леди с тусклым взором отвергла нормальные человеческие ряды, не говоря уже о тех шедеврах модельного искусства, которым мы и наше общество были не чужды, и, исповедуя некие новые принципы, влезла в скромные совпромовские полусарафаны серенького цвета. «Что, нельзя, найти что-то поинтереснее? — орал уже в бешенстве я, думая, как мы в очередной раз пойдем к своим институтским знакомым, продвинувшимся по карьерной лестнице и не вылезавшим из-за границ. «Можно, но бесполезно», — тихим, не присущим ей голосом, отвечала жена.

Я знал: она бы очень хотела надеть и английское сиренево-серебристое платье, но и рукав теперь казался ей излишне коротковат, и фасон выделял ее из толпы, а это было по церковным меркам табу. Мол, вот, посмотри, Олечка Попова все свои карденовские костюмы раздарила. Купила простые, скромненькие ситцевые тканьки, пошила простенькие юбки, блузки. И сердце ее не тревожится, что кто-то смотреть будет на нее неправедным образом.

Олечка Попова иногда захаживала к нам, и ее взгляд, ранее обычный и живой, превратился во взор запуганного рабочего где-нибудь на помещичьих плантациях. Она смотрела в пол и скороговоркой цитировала слова святых отцов. Не пройдя ни одного — я знаю! — испытания, потупив голову, несколько менторски повторяла: «Бог дает — берите, а забрал — благословите». Окающий новый говор и почти поясной поклон сопровождал ее речевки. Мне порой казалось, что только кокошника или еще поневы ей, или какого повойника, и не хватает...

Если я спрашивал ее о каких-то планах, Олечка обычно отвечала: «У человека сто дорог, да не каждая ведет туда, где Бог». Только теория, теория и теория. Нечего и говорить, что вскоре этому последовала и моя жена. Это был двойной или тройной ад на земле! На моей земле, а вернее — на каких-нибудь сорока квадратах заставленного хламом помещения.

Уткнув свою раскаленную голову в вышитых тещей лебедей на подушке кухонного дивана, я пытливо спрашивал себя — как и почему я дошел до такого ежедневного кошмара...

Вряд ли всему виной пресловутый отец Пахомий. Ну, пел я у него, ну, влезал по уши в особенности «древлеправославного» пения и даже

ночами до изнеможения перематывал какие-то кассеты солистов, явно имевших определенный диагноз... В конце концов, меня стал угнетать их воображаемый вид — косоворотки, зипуны и неряшливая косматость. Не говоря уже о том, что повторять за ними дребезжащие гласные меня вовсе не радовало. «Вот она где Русь посконная, истовая!» — закатывая и без того полуприкрытые глазки, причитал отец Пахомий. Я долго силился внутренне полюбить архаичные плачи и подвывания. Корил себя многообразно. Но, честно говоря, это было обычным лицемерием.

Почему — если православие, то древнее, не организованное по звуку, а чуть мелодичнее — уже дань антихристу?.. Но про это нельзя было и заикаться.

«А вот Ларочка с пятью детьми даже в храм Божий без разрешения мужа не выходит, — трагически говорила жена. — И даже побои регулярные по субботам принимает. Все — как встарь»... «За что побои?» — больше для проформы поинтересовался тогда я. — «Для остратки, для профилактики, так сейчас все делают». «Ларочку» я видел мельком и, возможно, тоже с удовольствием приложил бы руку — несвежие белые холстяные ее одежды все-таки стоило бы постирать, хотя бы для того, чтобы убрать не очень приятный запах, да еще и перемешанный с ладаном. А жена то ли с грустью, то ли с завистью, продолжала: «Уж у них так строго, так строго. Даже пеленки нельзя стирать, а только подсушивать. И мыться — только по тем дням, когда старица скажет». «Но ведь от этого можно заболеть» — возразил тогда я. «Послушание — прежде всего». — «Если ты перестанешь стирать и мыться, я этого уже точно не выдержу» — вспылил я. (Так или примерно так начинались все наши перепалки. И лучше уж было не вылезать с работы. Только она и была отдых).

НАЧАЛО НАЧАЛ

В одно из воскресений июня, перед началом Петрова поста, после общей храмовой трапезы, отец Пахомий зазвал нас с женой на беседу — на лавочку у цветника. Звенели где-то поодаль трамваи, жар был ласковый и еще не палящий, и мне, разморенному сытным, последним мясным — перед долгим воздержанием — обедом, грезились голубые моря и белые самолеты, увозящие отпускников к магнолиям и яхтам. Мне так захотелось в тот миг, чтобы он просто протянул нам два билета на лайнер и отправил в синеющую даль! Склонив свою бесцветную главу и смотря куда-то в «ничто» и эту самую «туманну даль», он тихо, но железно проговорил: «Дети мои, у нас открывается подворье в рус-

ской глубинке, на русском Севере. Для общецерковной пользы вам следует туда отправиться, так сказать, на истинные труды и подвиги, подале от городов — вертепов содомских, в возрастание духа и обуздание плоти». Наткнувшись на мой взор, в котором было все — и предстоявшая мне диссертация, и гимназии будущих детей, и хоть какие-то глотки свежего воздуха в виде общений с моими бывшими однокашниками-кинодокументалистами и... много чего еще! — он перевел свой взор на жену. И та, почти вскочившая с той серо-желтой скамейки, залепетала: «Натуральное хозяйство! Это замечательно! Батюшка, Вы такой духовный! Мы будем той плодовой маслиной или гроздью виноградной, что в Евангелии, мы будем подвизаться неустанно и сурово...

Прощай, моя забрезжившая кафедра, где заведующая (жена моего любимого преподавателя) уже нашла мне редкую тему, по которой можно будет написать даже докторскую. Прощай, наши веселые, исключительно мужские, среды с французским коньяком, который я позволял себе и в пост, и гитарные дуэты в стиле фламенко и кантри. Как я туда лет через десять приду — может быть, уже в лаптях, пешком и в телогрейке. Окая и непрерывно кланяясь на четыре стороны, или пуще того — кидаясь в сорок земных поклонов, — какое желание я буду у них вызывать для общения? Возможно, они почаще станут подливать себе «Камю» (Camus), чтобы перебить запах навоза и непрогоревших дров. Да шептать между собой по-французски, который я к тому времени окончательно истреблю в себе как излишне светское и вовсе бесполезное, оставив себе два слова по-русски: «Все — грех!»...

— Я буду одевать детей только в самосшитые одежды! И еда — только с грядки! Я буду вставать затемно, вычитывать все правило, бежать к коровушке, и даже новомодные продукты исключим — будем варить, как Ларочка, на даче, сахар из сахарной свеклы!

Уже тогда мне было страшно. Но я подумал, что, может быть, нечто полезное есть в этом. Останемся, наконец, без вечно что-то жующей тещи с цветастыми халатами и бесконечными ее носовыми платками и заквасками с кефирным грибом. Перестанем выкладывать космические суммы за квартиру — конечно же, двушку, а как же иначе — маме надо где-то хранить дермантиновые сумки с одеждой, в которых она то и дело роется, включая ночное время суток (казенную жилплощадь жены у нас к тому времени уже отобрали — за нерегулярное ее появление на работе; дома сумасшедших сделали свое дело).

Следующим вечером, поддерживая компанию своих институтских друзей — Эда и Вольки — сушеными кальмарами с квасом (по поне-

дельникам в пост рыбы мы не ели), я объявил им о своем скором отъезде.

— Знаешь, в кого вы там превратитесь? — с нескрываемым жаром кричал Эд. — Ты двух слов потом связать не сможешь!

— Тебе станет со мной не о чем говорить? Ты этого боишься? — спрашивал его я.

Рассудительный Волька — Валериан Валерьевич, грантовый призер, неторопливый и продуманный, поблескивая глазами из-под линз, произнес:

— А цели пребывания в новых палестинах у вас с женой одинаковые? Тебя тоже прельщает сахарная свекла и бурак? Или бораго — извини, я не силен в ботанике...

— На природе я допишу труд по теме Веры Григорьевны. А там, дальше, у реки, или в беседке...

— Или в шалаше в разливе, — перебил меня Волька. — Пустынник Аркадий, бывшая надежда всего курса, а ныне... — как там тебя переименовывают — в Амфилохия? — затворясь от всего мира, объединенный оводами и слепнями, опираясь на посох, будет ходить вдоль болота и истреблять в себе прежние научные знания, чтобы не было так больно из-за синдрома незавершенного действия. А старинная библиотека твоего дяди, которую ты отвоевал у плесени и бестолковой его свояченицы, радуга переплета которой оказалась в тон ее итальянскому секретеру и бюро? А Петька с Микой — ходить играть на деньги с деревенской урлой, пока ты будешь пребывать в молитвенных трудах, да и деревни у нас вымирают — слышал? И ограниченность, так сказать, социума — там есть только те, кто есть. И школы — не во всех деревнях. Малокомплектные. Укомплектованные теми, кто не справился в городе с профессиональными обязанностями... И насколько я понял, ожидаете вы со своей женой от этой ойкумены все-таки разных вещей.

Он наступал на все сразу мои большие мозоли — мы одинаково с ним во многом мыслили, кучу времени провели, всю самую блестящую юность, научную, студенческую, творческую...

Но отказаться — было как-то малодушно. Что-то необычное, новое и очень связанное с жизнью духа, и — зачем-то это все же появилось на моем жизненном маршруте!

Куда я побегу — прятаться? Дело не в том, что меня кто-то не поймет. Я сам себя тогда не пойму. Уважать не смогу. Назвался груздем... — Так рассуждал я тогдашний, в двадцать с небольшим лет. Да и духовник не сомневался в том, во что нас впрягал и во что облакал... «Мы — в надежных руках!» — думал я.

— А мы не будем там одни, — уверял я своих собеседников, еще не представляя, кто это согласится потащиться в эту глухомань за нами. — Вокруг нас соберется общество единомышленников.

— Ну, разве медведей чему обучишь или там бобров каких, — потягивался Волька. — А что, бобры — как люди, даже еще лучше. Плотины умеют строить. Эд, ты, наверное, не умеешь строить плотины? Я, знаешь ли, тоже. А они могут! Или, скажем, на велосипеде. Аркадий, а ты ведь так и не научился, городской житель. А медведь, смотри, тебя и обучит. Так сказать, в порядке научного обмена опытом.

— Да в этой глухомани и света, наверное, нет, — проговорил Эд. — Я видел целые десятки километров столбов с оборванными проводами. Колхозы везде развалились, народ уехал, а все остальное разворовано — мы же ездили в такие места на практику. Про телефонную связь я вообще молчу. Будешь пейджер сотни раз подбрасывать кверху, чтобы связь найти. Опять же бонус — преуспеешь в джунглях!

— Человек должен жить в естественной среде, — отбивался я скорее от своих собственных тягостных мыслей.

— А ты там был хоть раз? В деревне жил когда-нибудь зимой, помнишь, у Пушкина «Метель» или там романс про ямщика? — не унимался Валерьян. — А больницы поблизости есть, или ты хочешь — как в песне «Если я заболел, к врачам обращаться не стану?» А дальше там — про друзей, которые вряд ли к тебе в этот Починок поедут. Естественные условия жизни и смерти. Именно — Бог дал, Бог взял, философия!

Нечего и говорить, что домой я вернулся с еще более надорванным сердцем и напряженной мыслью.

И только моя жена восторженно перечерчивала какие-то выкройки картузов и армяков с рубахами у Олечки Поповой и писала под ее диктовку рецепты блюд из луговой травы — «вареной зелени и кореньев», упоминавшихся не раз в житиях подвижников-постников.

Мамаша засобираала вещи к себе под Калугу, к сестре — северный влажный климат был губителен для ее экземы с кровохарканьем. А я счел это единственным отрадным явлением в своей сумбурной жизни.

До отъезда тогда оставалась пара недель. У меня вырос список того, что я собирался успеть сделать в столичной жизни. Что не успею, — думал тогда я, — даже и хорошо: будет повод приехать. Я насчитал приблизительно восемь часов езды с пересадками в один конец. Не сутки, — думал я восторженно. Да люди и больше добираются.

Один из пунктов касался визита к Каровским.

КАРОВСКИЕ

Борька очень рано женился, фактически в конце первого курса, на девочке из семьи медицинских чиновников, ставшей у нас «Мисс курса». Марта имела интересную звучную фамилию из трех или четырех букв, которую я все время забывал, а потом и вовсе расслабился — очень быстро она стала уже не мисс, но миссис Каровской. Я хоть и не лыком шит, и всегда, лет так с одиннадцати, балуясь пастелью, искал интересные соцветия, и удачные колористические триады замечал во всех опусах мирового искусства, но сочетание ее одежд меня шокировало в самом лучшем смысле этого слова. Оно звучало, как музыка. Пока я с потугами ученика класса композиции выстраивал свои цветовые интервалы, Марта умудрялась с казавшейся легкостью выстроить целые цветные септаккорды, где выверен был каждый тон и даже четверть тона. Я думаю, она различала, как японцы, более трехсот оттенков только серого. Это не затеняло ее внешности. Маленькая, элегантная, с манерами танцовщицы и устремленной вперед немного лисьей мордочкой, эффект производила она удивительный. Благодаря исключительно своей неподражаемости. Борька очень быстро распустил свой павлиний хвост, состоявший из допуска во все самые фешенебельные места, а также папиной дачи на Истре и маленькой мотояхточки, которую никто не видел, но все в нее верили. Дедушка Марты, известный ученый, не вылезал с заграничных симпозиумов и прихватывал с собой внучку, которая тоже играла там какую-то роль — то ли его секретаря, то ли пресс-атташе.

Дома у Каровских, в квартире на Маросейке, всегда работало радио на французской волне. Довольные Борис с Мартой обсуждали новостные фразы диктора, а мы при этом присутствовали, как незадачливые покупатели на каком-нибудь гомонящем турецком рынке — при диалоге ушлых продавцов.

Миссис Каровская при этом не была лишена чисто женского иронического отношения к неудачникам ее же пола, не чувствующим меры и вкуса. Зачастую она не упускала возможности изречь весьма завуалированную сентенцию, которой, к ее же вящему удовольствию, не понимали героини ее прозаических эпиграмм. Вокруг нее вились не только менее умные девушки, но и весьма дальновидные ребята-карьеристы. Последние намеревались сорвать хоть какой-нибудь куш или просто оцутить себя в составе ее золотой свиты.

Когда мы с женой навещали их, по-молодежному просто и ненавязчиво (с Борькой мы связаны были темой музыкальной), моя жена покрывалась пятнами и долго мучилась, в чем ей идти в эти гости. По-

пасть на язык к Марте, пусть она — и не из ее среды, ей очень не хотелось. Впрочем, достаточно было изучающего взора Каровской, в котором и без слов было все: она выставляла балл сразу, с первой минуты. Когда подруга дней моих суровых переделалась в придуманные ею упрощенные фасоны, она почему-то продолжала стесняться Каровских, хотя в этой же одежде она чувствовала себя уверенно перед Олечкой Поповой и Ларочкой. И то, что мне она дома говорила в защиту простых одежд, никак не вязалось с ее поведением в таких местах как дом Каровских.

Незадолго до нашего отъезда отец Пахомий, изучив стихи моей жены, дал ей фактически партийное задание: писать по-другому, православную поэзию. Она думала, что у нее получится. Я молчал о сем, но, на мой взгляд, вышло просто кошмарно. Появились рифмы «молись-постись» да «колокола-купола». Меня, не вылезавшего из библиотеки дяди и фундаментальной, институтской, из отдела лучших поэтических образцов всех времен и народов, это просто стало убивать.

«Словом можно убить! — внушительно произносил я. — Зарифмованная проза нужна зачем? — акцентировал я на последнем слове, как немцы — на своем отрицании в конце предложения, спускавшем все сообщение под откос. «Смысл должен быть православный, а не лубок и аннотация к богослужебным предметам!!!» Видимо, это огорчало жену, и она заявила: «Я покажу Марте Каровской — что она скажет». Она была уверена, видимо, что понравится, ведь похвалил же ее за это версификаторство отец Пахомий. «Неси!» — торжественно и слегка злорадно заключил я.

Против кого я сделал этот выпад? Бездарность моей второй половины свидетельствовала только о моем безвкусице: с волками жить — по волчьей выть. И ладно бы она действительно была бездарна, но деланное безвкусие, принижение и ухудшение мне показались просто чудовищными.

Мне кажется, если Марта и уважала за что-либо мою жену, скажем, выделяла ее изо всех прочих, — то за ее неплохую лирику. Тот же февральский вечер перечеркнул, пожалуй, все. Даже в свете цветных свечей, плававших вокруг замка по хрустальному водоему (неизменному атрибуту каровских посиделок), я с ужасом увидел округлившееся лисьи Мартины глаза. Слегка отведя личико, с полукивком в конце чтения, она что-то сказала себе в подтверждение. И когда Борька послал меня на кухню прихватить холодное Кьянти, за плечом неожиданно мелькнула Марта. «За что ты ее любишь, герой древнегреческой трагедии?» — спросила она. Мне кажется, она даже не спрашивала, а отве-

чала, и отвечала однозначно: она тебе не пара. Дальше вломился Борька со словами «ты, наверное, как всегда, не найдешь». И вопрос остался, но ответ я получил. И про стихи тоже. И не только про стихи...

Уже тогда меня тихо, на полусогнутых, одолевали мысли, что возле меня во все будни житейские могла бы быть пусть не Марта, но кто-то более самодостаточный и яркий. Наверняка и звали бы ее как-нибудь поинтереснее, чем мою жену, — Виолетта или Моника. Я не краснел бы за ее стремление подладиться под всех — а абсолютно все казались ей главнее и важнее ее самой. Моника или Виолетта обязательно сами диктовали бы правила всей игры. И это на нее смотрели бы с восхищением или ожиданием. Ей самой, Монике или Виолетте, несли бы свои творческие опусы знакомцы разных мастей. Скажем, я не мог, как тот же Борька, когда мы заспорили, смеха ради, о наших физических способностях, закинуть своей избраннице ногу на плечо. Но он все-таки еще и выше Марты. И когда Марта в ответ положила легко и изящно свою ногу ему на плечо — сказала балетная школа, из которой она вынуждена была уйти из-за какого-то гастрита, — дело было даже не в растяжке, а в той грации, с которой произошел этот неожиданный экспромт. Моя жена свою вечно отекающую ногу могла бы поднять максимум градусов на девяносто, и, честно говоря, я не хотел бы публично присутствовать при этом зрелище. Марта, например, не имея особенного слуха и голоса, могла зажигательно спеть любой хит, даже вовсе не попадая в ноты. Моя жена, имевшая довольно красивый бархатный альт, чаще молчала или полупшепотом подпевала, не зная, какотреагирует данное общество на ее репертуар и тембр.

Видя, какие взгляды иногда бросали на меня интересные незнакомки, я стал понимать, что идя куда-либо один, я чувствую себя лучше — не надо всем своим существом извиняться за свою половину, быстро уходить из гостей — мол, мамаша будет бубнить, что устала от Петьки с Микой — ...

Впрочем, был один вечер, когда моя жена блистала во всех смыслах этого слова. Правда, было это не у Каровских (возможно, в этом причина, что ей-таки удалось сколько-нибудь раскрепоститься). Эд отмечал свою диссертацию, и у них на даче в Малиновке мы, что называется, трягнули стариной. Я играл португальские ритмы, а жена спела несколько фадо — ей они удавались особенно хорошо. Состав на тех посиделках был преимущественно мужской. Поэтому поведать «граду и миру» о ее талантах было некому, да и незачем. Больше ее выступлений я не видел и не слышал ни разу. Да и на какой португальский шан-

сон мог благословить отец Пахомий, тем более — учитывая его точку зрения касательно монодийного пения...

ПОРА

Уезжая из Москвы, я отлично понимал: если уж здесь выставлены такие ограничения, сколько жестче все это будет в провинции! Но мне никак не хотелось выглядеть испугавшимся трудностей.

— Препоясайтесь терпением и долготрудным пощением, ничего сложного, помните, иго легко, сказал Господь, и все у вас получится, — ободрял нас отец Пахомий. Именно в нас он видел надежду и опору подворья, на котором мы должны были плодиться и размножаться и вдохновлять своим примером темных местных лопарей или самоедов, или кто они там были. — Вспомните святого Леонтия, как он шел к мери и чуди белоглазой. Не убоявшись их идолопоклонства и зверских обычаев. Настало время проявить вам свое исповедание. Скольких вам своим примером удастся приобщить к Церкви?

То, что пощение у нас будет уже по отсутствию практическому магазинов в том дальнем населенном пункте, я не сомневался, но насколько долготрудным — мне еще только предстояло тогда узнать.

«Жребий брошен, Рубикон переходить тебе» — носилось кругами в моей голове. Отец Пахомий был настолько добр, что даже выделил нам церковный ПАЗик для перевозки наших пожитков. И напутствовал речами:

— На подворье трудится отец Евстратий, служит особые молебны, отвращает местное население от Железного камня на ближнем болоте, к которому едут язычники. Мы на вас надеемся как на оплот веры. Служение там — исключительно по крюкам, к которому ты, Аркадий, уже несколько навыв. Тяжело в служении...

«Легко в гробу» — закончил я про себя фразу отца-наставника.

Из моей головы не шло, что на глазах у Марты блеснули слезы. Сразу после того, как я объявил, что мы складываем коробки для переезда.

За этими коробками с восторгом прятались Петька с Микой, играя в каких-то флибустьеров и рыцарей и представляя их себе средневековыми замками. А ката и вовсе пытались возить в тазу вокруг коробочных укреплений. Кот по кличке Чимкент, в бумажной короне и каких-то пластмассовых доспехах, разведя уши в стороны и выпучив глаза, подолгу терпел бесчинства, но затем и сам, спрыгивая с утлой посуды, прятался между горами вещей — как в проемах между домами какие-нибудь африканцы, умудряясь сбросить при этом королевское украше-

ние. Пожалуй, это был самый радостный отрезок всей последующей жизни.

Незадолго до отъезда заглянул Волька. Я был несколько удивлен его такому стремительному появлению, к тому же, в довольно ранний час. Заметив мой ошарашенный взгляд своей квартиры, Волька с порога объяснил незваный визит:

— Хочу запомнить тебя, каким ты был в эти годы. Дважды в одну и ту же реку не войдешь. Может, ты меня потом посохом начнешь лупить со словами «Изыди!» или вовсе не узнаешь, всякое бывает. Поменяешь ментальность. Наобщаешься с медведями, они тебе шкуру подарят, обрядишься в нее, что и не узнать будет тебя. Словом, надумаешь вернуться — буду рад.

Долгие проводы — лишние слезы. Даже хорошо, что времени на отъезд было у нас в обрез. Под задумчиво-сочувствующие взоры, да трепетные охи Олечки Поповой, Ларочки, и прочей всей братии храмовой, наш шарабан покатил по дорогам первопрестольной. И далее — по ухабам и колдобинам великой России...

ПО ДОЛИНАМ, ПО ЗАГОРЬЯМ

Без усталости первые часы скакали по автобусу дети, пытаюсь в проходе обрести равновесие. Дурел в клетке кот, открывший не только глаза, но и пасть, сделавшись похожим на атакующую змею.

Автомеханик церковного гаража, он же наш водитель, дядя Слава, руля, успевал комментировать: «Смотри, сады-яблоки, будете варенье варить. Смотри, картошка — драники будете делать. Смотри, козы — молока натопите. Смотри, черемуха — пирогов напечь да и от расстройства пойдет...». Я все время думал: вроде бы, не голодает, но съестная тема была главной, если не единственной (!) в его сентенциях. Вроде бы, с механизмами работает, шайбы-гайки-болты-карбюраторы. Лучше бы о них рассказывал! К половине пути меня уже тошнило от черемухи с тыквенными паренками и гусиными яйцами. Когда в какой-то Будиловке, на отворотке, мы сделали привал, я был готов отдать ему все сырники с печеночными котлетами впридачу, что собственно и сделал — на глазах изумившейся жены. Но в конце трапезы дядя Слава многозначительно, с чувством собственного превосходства, заметил: «А моя жена не рис с утятинной делает, а утятину с рисом. Не борщ с мясом, а в мясе борщ». И добавил с легкой завистью: «Хорошо вам, будете в деревне чай на поляне пить с пирогами, большие огороды разведете, продукты так и будут сами из земли в руки проситься». Оказывается, есть и такие, кто думает, что это мы с голодухи тащимся

в непроходимую глушь, и увы, не в солнечный к тетке Саратов, а в «зону рискованного земледелия»...

Жена почти всю дорогу с восторгом смотрела за окно, на горящий пожар заката и причудливое смешение облаков, так характерное для северных широт. Ей виделся рай и земные красоты и, похоже, думалось — сколько еще стихов она накропает среди неведомых, совсем иных, пейзажей.

ПОЧИНОК

Когда наше тэ-эс вкорячилось, минуя вековые дубы, в наше новое место пребывания — сельцо Починок, я произнес только одну гласную букву русского алфавита. Именно ее я и произнес нараспев и, конечно, про себя. Навстречу допотопному автобусу вышли тихие подозрительные люди разных мастей и возрастов, но было их, слава Богу, немного. Наш ПАЗик они рассматривали так, словно бы мы прибыли на каком-нибудь космолете.

«Это что ж, каких будут?» — спросил один у такого же вида и со схожим лицом женщины.

«Наверно, к Истрату — к кому ж еще. Новые — к новым» — не дернув ни одной мимической мышцей, бесстрастно ответствовала собеседница.

Перед нами была обычная деревенская дорога, по краям которой стояли старые деревянные домики. Местами чернели почти разобранные на запчасти годов семидесятых «Иж Комби» и «Москвич». Вид был удручающий. Одно авто — явно «перевертыш», второе — уже с узорами плесени и каким-то угольным нутром. Некоторые дома утопали в бурьяне. Это было бы романтично, если бы мы неслись в это время куда-то вдаль и при этом слагали стихи лирической направленности о «Руси уходящей». Но в этом нам предстояло жить весьма немало лет.

«Гой ты, Русь моя родная, ...» — запрыгали в моей голове цыганские гитарные переборы есенинского цикла. Следом я с ужасом подумал, что дядя Слава вздумает что-нибудь и здесь изрекать на тему идущих к луже цыплят или свесившихся местами через изгородь веток кислого терна из серии «вырви глаз».

— Ты только обрати внимание, Аккордеончик, — так называла меня иногда жена — какой воздух. Какие простые, без причуд, люди. Как умеют они просто одеваться, — восторгалась жена. — А вот там, вдали, крест — это храм! Скорее!

На крест мы и побрели, потому что проехать по этой грунтовке после недавних ливней не представлялось возможным. Еще загодя мы вытащили все свои резиновые сапоги, поэтому выдвижение наше было стремительным.

В любом случае — утешал себя я — будет что снять. Фактурка здесь интересная, портреты — хоть в журнал «Гео» посылай, в рубрику типа «туземцы, нетронутая земля». Может, я еще премии какой удосужусь, мое имя будет идти рука об руку с фамилией Гуггенхайма, и у Марты — я опять сбивался в мыслях на нее — непременно остановится ход сердца, когда парижское радио сообщит мелодичным грассирующим баритоном о моем Grande Prix ... — с такими размышлениями я уткнулся в деревянный сруб. Кубатурой где-то метров в пять, свежесрубленный, с римскими цифрами на угловых срезах камбия, он, увенчанный крестом, и являл собой храм, или часовню, то есть то подворье, на которое мы и были командированы.

На крыльце стоял высокий худощавый, с подоткнутым подрясником и в мощных резиновых сапогах, видимо, только после хождения в них по глине, отец Евстратий. Его темно-серое одеяние висело на его костях, он был, похоже, изможден постовыми подвигами, напоминавшими истинное содержание поста — неядением. Суровый испытующий взор устремился в нашу сторону — мы являли собой однозначно не местных жителей. При этом Петька еще и держал модную клетку с котом — что уж вовсе не вязалось с деревенскими просторами.

День клонился к закату, и этот вопрос надо было решать в первую очередь. Не успел я открыть рот, как моя жена бросилась в ноги еще неизвестному нам священнику. Пыль забилась прямо в кашемировое золото шарфа, а подол пестрой «юбки в пол», специально купленной на Черкизовском рынке для жизни в православной общине, попал в канаву с той самой вязкой глиной, что была на рабочих сапогах отца Евстратия.

— Господь благословит на добрые дела, — скрипуче-выверенным голосом сказал батюшка, по очереди возлагая на нас руки, протянутые за благословением.

Повернул голову к жене: «Готовы подвизаться? У нас не столица. Вас отец Пахомий прислал? Знаю. Сегодня переночуете в приютской комнате, а завтра будем думать, куда вас определить. Только ночевать порознь — мужчины отдельно, женщины отдельно».

— Но Михаил еще маленький, — воспротивился было я, зная, какие концерты он иногда задает по ночам, — и без матери вся ночь моя может пойти насмарку.

— У нас так не принято. Мы живем, чтоб вам было, милостивые государи, понятно, под духовным водительством аввы Протасия, истинного подвижника последних времен, живущего отай, сокрыто, — не глядя в нашу сторону, слово за словом как по линейке произносил отец Евстратий, — и я, конечно, не ваш духовник, но желательно и впредь ваше раздельное существование. Борьба с плотью трудна и бесконечна. Как уж вы там решите с отцом Пахомием — не знаю, но общие устои выполнять придется.

Устоев, собственно, было немало. Некоторые из них обнаружались сразу, другие — появлялись весьма неожиданно, как топляки на ночной реке. Я с ужасом вспомнил Ларочку и подумал, что мы со временем ее, похоже, переплунем.

Промаявшись с Микой и бодрствующим ночью в клетке котом, я забылся только под утро. И, встрепенувшись ото сна, в котором я беседовал с Мартой о каком-то предстоявшем кинофестивале в Лозанне, я обнаружил на своей небритой щеке дорожку из слез. В этой ситуации меня убивало и то, что за дальней перегородкой, очевидно, счастливо дремлет жена и ей грезятся какие-нибудь полотняные саваны, в которых мы будем собираться на ночные бдения — неспания и неядения. Мне было двадцать шесть, ей — двадцать четыре с половиной года.

МЕСТНЫЕ. ИГОНЮШКА

Выбравшись часу в шестом наружу, в отсыревшую за ночь действительность, я услышал дивную птичью переключку. Чуть поодаль заметил странную фигуру мужчины в похожем на монашеское одеянии. Опираясь о клюку, он молился куда-то в сторону леса. Вероятно, на восток, откуда силилось выйти солнце.

Мне он показался весьма молодым, даже младше меня. Непонятная болезнь отражалась на его бледном лице, обрамленном черными длинными и местами вьющимися волосами. Ноги были разной длины. В моем сознании пронеслась старинная присказка: «Жил-был царь-Котороч, одна нога длиннее, другая короче. Стал на кочку — обе в точку». Во мне заговорила непонятно откуда взявшаяся антипатия.

— Это Игонюшка, — кто-то зашептал мне через плечо. Я обернулся и увидел согбенную старушку, очевидно прислуживавшую в церкви. Она пришла вылить воду после мытья полов. — Как Серафим Саровский, — вздохнула она. — Недавно так болел, так болел, а от докторской помощи наотрез отказался. Вот какой терпеливец!

Имя какое-то странное, сокращенное что ли. Я переспросил:

— А полное имя каково этого страдальца?

— Иегудиил! — с готовностью выпалила старушка.

Вон оно как! Каковы! Но мысль моя блуждала вокруг поселковой медицины. Про докторскую помощь я точно забыл, а ведь Волька предупреждал. А если что с детьми, а поликлиника с ее учетом, в которую все время бегала жена после звонков участковой медсестры. По моей спине потихоньку пополз невиданный зверь., называемый ужасом, я начинал постигать, насколько я — житель мегаполиса, да не обязательно мегаполиса, просто небольшого городка.

— А здесь есть доктор? — ухватился я за последние слова старушки.

— Фельдшерица.

— А аптека?

— Все фельдшерица выдает. А так — только до райцентра, но зимой дороги переметает, да и автобус раз в день, если только до трассы идти, через лес, но ведь тут рысы гуляют, вопри тоже.

Я с ненавистью вспомнил дяди-Славины чаи на поляне и пастилу из клюквы.

— На все воля Божия. Захочет — и так даст здравия, а нет — живи не-греша, вот и весь сказ.

Получается, размышляя я, в городе живи-греша, доктор вылечит, а то и профессор медицины с целым консилиумом. А здесь — по одной половине ходи, и то — еще вопрос. По какой именно половине ходить — я уже начал понемногу смекать. Ага, догадался я, поселись я с семьей в одном помещении, заболел кто из детей, вся община начнет головой качать: предупреждали вас! Впрочем, подумал я, все это бред, причудится же по утру, и побрел собирать детей. Надо было завтракать и заселяться куда-то.

ДОМ ПРИЗРЕНИЯ И УСЕРДИЯ

Мы застыли с кусками бутербродов во рту, когда на пороге комнаты нарисовался отец Евстратий, махнувший нам в сторону храма:

— В половине седьмого у нас братский молебен. Трапезничать полагается только после литургии. Около пополудни. — И, предупреждая мой вопрос, почему так рано молебен, разъяснил; литургия, мол, не каждый день, а молебен ежедневно. Так рано — потому что дальше идут послушания: сенокос, лесоповал или церковные огороды.

На ранней службе в небольшой комнате было не разгуляться. Мика не хотел сидеть на руках, впрочем, и стоять ровно — тоже. Жена, вышедши из терпения, под недовольные взоры братии, еле успевала раздавать подзатыльники младшему и заодно старшему, который плохо

подавал пример прямостояния. Периодически выскакивая на улицу, я делал внушения обоим, не рассчитав сил, сбивши с ног того и другого.

Молившиеся на первый взгляд казались клиентами не столь отдаленных мест. Почти все мужики были в таких же грязных, с ошметьями, сапогах. Чего я только не мог понять — неужели, идя в храм, нельзя было как-то отмыть их. Хотя у меня было ощущение, что они и умыться не стали. Вспомнив Олю Попову, что, наверное, все это бесполезно — и мытье, и расчесывание, и уж тем более обувь с одеждой.

И только сердешный страдалец Игонюшка, время от времени обернувшись к певшим, что-то придирижерывал рукой, подшепчивая про себя, и, приложив руку к сердцу, кланялся на четыре стороны. Такого я еще точно не видел даже за всю прежнюю бытность в самых причудливых молитвенных заведениях Московии.

Лесоповал мне отменили ввиду переезда. Но на завтра я обязан был ехать на сенокос. Я мучительно думал — ведь у меня нет ни козы, ни коровы. Попутно соображая, что в Москву даже на два дня меня уже не выпустят. Такое ощущение — словно я сам дал на себя одеть поводок.

— Сюда присылают на исправление и для духовного возрастания, — истово проговорила жена.

— А нас за что отец Пахомий решил исправить? — мы пили или курили в Москве? Может, еще как бесчинствовали?

— Священников грех осуждать, — скороговоркой ответила жена. — Сам знаешь: неосуждение — без труда спасение. Батюшке лучше знать, куда кого отправить.

— Ларочка бы здесь лучше справилась, — заметил я.

— Поэтому ей не нужно исправляться, она и так во многом преуспела. А нам с тобой — еще поучаться и поучаться у местной общины.

Господи, зачем надо было отсылать нас туда, где я со временем должен буду отказаться от всех своих талантов. Ну, был бы я, скажем, агроном, удивил бы северян какими-нибудь кокосами или гуаявой. Сдался я здесь кому со своими фильмами. Но что еще меня удручало — меняющийся с месяцами взор моей подруги. У меня появлялось ощущение, что я женился на уроженке глухого хутора и пытаюсь приспособиться к обрядам и обычаям ее земляков. Я бодрился и старался не унывать. Посмотрим — кто кого, думал я, может, еще такой научный труд отгрохаю, что и Волька, качнув головой, скажет: «Ты все правильно сделал. Мы неправильно тебя поняли тогда».

Нам отвели жилье в длинном многокомнатном бараке с полным отсутствием звукоизоляции. Двери не закрывались. «Не к чему!» — пояс-

нил отец Евстратий. — Христианам нечего скрывать. В любой час мы должны дать ответ Господу». Он пояснил, что этот дом был построен для коммуны в тридцатых годах, но народ со временем срубил себе отдельные избы, а кто разъехался, и теперь это здание поименовано «Дом призрения и усердия». Здесь живут те, кто приехал подвизаться на приходе. Всякий живущий должен исполнять Кодекс прихожанина, с которым нам еще предстояло ознакомиться.

На беседе с отцом Евстратием, который мне теперь видится как допрос с пристрастием, жена подробно рассказывала — в чем она сильна и на каких работах может принести пользу приходу. Денежное вознаграждение за труд вроде как полагалось, но отец Евстратий то и дело повторял рефреном: «Чтобы не было только никакой коммерции. Не корысти ради. У нас нет средств. Конечно, каждый труждающийся достоин пропитания».

Достоин, но и только. Получит ли он что и от кого — об этом речь не велась. Все надежды возлагались исключительно на выращенные овощи да молоко-творог козло-баранов. На автобус до Москвы мне явно не заработать, да и смотреть в ту сторону, в смысле — автобуса, не поощрялось. Один из вопросов устава касался именно каких-либо перемещений в пространстве. Без благословения никто никуда не едет, так установлено, похоже, упомянутым аввой Протасием.

В мои обязанности входило пение и чтение на клиросе, а также все послушания братии: лесоповал, сенокос. Жена должна неукоснительно подвизаться на церковных огородах, а также писать воззвания к невоцерковленному сельскому люду. И, конечно, еженедельная исповедь, а «в случае чего» — немедленная, в ту же минуту!

Тема нашего духовного восхождения была до того всеобъемлюща, что старший сын меня спрашивал: «А ветер — это Бог дует?» При этом Бог и отец Евстратий были в голове у Петьки уже почти одно и то же. «Боженька приходил», — это о нашем починковском наставнике. Мика играл с Чимкентом, заставляя его, благо абсолютно неподвижного и флегматичного, складывать лапы на груди или креститься перед миской с едой. А завидев его, пьющего молоко в пятницу, с обидой выговорил коту: «Значит, не постишься? В ад, что ли, собираешься?»

Вроде бы у нас был свободный график. Почти. Но напряжение было неимоверное. К тому же точившая меня мысль об ограниченности передвижения потихоньку съедала изнутри. Вечерами в одной из сторон сквозь лес пробивались огни машин на далекой трассе. Они воспринимались мной как огни большого города, и в такое время мне становилось «мучительно больно» за все, что предрекал Волька.

Мы в нашем картонном жилище поднимались в шесть. Надо было притащить воды, нагреть, чтобы умыться. Электричество периодически вырубалось — когда все насельники включали какие-либо приборы. Автоматов не было, и однажды нам довелось гасить занявшийся электропровод. К половине седьмого необходимо было успеть занять место в храме поближе к выходу, чтобы в случае разбушевавшихся и плачущих детей можно было выбегать на улицу и увещевать их.

После братского молебна жена отправлялась на церковные огороды, прихватив с собой детей. Я же валил деревья или косил сено. Непонятность была в следующем. Если мы трудимся, как в монастыре, то и кормить нас должны были — как там. Но на трапезу приглашали только людей бессемейных, хотя им было проще справиться с такой проблемой. А когда варить себе еду или зарабатывать на хлеб насущный — оставалось великой загадкой. Это было моим собственным камнем преткновения. Жену волновали другие вопросы: «Мы не успеваем вычитывать утреннее правило до утреннего молебна! А вот Иринья-староста...»

На смену Олечке Поповой и Ларочке пришла Иринья.

ИРИНЬЯ-СТАРОСТА

Подавляющее время теперь было занято либо послушаниями, либо поддержанием жизни. Сложившийся более-менее быт бросают обычно из следующих побуждений:

Если вы замыслили построить марсоход и вам надо уединиться в горах для проникновения в сущность какой-нибудь гравитации на этой планете.

Если вы пишете философский труд и надо резко ограничить отвлекающие моменты.

Если вы аутист и болезненно воспринимаете социум.

Если над вами ставят медико-биологический эксперимент, за который вы потом получаете огромное вознаграждение.

Или если вы оставили мир и мечтали о жизни в монашеской обители.

Но семьей с детьми в монастырь не уходят. Труд здесь не написать, даже для Веры Григорьевны, не говоря уже о диссертации. Денег мы не только не получим, но и потеряем на годы вперед. И к тому же я не то чтобы аутист, но даже сильно наоборот. Остается эксперимент непонятного свойства, за который если кто-то что-то и получит, то далеко не я. Уйма времени моей жизни теперь стала уходить на элементарные стирку-уборку-помывку с приготовлением пищи.

Несомненным было одно: отсюда, как бы со стороны, получилось взглянуть на всю нашу предыдущую жизнь. Новые трудовые навыки показали мне некий пластилин и синтетику рафинированной городской жизни. Но! Дар, данный свыше, в покое вас не оставит, будьте уверены. Тут я припомнил и пресловутую Ларочку, публиковавшую свои стихи в толстых журналах и бежавшую позже прочь от всех приглашений на литсейшены. Можно не пойти на гламурную тусовку, но вдохновение и талант игнорировать сложно. Если он дан, он лишит тебя мира душевного. Хоть зипун натяни, хоть древнегреческую тогу, хоть в пещере спрячься. Голову куда изволите надевать? Строчки, звуки, линии, движения цвета, вулкан тенора или альта?

Мы попали в школу отказа от искусства. «Что такое искусство? — вопрошал отец Евстратий мою жену. — Это что-то искусственное, не настоящее, родное искусу, прости, Господи!» Она приходила в нашу картонную будку и заливалась слезами. Нет, она готова была не писать вовсе никаких строк, даже тайком — а как же исповедь, что она скажет — мол, опять не исправилась? Тем более — у нее была теория: чтобы не было мучительно стыдно на исповеди, лучше как-то обойтись без этого. На нас ей, похоже, было слегка наплевать. Стыд пересиливал все, включая наш семейный и уже пошатывавшийся союз.

Помимо этих обстоятельств, требований самого разного свойства, отец Евстратий сообщил моей жене, что ей надо пообщаться с Ириньей, старостой храма. Она ей объяснит, что еще требуется по женской части.

Настоящее имя ее было Ирина. Но как-то так повелось, что окончание поменялось. Иринья звучало грознее, чем просто Ирина.

Иринья ведала всеми вопросами хозяйственной деятельности. Непонятно, сколько ей было лет, да здесь это никого и не волновало. В конце каждого дня Иринья отчитывалась перед отцом Евстратием. Когда отец Евстратий слово в слово повторил то, что было сказано женой Иринье, я подумал, что вряд ли отец Евстратий такой прозорливец, и посоветовал жене не сильно откровенничать со старостой. Но она уже давно жила в параллельном мне пространстве, тихо произнеся:

— Христианам нечего скрывать, — сказал батюшка. Со своими грехами надо бороться. Где-то пусть и община поможет, ничего страшного... Посмотри лучше, какая Иринья преображенная.

Вечерами Иринья с отцом Евстратием закрывались в комнате прихода и пересчитывали деньги, обсуждая статьи расходов. Я однажды заглянул туда, ища жену, и по раздраженному взору отца Евстратия понял, что Иринья плохо закрыла дверь. Дело обычное, хозяйственное,

— подумал я. А «Молитвами святых отец наших» читать не стал, полагая, что жена там одна печатает какие-нибудь очередные листовки. Суммы по столичным меркам на столе лежали небольшие. Но меня опять стали одолевать мысли о пропитании, одежде и поездке по делам. К тому же один аккумулятор камеры сел окончательно, и надо было покупать новый.

На мои «увлечения» фото— и киноделом, именуемом отцом Евстратием «телевизия», в общине косились. Все должно быть сокровенно, отай, как и их невидимый старец авва Протасий. Но спустя некоторое время я стал подумывать о том, нет ли еще какой причины в таком нелюблении съемок. Она могла заключаться в том, что многие здешние из братии могли быть не в ладах с законом и попросту скрываться в мало кому интересном Починке. По крайней мере, наколки, тщательно скрываемые некоторыми под длинными рукавами, и их внешность годились для того, чтобы красоваться на вокзальных стендах «Их разыскивает милиция», а имидж одного из них, почему-то в ковбойской шляпе, и вовсе — в Чикаго с надписью «wanted!».

Все речевки, которые писала моя жена, между прочим, имевшая какую-то премию за сочинения на своем филфаке, должны были представляться Ирине, у которой за плечами был какой-то животноводческий техникум, как я выяснил. Все находки, казавшиеся жене удачными, Ирина вычеркивала, поясняя: как-то уж вольнодумно или неточно, — или вовсе морщилась, дергая острыми плечами. Отец Евстратий получал уже правленные Ириной тексты с полной характеристикой неважных способностей жены. Он никогда не видел исходного текста, и от этого подруге дней моих суровых было особенно тягостно. Порой отец Евстратий выговаривал ей за те строчки, которые написала Ирина, но жена что-то мямילה, да отец Евстратий и не выслушивал обычно оправданий. А дома — если это можно было назвать домом — были только слезы, слезы и слезы. Ладно еще Петька с Микой были заняты играми друг с другом...

У Ирины был где-то муж, говорили, праведной жизни. Но они живут порознь по согласию, возрастая нравственно и духовно. Он где-то в городе, я понял, в северной столице, устраивает какие-то православные диспуты. Детей у них не случилось. Половину средств от сдачи дома в Ораниенбауме покойного дяди-генерала он аккуратно пересылал Ирине. Иногда она сама навещалась в город Петра, охая и приговаривая, как тягостен ей этот путь, но долг велит и так далее в том же духе. Одежды она носила как раз такие, о которых так мечтала Олечка Попова: старомодный уже во времена Есенина шушун, темно-клетча-

тую толстую шаль, которую надвигала на лицо и, мне казалось, еще и несколько юбок, как носили наши прабабки. Завершалось это все черными мужскими сандалиями.

Я довольно быстро понял, что она теперь будет третьим членом семьи, как в том скабрезном анекдоте про мебельную фабрику, выпустившую трехспальную кровать «Ленин с нами». Игры Петьки с Микой рецензировались Ириньей. На все слова и мысли, которые озвучивались, теперь негласно существовала где-то в пространстве отповедь старосты. И уже не надо было добавлять; а вот она сказала... Что Иринья сказала бы по любому поводу — мы знали наперед.

Суровый график, в котором сна было не более пяти часов, становился еще жестче благодаря неожиданным заданиям на ночь. «Отец Евстратий благословил к утру написать воззвание...» — так обычно начинались визиты к нам Ириньи. То растормошить сельчан перед началом очередного поста, то отвратить приезжих к идольскому Железному камню где-то в соседних лесах, то оформить образец поведения в повседневной жизни верным чадам церковным,— все это было почему-то в авральном режиме и непременно с ночи на утро! Я бы, может, и не особо возражал, но вымыть лишний раз Петьку с Микой, постирать кучу одежды и белья, приготовить на день вперед, чтобы не остаться с одними сухарями, можно было только поздно вечером, после всех послушаний. И вот в такой момент, как правило, появлялась Иринья. А может, это делалось для того, чтобы мы не помыслили никаких любовных поползновений. «Ничего личного», «революция прежде всего» — летало у меня в голове.

Я давно уже забыл, когда ел кальмары с цветной капустой или сациви, шашлыки и ананасы. Пресные тушеные кабачки с поджаренной крапивой, рисовые котлетки — лакомство «Зеркала нашей революции», преданного, кстати, анафеме, да пареная свекла значились в нашем меню. Детей иногда хотелось просто привязать к стулу, чтобы съели и не умерли с голоду. Отец Евстратий, но более даже — Иринья, не приветствовали покупок продуктов — «там штрихкод антихристов», да и в готовом хлебе, который привозили раз в неделю, могло быть что-то намешано.

— Пусть из того же самого, но можно как-нибудь повкуснее сделать, — взмаливался я к жене.

— Ну, что я приготовлю в пост из этих продуктов, — вопрошала меня жена. — Даже приправы нельзя, они ведь тоже со штрихами! Я что-нибудь приготовлю, а Иринья вдруг придет, все расскажет отцу Евстралию — и нас уволят из прихода, как Германа Антоновича!!!

ГЕРМАН АНТОНОВИЧ

Седовласый, как капитан, или скорее боцман, но высокий и весь какой-то светлый. Было в нем что-то от штормов. Шторм был у него личный и девятибалльный. Он потерял сына. Как раз тогда, когда Герман Антонович уехал в Починок и прожил в нем пару месяцев. Сыну было двадцать три. Про жену история умалчивает. Да и выглядел он — как одинокий волк.

Герман Антонович стоял у истоков этого прихода. Это он почти в одиночку срубил церковь, разровнял землю в округе, сложил печь и топил ее несколько месяцев — «сделай мне стези прямые» — как на горизонте появился отец Евстратий. Приютские комнаты для приезжих — это тоже его рук дело. Молчаливый, он никогда бы и не рассказал, что весь город нагородил один. Отец Евстратий скромно умалчивал о доблестном строителе, не отрицая собственного участия. Тем более — сейчас, когда Герман Антонович был изгнан. Мы, наверное, не узнаем и многих других заслуг опального строителя.

Отцу Евстратию, мне показалось, ничья другая слава не была особенно приятна. Добрым молодцам урок — что, наделай и мы здесь дел и начни указывать на себя перстом, особенно перед заезжими и проезжими, — как и нас может постигнуть схожая участь. «Коммерция», «слава мирская», «кичение», «славолюбление», — с укором повторял отец Евстратий.

Так могло быть со съемками. Это всегда было сопряжено с тщеславием и славолюбием. И отчасти — потому, что в конце значились имена. Я ведь неплохо пел, но славолюбия было в этом на порядки меньше — мой голос слышали разве мало на что реагирующий Иегудиил, пара соседей по клиросу и несколько старушек. Иринья? Но после мегаполиса кичиться тем, что какая-то странно одетая особа в мужских сандалиях отметит твое пение, — по крайней мере, странно. И уж, конечно, отец Евстратий не стал бы записывать мое пение, чтобы растиражировать: с его точки зрения, это могло ввести бы меня в грех гордыни.

Герман Антонович менее всех собирался короноваться или напоминать каждую минуту о своих трудовых подвигах.

Я как-то, помнится, заикнулся отцу Евстратию:

— А вот у Германа Антоновича получилось, и мы так бы могли...

— Сделал и сделал, — оборвал меня собеседник. — Здесь много кто трудился. Иконы — и те никогда не подписывались, что же мы каждый раз будем всех поименно перечислять. Идите, Аркадий, с Богом, у Вас достаточно своих послушаний.

— Говорят, как сын-то погиб, отец Евстратий что-то нелюбезное сказал Герману Антоновичу вроде «Бог дал, Бог взял», да чтобы он не вел себя как язычник, цепляющийся за все земное. Ну, Герман Антонович и вспылал, — шепотом поведала мне та старушка, которая рассказывала мне про Игонюшку (кажется, ее звали Нина), — и сказал отцу Евстратию: мол, а ты-то что свою семью по свету раскидал, карьера важнее показалась? — И она почти на ухо мне затараторила: «А жена-то у отца Евстратия смире-е-нная была, — старушка закрыв глаза даже затрясла суховатой головой, — матушка Ксения звали, так в монастырь отправил ее, к сестре двоюродной, на Украину. А детям трудно было. Глаше и Кольке, он еще малой был, только-только шестнадцать исполнилось...».

Этот Колька Евстратын, как я понял, не поехал сюда в Починок, и отец лишил его помощи. А у Глаши было уже четверо детей, да два из них — инвалиды, — понятно, что ни отца толком, ни матери. А родня мужа где-то совсем далеко проживает.

— Только ты всем молчок об этом! — подняла кривоватый палец раба Божья Нина, — неровен час, выпроводят меня на Змеиный хутор, как Германа, а я там не управлюсь одна.

От нее же я узнал и еще одну потрясающую новость. Оказывается, до трассы можно пройти и более коротким путем. Но там лежит тот самый заклятый Железный камень, вокруг которого устроено капище идолопоклонниками. И верующие не ходят той дорогой, боясь отца Евстратия более, чем всех других кар земных и небесных.

— Сюда-то середкой, середкой, ближе к Сухому логу держась, можно обойти, но, чтобы кто не искусил, эту дорогу и знать запрещено!

ТЕСНЫЕ ВРАТА

«Ходите тесными вратами». Некоторые наши прихожане, подходя к деревянному нашему храму, шли не широкой калиткой, а пытались втиснуться в старую, узкую. Особенно комично это выглядело — когда через нее шел некто грузный и застревал. Но какова мотивация! Все равно протиснется — словно бы здесь выдавали билет на вхождение в Царствие Небесное. И словно бы об этой самой калитке и шла речь.

Тесные врата и так были здесь повсюду. Еда без штрихкодов, малоспание, многотруждение, непокидание деревни без разрешения, да еще и нехождение неразрешенными тропами. Как будто нарочно, идти к трассе можно было только через болотце на дальнем пути — авось, провалятся! — чтобы меньше уезжало в «вертепы содомские»!

Еще были неудобноносимые бремена. Множество детей. У нас было подмножество. И всякий раз жена жаловалась на то, что у нас мало детей. «Вам то что, — говаривали ей какие-то тетушки, — а вот у Смирновых (Козловых, Фроловых) — уже девять, а им еще — по тридцати с небольшим». Она тоже побаивалась рожать в лесу, как здесь проповедовалось, без медицинской помощи: оба родились с капельницами. Не будь их — неизвестно, остались бы кто из них вместе с женой в живых. Да и работать на послушаниях с младенцами она не представляла себе возможным: а здесь, в отличие от института, справки не действовали: от послушаний никто не освобождал.

Второе, что ее изводило, — на какие-либо вопросы отец Евстратий отвечал: «Вот когда будет у тебя, как у моей сестры, четырнадцать, — тогда поймешь (узнаешь, сумеешь и т.п.)»

Однажды она даже возроптала, сказав местному отцу, что отец Пахомий был иного мнения на какой-то счет.

«Поезжайте назад, советуйтесь с отцом Пахомием, он мне сказал таким тоном! — со слезами причитала жена. «А если, говорит, он вас прислал сюда, значит, вам должно здесь подвизаться, вас же отец Пахомий прислал сюда, я правильно понял? — что я на это могла ответить!» — уже почти перешла она на крик. «Получается, что мы и с отцом Пахомием уже не можем советоваться, а то отец Евстратий обидится и не будет нас исповедовать...».

Много позже я начал осознать: но ведь нас поймали на удочку элементарной гордыни: ну, как же — уезжают, значит, не справились. Ну и не пошли бы мы потом к отцу Пахомию! Нашелся бы тогда другой, близкий по духу, священник. А нам казалось, что мы должны быть верны тому, кто первый попался нам на жизненном пути: коней на переправе не меняют! Плюс Иринья, отрапортовавшая нам железным голосом: «Иегудиил сказал, что уезжают отсюда только плохие люди, хорошие — остаются!»

Вот мы и старались на полную катушку. На Петьку были возложены и легкая стирка, и какие-то салаты, и усмирение капризного Мики, единственного, кого мы еще как-то жалели. А жалеть кого-либо было все труднее и труднее. Ничего, кроме раздражения, доходящего до легкой ненависти, мы уже не испытывали.

Нынешнему мне, наверное — уже без толку, но очень жаль того очень симпатичного маленького мальчика, на которого сыпались бесконечные подзатыльники и шлепки — он все делал плохо, медленно и неправильно. («А вот у Ларочки старший в этом возрасте блины печет»). При малейшем крике Мики, который прекрасно ориентировался в си-

туации, нарочно вопя громко, доставалось тому же многострадальному Петьке — он же не справился! А наши картонные стены добавляли раздражения: кто-нибудь мог сделать неправильные выводы и донести Ирине или отцу Евстратию. А ведь из Петьки, наверное, мог бы вырасти очень хороший сын. Добрый и отзывчивый, каким он и был в свои пять-шесть лет. Есть один портрет, который я снял телевиком, ища совершенно другой ракурс, но Петька обернулся, и крупные градины слез — это все, что составляло тогда его портрет. Я спрятал фотографию подальше. Но когда доставал ее позже — становилось только больнее: время не лечит.

Еще одно утеснение вводило меня в постоянное, неизбывное удручение. Сколько я ни исповедовался — все равно был, мягко говоря, удручен. Как же мне хотелось съесть что-нибудь совсем другое, из прошлой жизни, из детства! Из столовой номер двенадцать неподалеку от заводской проходной! А мы ведь тогда как только ее не обзывали. Один случай, правда, несколько облегчил мое положение.

Августовским будним днем, но ближе к сумеркам, радостная, прибежала жена. Я молча и со средней силой ненависти посмотрел на нее — Петька с Микой весь вечер оставались со мной.

— Я нашла ее, Аккордеончик! Это она, — говорила жена, ласково прижимая к себе какие-то непонятные злаки — солому или рожь...

— Это снеток, про который отец Евстратий нам толковал, — единственное питание аввы Протасия! Снуть, помнишь?

— Не помню, — назло сказал я. О Боже! Очередная казнь египетская!

— Сны-уть, послушай, созвучно снеди, — заголосила жена.

— Хочешь на стихи положить? Не рифмуется, — возразил я не без тихой ярости. — А может, музыку забацаем, слабаем новый общинный гимн? «Снуть, снуть! Кто съел, тому не нить!» — запел я.

Она, похоже, все-таки обиделась. Но, как всегда в последнее время, не показала виду, а ушла резать сено-солому.

В тот же вечер мы отведали невиданной травы за ужином. Поскольку было уже поздно, дети избежали дегустации. Милостью Божией. Я проснулся часа в два ночи от ощущения, что что-то подкатывает к горлу. Опротетью я выскочил из комнаты. Дальше была сплошная рвота и реальный ужас от отсутствия врачебной помощи «в случае чего». Жена моя оказывается уже прошла подобное испытание и слабым голосом спрашивала — есть ли у нас уголь. Угля не было. Не было ничего на подобную тему. Измученный вид свидетельствовал о том, что ей было не легче. Но произнесла она только одно: «Не вздумай сказать Ирине»

или отцу Евстратию, что мы отравились из-за сметки. Подумают, что по грехам... У них ведь такого не бывает. Скажут: Божья трава — и та их обличила...».

А я подумал: а с чего она решила, что это и есть та самая сныть? Впрочем, решил все же промолчать — может, другое станет готовить, простое, знакомое, человеческое.

ОБЛАКА, И НЕ ТОЛЬКО

Я стоял, опершись на косу, и думал: встретятся вон те два огромных облака или нет. Сенокос этого дня уже близился к концу. Мне даже показалось, что они целуются. До чего я только тут не додумался в полном не-, не— и не-. Я даже впал в суеверие: если, загадал я, эти два красивых, по-северному замысловатых облака встретятся, то и я найду истинную свою подругу и спутницу во всех делах, начинаниях и, конечно, окончаниях. Представить себе нечто неизвестное я не мог — «телевизии» с его программами тут не было, греховных заведений типа театра или еще каких соблазнительных контор — тоже. Поэтому видеть я мог только Марту. Не могу сказать, что я когда-либо умирал от любви к ней. Нет и нет. Но из головы она почему-то у меня в упор не шла. «Ни скота его, ни козла его» не пожелай, ни уж тем более — жены. Это только у каких-то бурятских народов отдают гостю самое лучшее — жену. Хотя свою жену я уже тоже отдал бы кому-нибудь напрокат с удовольствием.

И от такой мысли мне стало еще безысходнее. Представляю, что бы сказал отец Евстратий о таких моих коричнево-фиолетовых мыслях? А еще хлеще — заикнись я Ирине. О-о!

Легкий толчок в бок вернул меня в поле к косе.

— Не след христианину в небо засматриваться, — назидательно мягко и отчасти заполошно заворковал кто-то гораздо ниже меня ростом.

Это был управник по сенокосно-лесоповальным трудам, раб Божий Дионисий. Немного козлячья бородка и томные глаза выдавали в нем застрельщика, преданного делу Евстратиево-Протасиевой партии, как мне однажды здесь приснилось и как это стало у меня в голове отай, как они сами. Да и кому я мог это озвучить?

Сон же был ужасен своей революционной тональностью. Мне привиделся трехрядный хор суровых мужских голосов, поющих как-то особым, на некоем фестивале. «Каких будете? — вопрошал я их на местный манер или, как здесь говаривали, манир. И хор так же хором отвечал мне: «Мы истинные борцы за дело Евстратиево-Протасиевой партии!»

Я стал косить дальше, зная, что этот Дионисий расценит еще, чего доброго, мою мечтательность как прелесть или леность или чего еще.

— Лошадке шоры надевают на голову, чтобы не сходила с пути. Некоторым, похоже, тоже не помешали бы. Ох, прости меня, великогрешного, — часто закрестясь, Дионисий намеренно низко, как можно дальше от лукавого видимого неба, опустив голову, зашагал от меня прочь.

«Коси коса, пока роса. Роса долой, и мы домой», — подумал я в ответ. А что еще я мог думать в ответ на такую сентенцию? «Роса и коса — это отрада в занимавшемся жарком дне». Или с придыханием зашептать после отползания от меня Дионисия: «Искушение!» — как принято здесь в различных невзгодах? Звучит фактически и мыслится как заклинание, которого уж точно творить нельзя. «Усердие и труд все перетрут», — еще добавил мысленно я и замахал косой, чтобы сбросить с себя мысли об управнике, подползшем ко мне, как змея среди косимой травы. Что бы он ответил, если бы я запел ему неожиданно во весь голос старую французскую песню Мари Лафоре: «*Toi, mon amour, mon ami, quand je reve cest de toi...*»? Это было настолько в такт косе, которая, звякая, казалось, тоже подпевала: «*...mon amour, mon ami, Quand je chante ce s pour toi...*»!

ОБЩИННИКИ

Мы тоже теперь были ими. Но они, конечно, — первой, кондовой и верней. Чему я, впрочем, был даже рад. Помимо упомянутых Игонюшки, Нины и раба, несомненно, очень Божьего во всех своих словах и жестах, Дионисия, не говоря уже про Ирину, были некоторые совсем не то чтобы бесцветные, но несколько монотонные, какие-то «одинакие» Николай, Виктор и Вадим. Как будто из одной бригады, причем, тюремного подряда. Серые роботы, понурые взоры — скорее, никакие даже. Вели они себя так тихо, словно хотели, чтобы их никто не обнаружил. Но однажды я заприметил их на полянке, когда бегал в ближний лесок искать убежавшего в истерике Петьку, напрасно обвиненного в Микиных проделках.

Николай, Виктор и Вадим, которых я стал называть для краткости Ник, Вик и Вад — тот, что в ковбойской шляпе, — так же молча что-то варили на костре. Позже, когда Петька был удачно доставлен домой, я озарился мыслью, что делали они явно что-то не общинное. Варили эти трое из ларца явно не похлебку со снытью. Совсем другое. Моя разудалая молодость с киноаппаратом в руках, залезавшая в самые злчные места, подсказала: это была иная трава!

Вот он, язык русский. Зелье — оно и есть зелье. Коренья, варенья, но главное трава-зелье. Неподалеку от созвучия со злом. Трое тишайших, похоже, имели опыт пенитенциарный. Да и рисунки наскальные, о которых еще покойный Атос поведал своим мушкетерам, высказывали порой из-под их одежд.

Был еще какой-то трудник Софония, живший в Починке недолго. Он ходил в подряснике. И я виноват перед своей женой в том, что не защитил ее от него.

Накануне Пасхи, увы, уже на Страстной, мы разучивали с детьми пасхальные песнопения. Длинные, знаменные (а какие же еще могли быть здесь?). Припозднились, похоже. Утром, в коридоре, этот неведомый Софония пригрозил жене написать авве Протасию о наших несвоевременных пениях. «Я пыталась ему объяснить, что мы хотим получше подготовиться к Святой Пасхе. А он кричал, что все доложит авве Протасию, и нас сошлют на Змеиный хутор подвизаться и исправляться» — она рыдала уже в полный голос. И, наставив на меня свои собачьи глаза, робко с умоляющими жестами, просила: «Иди, скажи ему, что мы ничего не имели в виду плохого, что мы только хотели...».

То, что она говорила, шло по кругу, и на меня напала дикая ярость. Я тихо произнес: «Я никуда не пойду. Что ты тут унижаешься передо мной? Твоя каша, сама ее и доваривай. Справься сама хоть раз с серьезной ситуацией. Так и будешь прятаться за мою спину?» — под конец я стал уже подсмеиваться, причем, весьма недобро.

Жена выскочила из нашей картонной будки и что-то в слезах договаривала Софонии, который орал ей в ответ. Я мог бы выйти, но мне тогда так хотелось, чтобы она научилась сама справляться с ситуациями. Но она, похоже, чуть ли не на коленях вымаливала у него прощение и просила не докладывать авве Протасию. Вышло еще хуже, чем я мог предположить.

Через пару дней я видел, как в сторону леса развевался темно-синий подрясник — Софония куда-то убежал с баулом. Вероятно, насовсем.

Была еще Алиса-Каллиста. То есть, в мирской жизни, в светской, она была Алисой, ходила в мини, может, и в мини-бикини, может, и в стрингах. На шпильках под двадцать сантиметров и с глубочайшим декольте. Но в такой глуши она тоже оказалась не просто так. Многие общинники были личности трагедийные. Оказалось, что и мы тоже но — в будущем. Что было у Алисы в предыдущей жизни, все как-то потуплялись, и разговор обрывался, но «что-то очень страшное!» — шептала мне жена.

Алиса взяла себе имя Каллиста, как многие, недавно крестившиеся, малоизвестные имена.

— А так! — уверенно рапортовала Ирinya. — Чем меньше людей с одинаковыми именами у Ангела Хранителя, тем легче углядеть за ними.

— Вот Ларочка, например... — перебила ее жена, — ...она ведь Али-на. По созвучию могла бы креститься Аллой. Но старица благословила искать имя по особенностям жития, и благословила — Ларисой!

— По имени и житие, — подхватила Ирinya.

Слава Богу, — подумал я, — что не стал и вправду креститься воль-киным Амфилохием или Кукшей...

Были еще какие-то отрешенные, с детьми. Топорковы, что ли. Дети были все с редкими именами, наверное, более «древлеправославны-ми»: Капитон, самый старший, потом Трифон, Анфим и Агафоклий — это мальчики. Девочки — Феврония, Мавра и Агафья. Я вообще с трудом мог понять, от чего у них они рождаются. Отец был весьма стра-шен, с углубленным взором внутрь себя, державший голову несколько вбок и вниз, что-то все время пришепетывал. Взор его был настолько яростный, что можно было решить, что он шепчет ругательства. Высо-кие купеческие сапоги, словно из музея или из театрального реквизита, заканчивались почти у бедра. Серый полувоенный френч времен рус-ско-финской войны болтался на его длинном теле, а сверху опускалась густая светлая косматость, закрывавшая его сухое морщинистое лицо. Возле него семенила, косолапя, слегка оплывшая, бесцветная, что да-же и обрисовать-то сложно, его матушка. Всегда в фартуке поверх длинного на резинках со всех сторон платье. Она вообще непонятно куда смотрела. Дети были обычно рассеяны по полям и лесам. Никто их часто не мыл, если вообще мыл. Хотя дети были — не в пример де-ревенским. Видимо, эти Топорковы, побросав в свое время какие-ни-будь столичные университеты, тоже подались вдаль за идеей.

Они уехали вскоре после того, как их десятилетний Анфим так и не вернулся однажды из леса. А отец Евстратий говорил, хором с Ирinya-ей: «Может, жертва была принесена у Железного камня идолопоклон-никами. Так радуйтесь — он, может, мученик!» Но, похоже, плохо по-лучалось у них радоваться (где Олечка Попова с ее «Бог дает — берите, а возьмет — благословите»? пусть сама попробует!)..

— Топорков-старший-то и взял тогда обет молчания, — объясняла мне шепотом та же раба Божия Нина. — Но бес в другом попутал. Были бы в городе — может, впал бы в блуд, а здесь не особо разгуляешься. Пить начал да драться. В деревне у лавки продуктовой засиживаться,

каких-то голодранцев начал учить уму-разуму, да и ему поддадут пару раз. А он потом по всей деревне бегает, за женой да детьми гоняется. Однажды с косой носился, пока деревенские его не связали. После того уехали. А отец Евстратий... — Нина еще сильнее понизила голос, закрывшись рукой, — ...говорил тогда: хорошо, мол, хоть какой крест получишь — это жене Топоркова, Насте, это к лучшему мол, хоть отдельно поживете для славы Божией. Да вот — уехали. Как уж там, кто знат!!

Этот рассказ навел меня только на одну мысль: нас хотят сделать такими же Топорковыми. Чтобы наши будущие Лукерьи с Парфеньями не мылись, не учились и не увлекались «телевизиями». А мы с женой, земно кланяясь, каждый день Божий отстаивали по две службы, а между ними — в такт махали косой или валили деревья да вязали снопы на церковном наделе. «Вот она где Русь-то посконная», — вспомнились мне слова отца Пахомия, теперь мне казавшегося даже чересчур гламурным.

В один из таких дней я выглянул в картонное окно нашей коробки. По проселочной дороге весьма идейно (а как же иначе!) двигалась пара. Оба — по-своему интересные. Она, пожалуй, больше. Чувствовала в ней некая высокая порода. Он был немало талантлив.

— Фома и Фамарь. Этим-то что здесь понадобилось? — сокрушился я.

Его засадили за какие-то писательские труды — сугубо с Евстратием, без Ирины. Фамарь отправили на скотный двор. Узнав об этом, сердце мое упало. Этот Фома — или кто он там был по прежней жизни — производил впечатление человека, отчасти экзальтированного, отчасти — по части себя. Он был восхищен как бы своим даром. Она же, плотно сжав губы, с усердием принялась выполнять поручения. Со стороны это выглядело так, словно балерину отправили к другому несколько станку. Фрезерному.

«...ТАМ ПО ПРАЗДНИКАМ ДОЖДЬ И ПО БУДНЯМ ДОЖДЬ...»

Если бы благословенный дождь! А то — нас преследовала другая, одна и та же, мука — мы ничего не успевали делать для себя. Ни-че-го! Когда мы ждали еще первого, Петьку, то жена купила элегии — русскую лирику девятнадцатого столетия. «Я буду читать их малышу уже сейчас, они ведь очень восприимчивы, ты знаешь?» Я посомневался, в свою очередь, но после этого обнаружил себя в отделе классической музыки и потом на кассе держал в руках диски Баха, Грига и Манфредини. И уже первые месяцы это как-то было перманентно, что мы про-

свещали младенца поэзией и музыкой. Оказывается, это была роскошь! Мика же бегал с палками, как детдомовец или беспризорник. Может, для других родителей это было и нормально. Но мне было больно, что я могу дать столько из мирового искусства, но вместо этого работаю на некие далекие результаты. А мои дети, вероятно, будут совсем другого сословия.

— Мне некогда даже начать шить одежды! — восклицала жена.

Еду варить приходилось, но это уже был вопрос жизни и смерти. А уж какие тут старинные наряды и плетеные лапти — когда бы мы их стали плести? Службы, а зачастую еще и ночные, «для умервщления плоти», распевки, ручная переписка-перерисовка крюков, занятия с общинниками, да еще лесоповал с сенокосом, еще что-нибудь, что придумает отец Евстратий. У жены — листовки, писанина бесконечная, те же службы, да еще церковные огороды.

Как-то вечером она прибежала возбужденная:

— Представляешь, отец Евстратий хочет пошивочную мастерскую, чтобы мы всем пошили общинникам одинаковые одежды! Мы будем разрабатывать модели!

— С Ириной? — спросил я недобро.

— Она лучше знает дух, который стоит передать в этом.

— Конечно, кто же еще...

— Тебе надо исповедоваться в недобром отношении к членам общины.

— Я что — в тоталитарной секте?

— Как ты можешь так говорить про отца Евстратия, который столько для нас сделал!

— Скоро ты останешься одна. Как Топоркова. Или Иринья. Ты ведь не знаешь, почему сюда не показывается ее дражайший высокоправедный муж.

— Мы должны во всем поучаться у них, а ты...

— Что — я?

— Устраиваешь гражданскую войну в семье!

— Может я Марат, или Робеспьер. А то и Керенский. Или все вместе.

— Это богохульство.

— На кого хула? — мне кажется ты подменяешь Бога Евстратием с Ириной.

Это модель диалога, который был в моей душе. Орать здесь было нельзя. Говорить громко — означало переезд на Змеиный хутор. Или вовсе за пределы лесов, о чем уже тлела возгоревшаяся искра в моей

душе. Но я тогда еще не был уверен, что буду прав, бросив собственный почти задел. Да и жена не поедет. Значит, она будет совсем здесь погибать одна, а дети превратятся в брошенных. Мне она их не отдаст. Да и какая карьера может у меня получиться с детьми на руках...

Я что-то буркнул вместо этого в ответ, и через день уже жена засела за швейную машинку в деревянном бараке.

Летом-то — еще ничего. А вот к зиме поближе — холод, как и голод, за порог не выбросишь. Как пришел — не отвертись. А в пошивочном бараке, где она стала засиживаться — и вообще невозможно. Начались болезни. Дело известное: пришла беда — отворяй ворота.

— Кто виноват? — раздраженно вопрошал я. — Сама, не надо было плохо одеваться. Надо было одеваться теплей.

— Да не в температуре дело. Мне бы к врачу, — робко возражала жена...

— К врачу-у-у? — злорадно вопрошал я, — о, а кто с самого начала хотел жить естественным образом, по воле Божией исключительно, что не несем тягот уже, кресты сбрасываем, — нагонял я жару.

Но она уже молчала и шепотом перебирала какие-то молитвенные строчки. А меня просто обуял легкий ужас. Денег нет, врачей-специалистов — подавно, детям еду надо варить. И все — я один, пропади все пропадом. А еще ночные моления и воз накопившейся стирки. Один мешок с бельем мы уже недавно выкинули — не вовремя постиранные вещи, Микины, в частности, пропали окончательно.

— Молись, — пожал плечами я, — ты ведь умеешь? Молитвы разные знаешь. «По вере вашей да будет вам...» — вот и докажи истинность Православия, а я посмотрю, чему ты здесь научилась.

— Ты издеваешься? — неожиданно и с внезапной яростью, хотя и тихой, произнесла она.

Я не издевался. Мне просто самому стало впервые по-настоящему страшно. Жалость и ужас, перемешанные друг с другом, ужасны по своей сущности. И как в одном известном рассказе классика, мне вдруг захотелось добить ее. Такие вспышки ярости и льда приключались со мной в суровые времена все чаще. И страшно мне стало, в том числе, и от себя тоже. Я схватил себя за руку, за горло, за душу. Стоп, еще раз другой, и я, как Топорков, начну гоняться за ней вдоль и поперек деревни. Меся грязь босыми ногами, в одних кальсонах, или — как теперь — утопая теперь уже в снегах, в рабочем цвета советских подъездов ватнике, по самые чресла. А разные местные Игонюшки и рабы Божьи Каллисты да Ирины — восклицать: «Охолони его, охолони!». А рабы неизвестно чьи — деревенские — с хаотичной, не дружащей с внутрен-

ними эмоциями, мимикой на лицах — грузиться пирамидальными то-полями вдоль деревенской улицы и, не мигая, смотреть, как свои же управники Дионисии да Софонии играют со мной в догонялки и вяжут затем толстой вервью. И никто не пропоет мне с иронией из Robby Williams: «Get on your knees!».

А где-то жили красивые люди. В твидовых и драповых труакарах чинно стучали каблуками по Набережной Туманов. Засиживались в научных библиотеках Люцерны и Кельна. В той же нашей Театральной на Пушкинской. Или научной ЭМГЭУшной — на Моховой. Замирали у полотен в Лувре. Или в Сикстинской капелле, под звуки григорианского хора.

«Gloria,» — вдруг пропел я. — «in excelsis Dei».

Жена, еле живая, даже поднялась на локте:

— Ты с ума сошел? Нас сочтут вообще за еретиков.

— Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, — вдруг повторил я.

Интересно, а если я побегу сейчас к отцу Евстратию и начну ему по-латыни что-нибудь напевать, даже если это будет всего-навсего «Mirabelle futurum»? Впрочем, он может ведь и не понять, что это латынь. И от этого мне стало еще печальней. А вот светский и не приближенный особо к религиям Волька — понял бы.

Руки, привыкшие к аккордам, искали деку, но растущие не по дням, а по часам мозоли все меньше отвечали инструментальным фиоритуррам.

Я бы сыграл. Даже может, спел еще чего. Видимо, запрет так действовал. «Где больше строгости, там и греха больше», — как же мудр был сказавший, и это — Феодосий Печерский!

— Ты помнишь песню английских моряков про Синтру? — спросил я жену.

— Ты рехнулся?

— Ты, наверное, уже слова-то забыла. И голос у тебя сел.

— С чего ты взял? Тогда спой!

— Позже.

— Ага, может в лесу только, пойдем спрячемся. А местные пусть бегут к Ирине — доносить, что мы к Железному камню пошли...

— Побегут за нами.

— Именно, подслушивать. Соблазнятся еще, чего ради...

Она, закрыв глаза, но скорее от болезни, пропела почти шепотом belcanto начальную строчку.

Где это все? Куда ушло? Я был готов вослед за Лемешевым возопить: «Куда, куда вы удалились...». Передо мной была стена барака

«Дома труда и усердия», гвозди с нечистыми полотенцами и прихватками, за стеклом — могучий лес. Именно — как в другой песне: «Суро-о-овый лес стоит стеной вокруг!».

В надвигавшихся сумерках, когда свет темневшего зимнего неба в полутемной комнате прочерчивал сквозь окно дорожку снежного света, сердце сдвигалось с места. Оно делало шаг. В электрически яркие живые вечера на Маросейке. Где французский баритон смешивался с сопрано под переборы борькиной Martinez. «*Mais je ne pourrais jamais vivre sans toi*», — напевала Марта леграновскую песню из «Шербурских зонтиков». В воздухе носился крепкий аромат Camus Napoleon и пресловутой курицы-по-генуэзски. Звуки счастья, цвета радости, эскизы тех сумерек, переходящих по вилке крещендо — к полету мысли, отточенному мастерству, упоению творчеством.

Вечера на Маросейке не оставляли в покое мой блуждающий, грустящий мозг. Но треск разгоревшегося, наконец, мокрого полена возвращал меня в Починок. Я брал клюку и поубористей укладывал дрова в шведке. Попутно размышляя, где же этот мост, эта дверь в то Время, именуемой мной теперь как «французский на Маросейке»...

УКЛАД

Мы себя словно бы сослали в добровольную ссылку. В голове моей роилось множество строчек на эту тему, ну и «Это сладкое слово Свобода», в первый раз прочитанное мной в журнале «Экран» семидесятых годов. Как же давно и неправда это было! Я тогда еще усмехнулся больно уж слащавому, на мой взгляд, слову «сладкое» в сочетании со «свободой». Сейчас мне ничего не нужно было редактировать в этом словосочетании. Время отредактировало. Причем — мою голову.

Временами случались общинные посиделки. Редкие, по самым большим праздникам. Можно сказать — на Пасху да на Рождество, вот и весь сказ. После Литургии мы тихой смиренной колонной шли в уютское помещение. Творили молитву, затем рассаживались по лавкам. Во время первого и второго блюд пренебреженно какой-нибудь Дионисий приговаривает всегда одно и то же: «шти да каша — пишша наша». Кому-то предлагают второго, а та взвизгивает: «Ой, не заслужила!» — и отказывается.

Затем переходили к чаю. Тут происходили и словопрения, обычно воззванческого характера.

«О-о-й, а вот что дела-а-ать, отец Евстратий, раба Божья Зо-о-оя редко бывает на Всенощно-о-й!», — гнусаво стонет кто-нибудь с противоположного угла стола. «Как так», да «почему», «Вы мне подсказы-

вайте, я ведь не все знаю» — тянет в ответ предводитель собрания. И начинается если не хоровое суждение, то чье-нибудь вынужденное покаяние публичное. От некоторых подробностей хотелось спрятаться под стол. Да больно он неудобно сделан, голова застрянет среди шероховатых досок.

Ну, при чем здесь Зоя? Всегда ищется какой-то громоотвод. Но — это тот же страх, в котором, как известно, нет Любви. А страх — понятен. Только бы не меня сослали на хутор. Да и мало ли еще на какую заимку!

А потом начинается мучение. Раздают листки. Опять какой-нибудь Игонюшка, или Данилушка, или еще пуще — мать Митродора, написали песнопение. И начинается хоровое запевание. Отлынить не получится. Та же Иринья или Дионисий управник поставит на вид. Петь надо громко и с душой, как на партсобрании. На глазах обязаны проступить слезы умиления. Почти как у Нерона на его сольных экзерцициях. «Как во городе было во Казани...» или «Кудеяр-атаман». Неужели это моя жизнь??

После одной из таких вечеров я убрел в лес. Сел у хвойного древа и понял, что не хочу идти назад. Ни лихоимцы лесные, ни рыси с мишками косолапыми не были мне так страшны, как неумолимый, и отчасти какой-то бутафорский уклад. Я не такой, и никогда таким же не стану. Ведь Господь создал нас разными! Для сотворчества, для радости. Не для того же только — чтобы изо всех дел и занятий на земле было кошение травы, валение деревьев и пение по листкам бездарных кантов. Вот бы увидела меня сейчас Марта! Или Волька с Эдом. Борька — тот вообще бы, наверное, не понял. «Аркадий, ты чем вообще занимаешься?» — спросил меня этот хвойный бор, и я не знал, что ему ответить. Ясно говорит только тот, кто ясно мыслит. А не уворачивается поминутно от Евстратиево-Протасиевых выстрелов.

«O-oh, what are you really looking for?» — вспомнилась мне строчка из «Supreme». Тоже любовь, но другая совсем, хотя и совершенная. Я даже напеть ничего подобного здесь не могу! И сколько времени вообще ничего не снимал...

А где-то ведь есть Аддис-Абеба, Острова Зеленого мыса, или вот, например итальянско-швейцарское озеро Комо — есть все это или нет? Это небо, в окружении высоких деревьев, наверное, не знает, на других широтах — другие небеса. Но Он — знает. Что есть, но не для меня почему-то. А почему кстати? Надо все же съездить в город.

ПОХОД В СОДОМСКИЙ ВЕРТЕП

— А что хорошего может быть в городе? — допрашивал меня отец Евстратий, когда я следующим же утром пришел к нему в кабинет.

— Родителей надо повидать, болеют, — соврал ему я. Не мог же я ему сказать, что надо взять хоть какой-никакой заказ на работу. В фотожурнал свой заглянуть. Тем более работы — по части «телевизии»!!! Двойной грех.

— Да оставит родителей, и прилепится к жене, — скороговоркой сказал он.

— Но у отца операция была недавно, — это была чистая правда, хотя и времени здесь уже прошло непонятно сколько.

— Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, сказал Господь, — и, вслед за Ним, повторил отец Евстратий. И это — о моих родителях! Я сразу вспомнил Германа Антоновича.

Увидев мой разъярившийся вид и, видимо, памятуя о реакции опального строителя, он смягчился и произнес:

— Три дня достаточно, думаю.

Я был несказанно рад и этому! Стремглав вылетев из кабинета, я побежал собирать вещи — я мог еще успеть на автобус.

Полтора часа до райцентра через дремучие леса вокруг дороги, ночью здесь точно страшно. Днем — очень вдохновенно, если ты путешествуешь сам собой. Дорога совсем разбитая, в ливни и распутицу с талым снегом — не проехать. Все словно специально отрезано от Большой земли.

ПАЗик качался в такт старой эковской песне, которую пел второй муж тетушки из Калуги: «Я знаю, меня ты не ждешь. И писем моих не читаешь. Встречать ты меня не приде-е-ешь, а если придешь — не узнаешь...»

Только вот это не «проклятая Колыма», а Северная Фиваида — древний Русский Север... Но меня тоже узнать сложно. Да и когда я в последний раз видел себя в зеркало? У нас его просто нет! И не только у нас. У Алисы-Каллисты — тоже. У Ирины — подавно. Не говоря уже о Дионисиях с Игонюшками.

— В зеркала наблюдать? — любил вопрошать лесо-хозяйственный управник. — К земному пристращаться? Тление украшать, бесславное и безобразное?

После этого никаких зеркал и одежд не захочется. И вот такой-то я, ладно не в лаптях, прибуду к Эду, Вольке и Борьке с Мартой.

Замухрышистый по сравнению даже с областной какой-нибудь Калугой райцентр потряс меня. Я зашел в вокзальный туалет, и, когда во-

да полилась, горячая! — мне на руки, вместе с ней полились и мои слезы.

«Можешь поплакать, спокойно поплакать, Кто разберет, где вода, где слеза» — пели в моей голове строчки уже иеромонаха Романа. Время шло, надо было выходить из WC, а я выпал из текущего времени.

Я в свое время, конечно, нафантазировал. Дорога до Москвы получалась дольше. От райцентра, который обрушил на меня невиданное море звука, чужих китайских наушников (я понял, в какой тишине я жил: «Молчание — начало Богомыслия»), до областного города — еще часа четыре уже на другом автобусе — нормальном, двухэтажном. К тому же, я не учел, что расписание не совпадает. От автобуса из Починка до следующего автобуса — часа три как минимум. А предыдущий уходит буквально за десять минут до прибытия автобуса из нашей деревни.

По тротуару стучали каблуки, ревели моторы каких-то гоночных мотоциклов, хотя и далеко не Kawasaki. Какие-то люди обнимались прямо на улице — я так отвык от такой картины вокруг себя!

«Милый, я никак не могу найти покрывало в тон нашему коврику», «Ага, давай сегодня ближе к ночи на хазе у Крота, только «кирила» прихвати», «Ты на сколько сдал эстетику? Реферат писал или отвечал Панкратычу?», «I don't live, if living is without you» — Мэрайя Кэри. Я понял, что напрягаюсь, силясь обработать в голове все сразу. Ну, ладно, думал я, хоть потренируюсь перед Первопрестольной.

И — зеркало! Боже мой, что я в нем увидел! Страшный какой-то крестьянин, с всклокоченной бородой, с морщинистым лицом и мешками под глазами — а я еще Топоркова ужасался. Но ведь это совсем не я! Мне двадцать шесть, а этому — в Зазеркалье — сороковник.

В парикмахерскую, срочно! Но мне тогда может не хватить на билет, да и есть тоже хочется, причем, что-нибудь в кафе!

Еда оказалась приоритетней. И я побрел в какую-то «Элегию». И через несколько минут уже трясся над бизнес-ланчем, самым дешевым из двух возможных вариантов. Харчо и голубцы показались мне райским наслаждением. Я начал чувствовать, что засыпаю — уже год я не ел ничего подобного. Вовремя встрепенувшись, я понял, что скоро мой следующий автобус.

Дорога до области была глаже, цивилизней, я словно попал после Починка на немецкий автобан. Продремав добрую половину пути, я обнаружил высадку пассажиров. Все. До Москвы — подать рукой. Но поезд, самый дешевый, будет только утром, хотя и на самом рассвете, и идет не менее семи часов. Я стал соображать — и понял, что в три дня

могу не уложиться. Либо, выйдя с поезда, тотчас снова садиться в него.

На вокзале так смотрят на бомжей или сельчан из дальней глубинки. Нормальные люди от меня слегка сторонились. Это я сразу заметил. На какие-то мои элементарные вопросы и вовсе не хотели отвечать. А одна молодая вульгарного вида мамаша и вовсе сказала своей дочке двух-трех лет: «Уйди, видишь, дяденька пьяный!». За год я тоже опустился. Не только моя жена, от которой я начал уже понемногу сторониться и на ее притязания с супружеским долгом отвечать, что — то устал, то правило еще вычитывать буду, то еще что-нибудь. Я и сам ушел от нее недалеко.

Всю дорогу в поезде я соображал, как мне успеть скомпоновать время. Найти нормальную одежду, сходить в парикмахерскую, забежать в свой журнал к Фимычу. И главное — нужны были деньги. Я уцепился за эту мысль. Это — достойная причина моих частых наездов в Москву, не смогу же я оставить семью вообще без денег!

«МОСКВА, МОСКВА, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ КАК СЫН!»

Эти строчки декламировала одна девушка, поступавшая со мной в институт. Расхаживая по институтским коридорам, раскинув руки, заклинала Москву взять ее к себе. Кажется, получилось, хотя и не в тот же год. Теперь это постучалось и в мою голову.

Сгонять к родителям в дальнее Подмосковье я явно не успею. Смогу зато позвонить и поговорить вдоволь. К кому я тогда поеду? Я набрал Эда.

— Эдик только что ушел в спортзал, перезвоните часа через полтора, — ответили мне какие-то люди. Он что — женился? И не сказал! А как он мог сказать, если связи в Починке нет? Вот так еще раз приедешь, а тебя уже и не знают...

Волька зато взял трубку сразу, хотя до него прежде было не дозвониться.

— Что Вы хотели? — спросили на том конце провода.

— Волька, это я, Аркадий! — заорал я, боясь, что он сейчас повесит трубку. — Я буквально на день!

— Аркадий Владимирович! Ты жив? Едь, только мне надо уснуть хоть на пару часов, я только что с самолета...

Это было сродни счастливому билету. Я отчетливо понял, что приезжать мне некуда в Москву — своего причала здесь теперь у меня не было. Все время придется теперь напрашиваться к друзьям — помыть-

ся, побриться, переночевать, позвонить, и т.д. и т.п. Этого я раньше не учел. Учитывать было не за чем. Я уезжал почти навсегда. Навсегда?

Головокружительным запахом кофе, откуда-то с Фолклендских островов, французских духов и старинных книг встретила меня Волькина квартира на Соколе. За окнами — шумящими деревьями, не под стать нашим лесным, но такими родными и любимыми. У самого входа стояли чемоданы с авиабирками ALITALIi...

— К знакомым в Рим слетал на недельку — на премьеру их фильма. Вытащили-таки меня из кабинета. Ну что, где посох оставил? Хвост еще не вырос? Как пережил весеннюю линьку? Все вместе линяли — всем лесным сообществом?

— Мне бы в горячую ванну...

— Ты что, год не мылся? Бедный, я так и подозревал, ладно, давай беги, а я тефтели пойду приготовлю, у меня, кстати, есть неплохой коньяк, — и Волька театрально зажал рот рукой— или тебе нельзя?

— Можно, старина, все мне можно, но — сам знаешь — осторожно.

Сейчас бы я не понял Архимеда. Объем воды, сделавший меня невесомым, как космонавта, снял все мои грустные движения сердца — как дирижер рукой снимает последний звук у хора, как бы зажимая в своем кулаке. Какие тут формулы и эксперименты? Я словно летел в этой ванне по небу. А на самом деле — сидел в некоем параллелограмме с жидкостью на девятом этаже сталинки. Но в душе моей, в голове, во всех частях тела был один сплошной полет. Так я одичал и устал за прошедший год.

Коньяк довершил дело. Я забыл, что завтра вечером мне — обратно.

— Что твоя Уссурийская тайга? Как братья-тигры, все вымирают? Главное, сам не вымири, это моя личная к тебе просьба. И, — сакцентировал Волька, посерьезнев, — как ты мыслишь свое будущее, прежде всего, в плане профессиональном? Может, к Фимычу заглянешь?

— Именно это я и собираюсь сделать... Дензнаки требуются.

— А что с ними там делать? У вас там, кроме продуктового магазина, какое-нибудь приложение им есть? Ну, я не говорю, чтобы там уобра что выменять. Струю его, скажем. Ты кем вообще работаешь?

Я взял паузу. Что я скажу однокурснику — о лесоповале и сенокосении, о коммунально-церковном хозяйстве? О картонной коробке, в которой мы живем, и отъезжающей от меня на всех парусах жене? И о том, что я моментами, не всегда, но в секунды малодушия, готов бежать через любые дебри с камнями, железными или деревянными, да и

в Москве мне привычно. Как рыбе в воде. Именно. Как это и наблюдал я в ванной. Какая профессия! А про гитару лучше вообще молчать.

— Не хочешь — не говори. Лесорубом, наверное, или пастухом. Там больше нечем.

Я, пытаясь держаться браво, поведал о трудовых подвигах, удивительных ракурсах и как-то обмолвился о собраниях, что-то меня занесло на эту скользкую тему.

— Так это типичный ленинский зачет, только наоборот! Когда выходишь к доске и отчитываешься перед всем коллективом о плохих и хороших поступках. Наверное, твой Евстратий хорошо усвоил практику комсомольской жизни...

Нас прервал звонок.

— Борька, сюрприз, поговори с моим гостем! — Волька через минуту беседы сунул мне трубку.

Каровские отдыхали на Лазурном побережье Франции, вернувшись незадолго до этого из Канн. Я со свойственным мне теперь удивлением пахаря изумлялся про себя: от чего же такого они отдыхали? А дальше я подумал, что не справлюсь со своими чувствами, когда так же порывисто в нашу беседу соловьем влетела Марта. «Ты нас совсем покинул, лесной подвижник? Через месяц вернемся, смотри не пропусти, а то опять нас не будет в Москве полгода...» — Эти слова так и отдавались дивным эхом в моей голове. Половину Волькиных фраз, не без его иронии, я пропустил.

— ...и тогда я заблужусь и сяду на тропе. Как поляк сусанинский. И ведь не добреду до тебя?

— Что? Куда? — я попытался поймать нить Волькиного рассказа.

— Ясно, тут сказке конец, а кто слушал — молодец. Ты, наверное, устал, иди приляг — вечером посетим какое-нибудь культурное место.

Волька предложил мне сходить в литкафе — там сегодня презентовал свой новый сборник наш однокашник Д***.

Сходя вниз по крутым ступеням, я с ужасом понял, что мне здесь стало казаться тесно. Я, имевший там, в Починке, не то что бы собственные «золотые горы», но необъятные леса с плотностью ноль целых два десятых человека на квадратный километр, ощутил себя почти как в западне. Я долго думал, где бы мне примоститься — я искал движение воздуха — все остальное было в сигаретном дыму.

— Мила, — протянула мне руку незнакомка.

«Она на параллельном потоке была, не помнишь, тоже в своем роде звезда», — шепнул мне Волька. Еще бы не звезда — ее характер так

и бьет отовсюду, как баба копра или клин-баба, но это я в лучшем смысле, а не в ...

— Он не курит и не пьет, — поспешил упредить Милу и остальных окруженцев представивший меня Волька.

— Тяжелый случай, — парировала вместо одобрения звезда параллельного потока.

Такой правильный я здесь никому не интересен, конечно. Да, пожалуйста, красный-зеленый, вправо-влево, извините, будьте великодушны, ни в коем случае, и т.д. и т.п. Я уловил общую мысль Милы: в этом нет жизни. А зачем тогда и было сюда приходиться.

На сцене уже появился утонченный брюнет Д*** в крутом прикиде с лицом, абсолютно не присутствующем здесь. Он начал читать. Хорошо ли — плохо ли, впрочем, мне многое понравилось (это далеко не строчки моей жены!). Интересно, сколько народищу к нему сюда набилось на выступление! Это уже успех, когда к тебе уже тащится такая толпа народа. Ему ведь столько же, сколько и мне. Но что я сделал за прошедший год? Для себя? Где мои кадры? Все сожрал страх, и все потонуло в глубоких водах общинного мировоззрения. Надо выкарабкиваться, — решил я, — и, не имея возможности съесть, выпить или покурить, едва протиснулся к выходу.

— Ты нервный какой стал! — услышал я за спиной голос Вольки и следом — раскат аплодисментов и гомон одобрения. — Побежал куда-то! Поэзия тоже тепер ь— под грифом секретно?

— Я устал с дороги, дышать нечем.

— А как же, после экологически чистых-то дебрей.

— Да и позвонить Фимычу надо, он допоздна засиживается в кабинете.

— Дерзай, — согласился Волька. — Как добраться до меня, помнишь.

Через час я стоял уже в привычном мне коридоре и ждал отлучившегося на ужин бильд-редактора.

Как же я соскучился по своей прежней естественной жизни! Мне улыбалась Марина-секретарь, налившая аппаратный кофе, придвинула Дор-Блю, один запах которого втравил меня в воспоминания различных наших прежних посиделок. Сейчас, правда, воды уже успело утечь немало: Каровские не вылезают из-за границ, Эд женился, и его держат в строгости. Один Волька остался, и то неизвестно насколько, и куда его еще может унести житейская волна.

— Арнольд Ефимович будет уже скоро.

А чуть позже поинтересовалась:

— Что Вы думаете о нынешнем индексе Доу-Джонса — если дело так пойдет, сколько будет стоить тогда баррель?

Ни про нынешний, ни про позавчерашний индекс с баррелями я не знал, «телевизии» давно не смотрел и, похоже, беседы поддерживать теперь уже не смогу. Я живу в параллельном мне мире. Мир — сам, я — сам. Баррель меня ничем не зацепит и не догонит. Есть он, нет — у меня только дождь и снег. Ну, только бы коса нормально косила и пила остро пилила, да дерево бы падало куда надо. Вот бы я им сейчас рассказал, что идти к автобусу можно только давая огромный круг, а то меня заметут, если коротко через Железный камень пойду. Вот, кстати, что бы снять! — осенила меня мысль. И что втискиваться принято в узенькие калитки, а широкими воротами не ходить. Это как если бы я сейчас пытался пролезть на корточках в отверстие между тумбочками под столом, вместо того, чтобы войти в широкую итальянскую арку кабинета Фимыча. А перед разговором с ним о деле — во всю редакцию запел бы «Царю Небесный!». Я прочитал все эти молитвы тихо про себя, идя на встречу. Но Евстратий с Ириньей непременно сочли бы это за лицемерие. Не говоря уже о Волькиных шмотках, которые я натянул на себя — моя прежняя одежда совсем износилась.

Швырнув звенящий брелок на широкий стол, вбежал Фимыч.

— Давно бы так. А то пропал совсем, — замурлыкал он на свой лад. После общения с местными и приезжими починковцами мне его голос показался уж вовсе нетрадиционным. А шейный оранжево-лиловый шарфик — и подавно. О-о, как жаль, что эту картину не видит Дионисий-управник!

— Я же не здесь теперь. Мы уже год с семьей как подались в северные леса на натуральное хозяйство.

— Ой-ой-ой! — жеманно застонал бильд-редактор, — подавай им натурально-традиционное все, — словно в такт моим мыслям, заерничал он. — Натуральное тело, натуральный дух, натуральный трактор и петух...

Как-то я раньше не дергался от сентенций своего работодателя, а сейчас перестал себя узнавать. От таких интонаций моя жена вообще бы пулей выскочила из кабинета. ...Кстати, про петуха, это он — в точку...

— Там есть что снять, есть несколько тем...

— Смотри, дружок, — Фимыч проникновенно взглянул мне в глаза, и, сев на своего конька, понесся по своим идеям.

Я был готов простить ему все его манеры, особенно — после того, как он вручил мне аванс.

— Испугались трудностей. Сбежали, — театрально, глядя в непонятную даль, не слушая меня, заключил Фимыч. — А-га, а-га, понятно.

Я не стал его разубеждать, да его это и не волновало.

Трудности! Особенно столичные очень трудны, если сравнить их — с мытьем в крохотном тазике у чадящей печки, строгоядением, как я про себя все это называл, малоспанием и непонятно каким образованием детей.

— Там есть такие редкие индивиды — всякие запощеванцы, маргиналы, с виду так вообще упыри лесные, ты бы их нашел, было бы здорово.

Это почти мы. Видел бы меня Фимыч сразу по въезде в город, а вернее, сразу по выезде из Починка! И это только еще год пребывания! Я смело мог бы снять себя, когда зимой в эковском ватнике и шапке-ушанке, ровеснице моего деда, я колю на тридцатиградусном морозе дрова, весь в инее, с серебристой бородой, в огромных валенках с галошами — он бы меня точно не признал.

— Как часто ты сможешь приезжать?

Я был готов и не уезжать. Но это было невозможно. Слава Богу, что хотя бы есть по старой памяти дело, ради которого я смогу сюда ездить, а там посмотрим...

Я вышел и спросил себя: «Дружок, а ты как умудрился довести себя и свою семью до почти полунищенского существования?» Меня передернуло, когда я вспомнил про капусту, тушеную на воде с овсянкой — мало того, что Великий пост, так еще и еды другой нет. Как я чуть ли не привязывал Мику, рыдавшего над тарелкой, к стулу, чтобы тот не умер с голода.

Что-то знакомое проглядывало в этом. Точно! Моя мама рассказывала, как они с отцом после своих блестящих институтов рванули поднимать Целину. Им предлагали распределение в городе как отличникам. Но — нет! На Целину! В бараки! Начать все с нуля! Догнать и перегнать! Доказать всем и каждому! Что-то в этом есть очень уж родное и близкое...

Мне кажется, что мы их превзошли. На этой мысли у меня возникла идея успеть заскочить завтра в наш храм к отцу Пахомию, благо от него не так далеко до площади Трех вокзалов.

В РОДНЫЕ ЛЕСА

Просыпаясь, я услышал родной шум машин на Ленинградке. И на какой-то момент мне показалось, что все это, годичное, — все Починки

с Евстратиями мне просто приснились. Вскоре последовало суровое пробуждение.

А с кухни уже неслись знакомые запахи яичницы с ветчиной и мощный аромат кофе с перцем. Из зала — гитарные импровизации Сантаны.

— Домашний ресторан уже открылся, вам кофе — прямо сюда, или в ванну, как древним римлянам?

Волька, напевая и сверкая линзами, носился по своей огромной квартире, в которой даже была комната для прислуги. Я бодро соскочил с тахты — надо ведь еще к отцу Пахомию успеть!

— Пожалуйста, в следующий раз, когда соберешься в Москву — не иди пешком с посохом и в холщовом халате! Пейджер что ли купи, где-нибудь поймашь связь.

Да, пожалуй, если я заберусь на сосну — может, что и выловлю.

Отца Пахомия я не застал. Он уехал в паломничество во Францию. На этом месте повествования сторожа меня чуть не хватил культурный шок.

— Отец Настоятель должен и здоровье поправить, все же там и море недалеко.

Тут меня осенила мысль: может, он с Каровскими там, на Лазурном берегу, соседствует по номеру! Отлично — нас, значит, в глухомань, на некое подворье, подвизаться труждением и пощением. Ну, допустим. Еще интереснее была другая информация. Олечку Попову, с ее «берите-благословите», сосватал богатый финн, и она, в недолгое время переменившись в облике, уехала с ним в одну из европейских стран на ПМЖ. Ларочку с ее детьми бросил муж, и отец Пахомий отправил ее на лето в какой-то монастырь — то ли в Липецк, то ли в Курск. Ну, только что не в Леснинский монастырь, и не в Горний. Значит, ей тоже для углубления было всего предыдущего мало?

Я вспомнил эту зиму и скулящую фразу своей второй половины: «мне бы к врачу». Какое у нас может быть поправление здоровья. Крем — и тот под запретом. «Смысл?» — безапелляционное парирование отца Евстратия. Ну, конечно, о чем речь? Крем — это же косметика, духи — это духи злобы поднебесной, вот и все дела. Я обнаружил себя стоящим с баулом посреди церковного двора, утопающего в цветущих клумбах, точь-в-точь как в тот раз, когда отец Пахомий протягивал нам вместо воображаемых билетов на лайнер поездку в заросли Северной Фиваиды, подале от «вертепов содомских», в сторону которых он сейчас сам и укатил. Молодец! Что еще мог я сказать на это.

Храмовые тетушки — прислужницы в трапезной, узнали меня и пригласили на обед. После расспросов, на которые я, кстати, отвечал весьма скупо, мне подали роскошный борщ, за ним — салат и форель с овощами. Шоколадный кекс с цукатами и крем из маракуйи окончательно свели меня с ума. Это был пусть и не строгий, но постный средовский стол. Я сравнил его с многотрудным пощением и похлебкой из сныти. Будничный постный обед был — как пасхальный в Починке.

Любимая работа, Марта, музыка, деньги, еда, образование, — вертелись по кругу в моей голове, пока я пересаживался с транспорта на транспорт, упоение дорогой восстановило в моей памяти путешествия в не далекой пока еще юности... За окном проплывал перрон, на котором мы с одной московской группой, ночью, сидя прямо на асфальте, играли блюз и кантри. Какое — теперь! Только песнопения глухих деревьев — нет, я не против, а очень даже за — я с удовольствием слушал, когда одна знакомая Ариша ездила по деревням и привозила этнические находки — песни русского Севера. Но это — совсем иное. А когда бездарные и безвкусные стихи, еще хуже, чем у жены, написанные недавно неведомыми Кондратушками и Февроньями, приходится нести через всю душу, это — извините. Невозможно обмануть себя. Если за такие сочинения и я, и мои единомышленники поставили бы только «два», то разве можно это еще и озвучивать??

Слава Богу, что в Починок в гости никогда не приедет Марта с Борькой. Увидев, что я пою и в каком сообществе, она, пожалуй, даже по телефону перестанет со мной разговаривать. За окном пролетали кадры, но поймать их я не мог — не собственная машина, на паузу не нажмешь, не выйдешь. Только в областном центре я, дожидаясь скорого своего автобуса, немного оторвался, наснимав сразу целую серию — правда, не запощеванцев, но довольно необычных кадров. Я понемногу начал приходить в себя.

ДРУГОЙ ДУХ

Иринья со мной впервые не поздоровалась, Дионисий управник как-то закашлялся вместо приветствия. Я не сразу понял, в чем дело. Борода! Я же ее подправил немного в городе. Да майка эта Волькина разухабистая, которую он мне отдал — мое не все высохло перед отъездом.

— Когда человек приходит, вместе с ним приходят его добрые ангелы и злые демоны, — первое, что сказал мне отец Евстратий при встрече, — в соблазнительных местах дух ослобоняется при сдаваемой борьбе с искушениями. Где брешь, туда и устремляется тот, кому имя

— легион. Надо сейчас попоститься, помолиться сугубо, может, на какое время на хутор даже переехать одному, для богомыслия и утешения бунтующего сердца...

Я еще не виделся толком с семьей, а меня — сразу на Змеиный хутор. И ведь неизвестно — вернут ли обратно! У них же первая мечта — раздельное жительство!

Я рассказал жене только об общих результатах поездки — конкретику я давно опускал: она меня не понимала — но зато с лихвой рассказал о переезде на Змеиный хутор.

— Это все из-за того, что у нас так мало детей! — запричитала она. — Меня все время спрашивают, почему такой большой перерыв, Мике уже скоро три, а я еще никого не жду. Все время подозревают. Отец Евстратий, тот вообще спросил, что я такого делаю, что до сих пор не в положении. А ты сам видел, как я болела зимой, и к врачу не удалось попасть...

На бред этого толка я не обращал внимания, а жену похоже сильно допекали вопросы здешних кумушек.

— И ведь что интересно: здороваться — не здороваются, не знакомы де. А вот с таким вопросом с ходу подойти — это нормально!

— Давай срочно кого-нибудь постараемся завести, и тогда нас не пошлют на Змеиный хутор и не будут упрекать в том, что мы все вместе живем. Ведь и Иринья, и Каллиста — поодиночке, и Топорковы, помнишь...

— Никаких Топорковых! Еще раз вспомнишь — набегаешься от меня по деревне. Хочешь, чтобы я тоже сбрендил и носился в одних кальсонах?

— Но ты же не будешь так делать?

— А откуда ты знаешь, как я буду делать, может, еще хуже! Начну, например, бегать с камерой и всех фотографировать! И Иринью — вдоль и поперек, и отца Евстратия, когда он там деньги перелопачивает, и этих тишайших Викник и Вада. Да! Еще обязательно Дионисия управника — он будет всячески прятаться от меня, он под куст — и я за ним, он под стул, и я вослед. Изо всех сил буду его догонять и норовить снять как можно крупнее. Деревенские меня мало волнуют. Представляю, что за театр тут тогда начнется. Многие сами, наверное, манатки соберут и убегут куда подальше.

— Тебя и так «Аркадий-телевизорщик» за глаза называют.

— А у нас даже телевизора здесь нет. Вот! Непременно надо завести! Для правды, так сказать. Мне монитор нормальный нужен для работы, Интернет. И вообще — я на брюкве с лебедой долго не протяну!

— А если отец Пахомий узнает, — робко спросила жена.

— Ты еще самого главного не знаешь! — злорадно ответил я. — Он теперь отдыхает во Франции, к морю их поехал лечиться.

— Священников судить — страшный грех! — отец Пахомий мне даже епитимью тогда наложил — за то, что я про отца Владимира что-то сказала, пожаловалась...

— Ну, конечно. Это почти как депутатская неприкосновенность.

— Тихо! Что ты такое говоришь, о детях подумай. И Бог нас слышит.

— Мне кажется, тебя больше Иринья волнует с Евстратием...

Жена выбежала на улицу, а я изможденный опустился на табуретку. А не так, как в романах пишут — «и он в изнеможении опустился в кресло (шезлонг, кресло-качалку, на диван эпохи Людовика 16-го)». Но на табуретке не предашься долго раздумиям, и я дополз до панцирной кровати и оттуда наблюдал, как Петька с Микой играют в лесоповал...

Мне через месяц надо снова очутиться в Москве. Но как это сделать? Если я соглашусь на хутор, то никакой Москвы не видать. Съездить всем вместе, но тогда не удастся с Мартой пообщаться — да и куда я весь выводок дену?

Мне же работу сдавать Фимычу! Зимнюю одежду купить надо, заодно детям что-нибудь. И я кинулся заряжать купленные аккумуляторы.

ТЕЛЕВИЗИЯ

Мое желание снова уехать возрастало все больше, по мере того, как в наше и без того унылое жилище пришла дополнительная тоска — жене опять нездоровилось, и она, с тихими стонами, почти все время лежала на кровати. А я чувствовал, что начинаю раздражаться все больше. Я неоднократно просил ее вести себя как можно тише и не усугублять и без того нерадостные будни. Мне даже показалось, что она нарочно стонет громче, боясь, что я надолго уеду. Ее привязка ко мне стала меня тяготить все сильнее и сильнее. Однажды я даже опрометчиво пошутил:

— Когда Петька с Микой вырастут — ты меня, наконец, отпустишь?

Лучше бы молчал. Потому что она ничего не сказала, но я знал — она ничего не забывает. И теперь еще неизвестно что придется от нее за это вытерпеть. Тут у меня блеснула удачная мысль.

— Может, тебе к мамаше под Калугу съездить? — поинтересовался я в один из таких дней.

— Меня не отпускают, подумают, что я кресты сбрасываю, не хочу претерпеть до конца...

— Конца какого — смертельного? Им было бы в пользу похоронить тебя, даже какой-нибудь трогательный некролог скажут у гроба: отец Евстратий с Ириньей за ночь накопают и без твоей помощи. А можешь им задачу облегчить — заранее написать его сама. А они только отредактируют. Вспомни лучше про Олечку Попову.

— А что Олечка?

Тут я, дурак, вспомнил, что в прошлый раз мы так увлеклись отцом Пахომием, что я вовсе забыл рассказать про Олечку.

— Где-то на Елисейских полях гуляет со своим мужем-финном. — И я запел дассеновское: «Oh, Champs-de-Elusses, O-o-h...»

— Каких полях, ты что — совсем с ума сошел, как ты можешь такое про Олечку Попову говорить, она всегда утверждала, что русскому человеку за границей нечего делать.

— Прямо как Ленин или его соратники, а сам из Швейцарии не вылезал...

— Все, что ты говоришь в последнее время — ужасно. Олечку хоть оставь в покое.

— Да пожалуйста. Она и так в полном покое. Вышла замуж за богатого финна и путешествует с ним по странам Европы. И длинных сарафанов на ней никто в последнее время не видел.

Жена что-то хотела сказать в защиту Олечки, но опять застонала и отвернулась к стене.

— Пап, я хочу есть, — уже ко мне стал обращаться Мика.

Все, собираю всю команду и отправляю к бабушкам, а сам тогда смогу пересечься с Каровскими и работу сдать. Сунув плачущему Мике сухарь и пригрозив Петьке пальцем, я схватил камеру и помчался на съемки. Время пошло. А жене может стать совсем плохо, и придется мне тогда заказ завалить.

Железный камень! Но не один, а с тайными сборищами — так и запредельщиков обличу, и эксклюзив получится! Но начать надо с местных «запощеванцев». Жаль, Топорковы уехали, а то был бы целый фоторепортаж. Лучше бы все это отснять на видео, но меня тогда точно вышлют не то что на хутор, но на Зыбучую заимку, о которой я только шепотом и слышал.

Фотоаппарат с хорошим телевиком я закамуфлировал под балахонного вида верхней рубахой и пошел в полном смысле охотиться.

Мне посчастливилось снять кадров десять деревенских жителей, весьма и весьма колоритных — в средней полосе таких не найдешь. Интересно, кстати, кто проживает на той зловещей заимке, но до нее не дорога идет, а обычная гать проложена, да и та в каком состоянии

— неизвестно. Плюс эти невозможные слепни с оводами и прочими летающими насекомыми — их такое множество, что можно смело изучать раздел зоологии.

Для начала я решил присмотреть себе диспозицию у Железного камня. В лес я пошел, разумеется, не той тропой, по которой ходят к починковскому идолу, а чуть правее. День был довольно ветреный. Кроны шуршали о чем-то своем, а может, беседуя с причудливыми облаками — какие бывают только на севере.

Мне надо было найти такое место, с которого я увидел бы все происходившее вечерами у Железного камня. Но до него я в этот раз так и не дошел.

Мое внимание привлекла некая двоица, очень трепетно беседующая меж деревьев.

«Вот они, маргиналы», — с тихим ужасом и восторгом одновременно подумал я, как сыщик, напавший на верный, но жуткий след. На время я перестал дышать и судорожно соображал, как двинуться в сторону, чтобы не заметили.

Я забыл разом и про эксклюзив (а вот Фимыч сказал бы мне, что это непрофессионализм), и думал, как уйти незаметно. Встать на колени и — воистину, ходите узкими путями! — ползти между кустов с болтающейся камерой? Лечь среди высокой травы? («Если застал тебя враг, замри и ляг!»)

На мое счастье, они пошли вдаль от меня, а я ретировался откуда пришел.

В кадр ко мне попали ВикНик и Вад, раба Божья Нина, беседовавшая с какими-то тетушками. Настоящая находка был и управник — благо телевичок мой хорошо отовсюду достает. С другой стороны храмовой территории я вновь застал Игонюшку, молившегося куда-то на восток. И теперь он был для меня почти образцом святости. Пока я, довольный, опускал фотоаппарат, на мое плечо легла жесткая рука. Отец Евстратий!

— Про телевидение тебе было немало говорено, да видно зря.

— Да я залюбовался просто, захотелось увековечить для себя.

— Глаза для того даны Господом, мало ли тебе этого? Или ты благодарен Ему? Что-то вы все ищете сверх того. А сверх того — от лукавого, сказано в Писании.

Кто бы говорил, — думал я, — теперь уж точно настроившийся перемещаться отсюда в пространстве, хотя и постепенно.

Обойма была полна весьма неплохими кадрами, поэтому я про себя спокойно вздохнул, хотя другая часть моего тела вся дрожала от потрясения в придачу с лицемерием.

КАПИЩЕ

Ближе к сумеркам я засобирался.

— Ты куда? — поинтересовалась жена.

— Пойду поснимаю ночные сюжеты — лес, небо, отвезу как-нибудь в журнал...

— А кому это надо, разве в журнал флоры и фауны...

— Примерно туда и собираюсь.

— Раньше ты вроде бы больше специализировался на портретах...

— Мало ли что было раньше! — взорвался я. — Ты вон раньше тоже стилистикой театра Кабуки интересовалась. А я о деньгах вынужден думать.

— Не хочешь — не говори. — Раньше ты вечерами падал без сил.

— А теперь переделался! — заорал я что есть мочи. — Я может скоро и на видео тут все отсниму, и на гитаре играть начну фламенко.

С этим словами я выбежал на улицу, чтобы не продолжать неприятный диалог.

Идти я старался без хруста веток: снять надо было наверняка, чтобы не привлечь ничьего внимания. Не в самую ночь вспышку использовать было нельзя. Единственно, я прихватил поясной штатив — на длинной выдержке отчетливых кадров не получится.

Я прихватил для виду корзинку — будто иду по грибы. Мало ли — заблудился, с тропы сбился. Хотя, честно говоря, сбиться было не так-то просто.

Постепенно к идольскому камню стекались люди — местные и пришлые. Рядом с камнем стояло дерево, все сплошь увешанное привязанными тряпочками — некоторые эти цветные тканевые полоски привязали только что. Обряд начался. Я работал с телевиком, поэтому передо мной вспыхивали в пламени костра, разведенного у камня, жесты рук, освещенные лица с закрытыми глазами. Полотна одежд. Один раз я дернул фотоаппаратом куда-то в сторону и увидел одно из знакомых лиц. А приглядевшись в объектив, как в увеличительное стекло, заметил знакомую мне тишайшую троицу — НикВика и Вада. Почему-то мне вспомнились Рикки, Тикки и Тави. Они ни в чем не участвовали, но сидели рядом и, похоже, чего-то ждали. Может, бесплатной раздачей еды жертвенной или еще каких благ земных. Их непринципиальность не особенно-то меня и удивила. Отснял я довольно быстро, а может,

мероприятие шло долго. Но передо мной встал вопрос, как выбираться отсюда. Упаковав в корзину фотоаппарат и накрыв его пакетом, я прополз часть пути через невысокий кустарник во время громкого пения и постарался уйти как можно дальше от камня, чтобы из леса выйти уже совсем с другой стороны. Меня грела мысль, что я сделал неплохую работу, которая меня приблизила к Москве, а значит и к Марте — тоже.

НОВОЕ ПОТРЯСЕНИЕ

Насвистывая, правда, почти шепотом, «hasta maniana», я радостный вернулся в свою картонную кибитку. Мика, поднявшись на цыпочки, ел из жестяной миски холодную застывшую пшеничную кашу. Петька позвякивал на полу гайками и болтами из конструктора. Запустение мне бросилось в глаза: все как-то выдавало некую разруху и болезнь, с которой последние дни была так дружна моя жена. Я понял, что больше не могу жить в этом. Хорошо-плохо это, не могу физически — и все. Поэтому так сильно грела меня мысль о том, что у меня в фотоаппарате. Это был пропуск в другую — счастливую — жизнь.

Я думал, что она спит. Но подходя к шкафу, увидел, что это не так. Лежит и не разговаривает. Бледное лицо со спутанными волосами, глаза, устремленные в стену.

— Опять какие-то обиды? — поинтересовался я.

— Похоже, у нас будет ребенок, — прошептала с хрипотом жена.

— С чего бы это? — разозлился я не на шутку.

— Особо, конечно, не с чего, но, похоже, это именно так, — тихо, но жестко парировала жена.

Я даже чему-то обрадовался. А ведь это мысль! Ей лучше отправиться с ее недомоганием в город, к мамаше — здесь ни больницы, да и детей некуда будет деть, мне ведь надо работать...

— Надо ехать, — ответил я своим мыслям.

— Куда? — она даже как-то опешила от такой моей решительности.

— Собирайся, поедешь домой с детьми, ты и так чувствуешь себя неважно. А там — все-таки больницы, детям присмотр нужен.

— А ты?

— А что я. Я — мужик, как-никак. У меня другие задачи в жизни — работа, работа и еще раз работа.

Кажется, она поняла, что я с ними не собираюсь.

— Ты что, здесь останешься или опять в Москву?

— Если я останусь здесь, вам будет не на что жить. Придется работать в Первопрестольной.

— Ты не собираешься разве ехать с нами? В Калуге тоже можно устроиться.

— В какой Калуге? — заорал я. — Что я там буду делать — греховодной политикой на местном телевидении заниматься, защищать каких-нибудь негодяев, которые рвутся из директоров в депутаты? Что бы на это сказал отец Евстратий твой или отец Пахомий?

Она даже уже не рыдала. Она прекрасно знала, что остановить меня невозможно. И последующие месяцы ей придется жить одной с детьми.

— Да и потом, — добавил я, — ты же прекрасно знаешь, что в твоём новом состоянии спать вместе нам больше нельзя — девять месяцев плюс период кормления грудью, кажется, еще. Так что лучше будет, чтобы не искушаться, пожить раздельно...

Все, Господь милостив, я могу теперь вернуться в нормальные условия. Без сныти, нытья и тоскливых будней в немыслимом картонном убежище. И ежедневного прятания себя от допытывающихся взоров Дионисиев и Софониев...

— Ишь, до чего додумались, жену совсем избаловал, белоручки все городские, — сказал отец Евстратий на мое сообщение о желании двинуться в обратный путь. — Как же моя сестра, уже ждавшая десятого, с восьмым и девятым на руках с коромыслом за водой ходила, да к тому же со сломанной ногой?

Я вроде бы и неплохим воображением обладал, но никак не мог представить себе такую картину. Скакала она, что ли? Для этого надо было быть паралимпийским чемпионом, никак не меньше!

— А если она умрет, в кому впадет?

— Сам знаешь, Аркадий, на все воля Божия.

— В городе почему-то можно обращаться к врачам, а здесь иначе?

— Раб лукавый и неверный задает подобные вопросы, ехидне уподобляясь...

Я вышел тихо и смиренно, но в бешенстве внутри себя. История номер два на тему Германа Антоновича. Мне, может, конечно, и надоела тема жены, но так хладнокровно хоронить ее, сознательно ничего не предпринимая, я все же не мог.

— Придется мне ехать одному, — сказал я, вернувшись, жене.

Я знал, что это повергнет ее в шок. Но ситуацию надо было как-то разруливать и двигаться дальше. В смысле жизни. В смысле вообще всего. Даже эти двое — Петька с Микой — полностью меня спугают по рукам и ногам.

— Отец Евстратий не одобрил идею с нашим отъездом.

— Я не вынесу здесь одна, тем более — скоро зима.

— Оденешься потеплей.

— Ты издеваешься? Я ведь встать если не смогу, а воду таскать, а дрова...

— Петька поможет.

— А ты один собираешься уезжать?

— Но ты же без благословения Евстратиева никуда не поедешь...

Она промолчала. Я видел, что в ней идет борьба. Но решение за нее я принимать не буду. Пусть тоже что-то решает.

— Мне придется нарушить благословение и тоже ехать.

— То есть, ты снимаешь с себя кресты, в угоду плоти?

— Но дети же могут остаться совсем без моей помощи.

— Ты права, в Калуге тебе будет легче. Навещать буду вас, хоть и не очень часто — работа, все-таки, до изнеможения, так сказать, плоти, — пафосно уточнил я, почти потирая виртуальные лапки, как муха.

— И потом, мы же вернемся! — вдруг воодушевилась она.

— Конечно, а как же, — нараспев протянул я.

Это был исторический вечер. Маленький мой шажок в сторону самого себя...

На следующий день жена, еле живая, приковыляла из кабинета, где она все же еще правила какие-то тексты. Отдышавшись и отбросив на кровать увесистую белую пачку листов, с такой же беловатостью, не сходящей с ее лица уже пару месяцев, прошептала:

— Ты бы видел, как она на меня посмотрела!

— Опять все то же, — в тон ей, шепча, отвечивал я. — Она, на меня, смотрит — не смотрит. — Потом все же сжалился и спросил: Кто, Алиса-Каллиста?

— Нет, Ирinya...

— О-о, в самом деле, как же я мог не угадать!

— «Уезжают или слабые, или падшие», — почти прошипела, что же теперь делать?

— А на меня тебе совсем наплевать? Почему у тебя только Феврунь с Хавроньями главные!

— Но мы же не сможем жить без их духовной поддержки, посмотри, нам и жилье дали, и окормляют духовно...

— Это вот жилье? — эта картонная коробка, в которой и прослушек-то ставить не надо — за три километра слышно, что внутри происходит, у них тут наверное и специальные слушатели есть — сидят где-нибудь неподалеку в избушке и стенографируют. А мы — как в тридцать седьмом году, все время как немые, жестами, изъясняемся. Кто

так помогает, может, еще эти трое из ларца в сомбреро — бразильское трио???

— Мы не оправдали их надежд...

— Умри, чтобы оправдать. Еще одно слово — и я уеду один, обещаю...

Она опять застонала, теперь уже от боли. А я принялся яростно растаскивать орущих со слезами друг на друга Петьку с Микой.

На следующее же утро Дионисий-управник не преминул заметить:

— Если вдали от мест бесовских, городов сатанинских, мира не имеете, что же с вами та-ам будет? — И для пушей акцентировки поднял указательный перст. И добавил: Бегство от наставников — удел людей трусливых, несостоявшихся как личность...

И состоявшийся как личность Дионисий, командующий работниками на лесоповале и сельхозработы, большинство из которых похожи на инвалидов по умственным заболеваниям, с чувством выполненного долга, проследовал далее по своим хозяйственным маршрутам.

Про управника я ничего не стал рассказывать жене, ей и без того было нелегко.

— Посиди со мной, — робко попросила она меня.

— Что ты еще хочешь, мне некогда, что тебе еще нужно от меня?

— Мне плоховато...

— Я не врач...

— Ты давно уже не сидел даже просто рядом со мной.

— Боже, опять начинается. Когда же это все кончится! Зачем ты вообще привязалась ко мне? Кто это вообще все придумал! — Меня было уже трудно остановить. — Я уже тогда понял, в какой капкан залезаю. Ну, как же, пожалей меня, на меня никто не смотрит, я бедная-несчастливая... А на меня смеются! И Марта, и Марина-секретарь у Фимыча, и многие другие, да замужем!

Кажется, меня занесло на поворотах.

— Как, — растерянно проговорила жена, — и Марта... А раньше почему ты ничего не говорил?

— А что я должен был говорить, я устал, все, все достало! Я никому ничего не должен!

Я хлопнул дверью и ушел гулять по окрестностям.

Ну, лишнего сказанул, с кем не бывает... Но сил у меня не хватает на все. Была бы она хоть немного повеселее, потверже, что ли. А то одно сплошное нытье — плохо, больно, что же делать — и так до бесконечности. И это что — вся моя жизнь? Я ведь с ней вместе скоро и к людям не смогу выйти. Да и зачем, собственно, с ней куда-то идти вме-

сте? — тут же осенила меня мысль... как бы это было здорово — этих двух-то как-нибудь еще выучим. И — тема образования повергла меня в легкое замешательство. Я что-то кумекал, пока ноги не принесли меня назад к дому — вечера были уже холодноватые...

Жена, вся тихая, с распухшим от слез лицом, сидела у плиты и пыталась что-то сварить ноющему Мике. И словно вторя моим мыслям, едва слышно произнесла:

— Петьке скоро в школу, куда он пойдет, а как же посты, молитвенное правило...

— А что у вас там в Калуге — нет гимназии православной?

— У нас? Ты что, уже уходишь совсем от нас...

— Ну, нет, что ты цепляешься к словам, все время из мухи слона делаешь, как тебе это не надоело! — загремел я, а у самого в голове вертелось — как бы сбежать от этого монотонного ужаса и тоски навсегда.

Она больше ничего не говорила, а только лила слезы. Я смотрел на это бесформенное создание в бесцветных тряпках, и думал — ведь женщины должны быть не такие, они должны вдохновлять, сподвигать на великие свершения и дела во имя всей Вселенной, заставлять ночами создавать великие полотна или выискивать потрясающие созвучия. А к этому нечто, которое зовется моей женой, и подходить-то уже нет ни малейшего желанья.

В один из таких дней листая журнал Фимыча, я уперся взором в поющую — именно! — цветом, формой, каким-то безмятежным счастьем — рекламную фотографию. Кабинет, полный книг от потолка до пола благородного темно-орехового дерева. Среди всего этого — мисс в изящных старинных нарядах и шляпке за высоким бюро, с пером в руке. Колористический переход был выстроен просто великолепно — от глубокого кофейного «венге» до легкого пастельного «беж». Ни одного (!) несбалансированного цветового пятна. Градиент был непревзойденный... Этот английский кабинет с томами, камином и девушкой почти остановил ход моего сердца.

Почему у меня не может быть так?!

Открыв почти ногой картонную дверь своего жилища, я принялся разметывать по сторонам игрушки, превращенные в доспехи рыцарей кастрюли, покрывала, приспособленные под средневековые плащи, какие-то тапки.

— Я не буду жить в этом хаосе! Этот беспорядок когда-нибудь исчезнет из моей жизни?

Петька с Микой принялись что-то поднимать, собирать в ящик. Жена, опять с искривленным лицом от боли, пыталась убраться, на ходу оправдываясь:

— У нас был порядок. Дети только недавно придумали новую игру...

— Мне это надоело! Я — я — я так жить не хочу! Почему нельзя сделать все аккуратно, чтобы ничего не валялось. А — ну да! — осенило меня — каковы сани, таковы и сами! Что ты тут еще оправдываешься. У твоей мамы тоже был беспорядок всюду.

— Мне было плохо с утра...

— А тебе всегда плохо! Сама живи в этом бардаке.

Она пыталась отодвинуть тумбочку, перетащенную детьми в центр комнаты и прищемила пальцы.

— Что ты все время стонешь! — сорвался я на ее вскрикивание, — чтобы обратить на себя внимание? А ты в зеркало давно себя видела?

— Я болею, выгляжу поэтому неважно...

— А когда ты хорошо выглядела? Я этого, похоже, вообще не застал.

Отшвырнув тумбочку на место, я тихо, но грозно прошептал, теперь уже скорее себе, чем зрителям вокруг:

— Какой же я был дурак. Как я мог оказаться с этой женщиной. Это что — вся моя жизнь???

Потом скомандовал себе: «Спокойно, Аркадий!» И эхом пронеслось в моей голове: «Нормально, Григорий? Отлично, Константин!». План есть. И план — в действии. Все хо..., как никогда прежде. Сейчас — сборы. А там — «Куда ты, дорога, меня привела?»

«Угу, м-гэ, э-ге», или что-то в этом роде сказал я себе и пошел искать тару для переезда.

ОТЪЕЗД

Чимкент на этот раз уже не так часто разевал пасть — опыт поездок у kota уже приобрелся. Периодически он просовывал лапу сквозь прутья и озорно брякал когтями по обшивке клетки. Можно сказать, что ехали мы налегке. «Мы же еще вернемся», — приговаривала мечтательно жена. На самом деле вещи особо собирать было некому. Болезнь, давившая своей печалью, давно уже, как недвижимое облако, стояло над нашей семьей. Ей было ни до чего. А меня этот скарб волновал еще меньше. Камера, немного сопутствующей аппаратуры — вот, собственно, и все, что требовалось. Для жизни. Для дыхания. Для счастья. Имя которым — Свобода.

Меня временами посещала мысль, что я возвращаюсь из заключения. И — надеюсь — навсегда. Тогда я еще не осмеливался думать, что историю жизни можно писать самому. Без Евстратиев с Коловратиями.

Как в прошлый раз мы получили вместо путевки к морю направление в дремучие леса, так теперь — вместо Змеинового хутора и Зыбучей заимки — мы двигались в сторону центра, медпомощи, музыки, нормальной еды, отсутствия ежеминутного контроля со стороны всех и вся. Ну, хотя бы для того, чтобы взять дыхание. Клаузулу. Паузу. Цезуру.

В калужский городок *** — родину жены — мы добирались с такими же мытарствами, как я в столицу, только в четырехкратном размере, и даже пяти — включая кота. То полустанки, то поиски воды и постной еды. То жену тошнило, то у нее кружилась голова. Я воспринимал все это, как очередной эксперимент над собой на выживание.

— Последний раз еду с такой толпой, — тихо проговаривал я, скорее самому себе.

— А как же маленький?

— Какой еще маленький? — свирепо прошептал я. — Ты что — диагностику проводила или ты профессор медицины?

— А если...

— Надоели твои если да кабы. Да еще раз по грибы! — завелся я. — Да! Вот как не повезло вам с матерью, — обращался я уже к притихшим Петьке с Микой. — Совсем сумасшедшая. Господи, за что Ты мне дал такую жену! — стал я креститься почти среди дороги. — Чем я таким провинился — у всех жена как жена, а у меня один сплошной кошмар.

Впрочем, подумал я, может поснимать это великое перемещение — хоть какая-то отдушина...

Мамаша со свояченицей были несказанно рады нашему приезду. Вот и живите тут все вместе, — подумалось мне уже на пороге. Кулебяка с капустой, вечные их пышки ждали нас, да еще голубцы. Но затхлая атмосфера какой-то умильности и показной семейственности как-то особо раздражала меня за этими обедо-ужинами.

То ли дело — у меня дома. Никто не бежал навстречу с объятиями, не припрыгивал в чулках. Даже особо и из комнат не выходил навстречу. Никаких особо столов да праздников. Хочешь чего — иди купи в ближайшем магазине. Все спокойно, без экстаза. Как в песне: «уходишь — счастливо, приходишь — привет». И уж тем более — никаких посылок, звонков и поздравлений с праздниками!! Все-таки традиции детства должны совпадать. А здесь — один сплошной балаган. Радуют-

ся чему-то, когда хочется удавиться от такого внимания. Я рвался в свою воду, хотя и понимал, что дважды в нее не войдешь.

Чуть забрезжило в окне двушки-вагончика калужское осеннее солнце, я заметался, собирая вещи.

— Ты куда так рано?— спросила меня подруга дней моих суровых, которые (я надеялся) уже уходят из моей жизни.

— На работу пора отправляться. Пока — до Калуги, а оттуда — до Первопрестольной. Надо же не совсем поздно попасть в Москву.

— Как? Мы же хотели еще к теть Мане и дедушке, они так ждали нас.

— А также к тете Глане и дяде Ване, — перебил ее я. — Хотели! Вы — может и хотели. А я — хотел? Меня кто-нибудь спрашивал, что именно я — я — хочу?? — швырнув каких-то игрушечных зайцев и котят, я стал запихивать вещи в сумку как попало. Благо, вокзал этого ужасного городка — в десяти минутах ходьбы отсюда.

— Позвоню, как обустроюсь, — выдавил из себя я, уходя.

СНОВА МОСКВА

И все же я одичал. Бравый такой я был только в провинции. Огромные, только что из салона, лимузины, в которых проносились женщины с блестящими волосами, как в песне, наводили на меня какой-то непонятный трепет. Почему я должен отказываться от всего материального? Где про это написано? Почему-то я постоянно должен тащить весь свой скарб на себе, мокнуть под дождями, мерзнуть на ветру, дрогнуть на снегу... Чем я хуже господина в вишневом пиджаке, пинающего по привычке переднее колесо своего огромного джипа? Или вот того остролицего студента, припарковавшего у кафе свою «Мазду» последней модели?

Москва была снова со мной. Значит, будут у меня и вишневые костюмы, да и фиолетовые с изумрудными не пройдут мимо. И «Кадиллаки» с «Тойотами». А может, что и поинтереснее. И ... ДА, заставил я себя произнести мысленно, вслух, хотя и про себя — женщины с блестящими волосами и какими-то там глазами — наверное, все же, золотыми волосами и блестящими глазами. Вот-вот...

Меня ждал Фимыч, а за ним мысленно вырастал целый издательский концерн, размножающий мои шедевры в масштабах целой страны.

Фимыч на сей раз был у себя, что удивительно. Обычно он гоняет по коридорам, как Шумахер («Шумака», — поправил я себя, вспомнив репортаж ABC).

При моем появлении в дверном проеме он сделал удивленное выражение лица. И, крутанувшись на кресле, стал дальше с кем-то мяукать по телефону. Полы его охристо-черного, в косую полоску, пиджака разлетались, как плащ на ветру где-нибудь у нас на стоянке автобуса за Починком. Он продолжал беседовать еще минут пятнадцать, которые мне показались тягостными. Я рассматривал кабинет. Он где-то уже отхватил себе письменный прибор из зеленого пятнистого полудрагкамня. Авторучка в виде кегли с именем известного клуба и небрежно существующие на этом безбрежном поле стола розовые запонки. Почему розовые — мне было вовсе непонятно. Вроде бы, с виду абсолютно мужские, в смысле стиля и дизайнера, а в смысле цвета — с натяжкой можно бы их причислить к серо-сиреневым, дизайнерскому «wild mashroom»...

— Ну, старичо-о-к, — привычно протянул Фимыч, воззрившись на меня и сделав паузу.

— Привез, привез! — радостно отрапортовал я.

— Привез что?

Я как-то не ожидал такого беспамятства.

— Маргиналов, запощеванцев всяких, которых только нашел.

— Ой, ты знаешь, эта тема уже была, но пусть полежит, что ли, там, смотришь, через полгода опять вернемся к ней, — Фимыч извлек из изящной шкатулочки пилку для ногтей и опустил глаза к своим холеным и без того рукам с соответствующими ногтями.

Какие полгода! — он даже не видел, что я привез, это же работа, мне надо дальше двигаться, деньги нужны, в конечном счете...

Я почему-то слегка разозлился и стал даже размышлять, нет ли у него цветного педикюра. Я молча извлек то, что собирался предъявить взору бильд-редактора, и ему пришлось оторваться от своей процедуры.

— Ну, хорошо, — пропел Фимыч, притягивая клавиши и встряхивая длинной темной челкой, — ну, вы романтики, конечно. Это кто — соседи? Приятели? лесные народы? Забавненько, о, местами даже весьма колоритненько. Растяжка хорошая по тону, виражик местами нюансный. Куда же я это сейчас впихну... Может, Боровков Мишаня подождет...

У меня в груди что-то открылось, и я подумал вскользь о том, что после публикации изображения Евстратия и других его поклонников я вряд ли смогу появиться в Починке. Взамен этого я увидел внутри себя изумрудный джип с блестящей незнакомкой. Мен был стоящий.

Я временно поселился у Вольки, но надо было думать о дальнейшем жилье. В одной из газет мелькнуло объявление о жилье для православных, и я подумал, не навесить ли мне отца Пахомия, может, где-нибудь там обломится мне на время пристанище. А как только я разберусь с работой, сниму что-нибудь обычное. Дергать своих стариков я особо не хотел, и хотя расспросов там быть и не могло, все же моя недосказываемость могла быть замечена.

Но самое неприятное ждало меня дальше. Я заставил себя позвонить жене. Наш разговор был нервный и сбивчивый.

— Здоровье не очень, — сразу сообщила мне она, что завело меня буквально с первой минуты разговора.

— Когда-нибудь, — медленно и обстоятельно выговаривал я слова, — услышу я слова: здоровье очень?..

— Аркаш, я беременная. Анализы подтвердили, я же тебе говорила.

— «Я же тебе говорила», — передразнил ее я.

— Сказали, что будут двойняшки...

— Да ты что, а может четверняшки сразу?

— Зачем ты глумишься, скажи лучше, ты когда приедешь?

— У мамыши твоей всем места хватит, там тепло, снимать не надо, делать тоже ничего не надо, тебе помогут, живи-не хочю...

— Ты о чем, ты что, совсем не собираешься приезжать?

— Я не врач, я тебе это уже говорил, денег раздобуду — пришлю, я пока еще жилье не нашел, не доставай меня пока, ты же на всем готовом.

— А дети? они тебя ждут...

— Закрой рот и перестань скулить, я не намерен ругаться за деньги! — заорал я и швырнул трубку.

Может, свозить их куда-нибудь разок, на прощанье, так сказать, может, и отстанут на время.

Я чувствовал, что мне надо было утвердиться, догонять брошенные самим собой рубежи. Меня уже мало где помнят, время ушло вперед, и мне предстоит мощный рывок.

Порадовать «двойняшками» я мог только кого-нибудь типа отца Пахомия, или Ириньи с Игонюшкой. Поэтому я решил, что у меня есть некая фора — я не просто так поеду к прежнему нашему духовномуводителю, но с событием весьма православной направленности.

После заграничного турне отца настоятеля территория у храма и внутренний вид кабинетов мне показались немного иными, чем прежде, гламурными, что ли. А когда я заприметил и блестящий сиреневый седанчик «Вольво» представительского класса, и вдобавок слова сто-

рожа: «Нет, туда не надо, там машинку отца Пахомия можно задеть» — я перестал вообще спокойно размышлять. У Евстратия кроме самосрубленной деревянной тачки других колес не имелось.

— Вот, батюшка, — сгорбился я навстречу отцу Пахомию. — Приходится вновь немного бывать в столицах, семья скоро увеличится, учеба старшим предстоит...

— О-о, давно ли пожаловали, где останавливаетесь, почему домочадцев не видно, скоро всенощная на двенадесятый праздник, у нас ведь престол к тому же! — очень размеренно и величаво сказал мне отец Пахомий.

Я рассказал о Калуге и о прибавлении в семействе, и о том, что жилье бы надо.

— Насчет жилья — это сложно, но вот ты, скажем, мог бы и в сторожке пожить один, если бы подменял Леонида. Или в кочегарке у Дмитрия...

«Марта, я придти сегодня не смогу на вечеринку, потому что ворота церковные закрываются в девять, да и на связи с кочегаром я должен быть, переключка, так сказать», — представил себе я отчетливо телефонный диалог с Каровскими, позови они меня на посиделки по случаю их приезда из дальних далей. Но на самом деле это был хоть какой-то выход. Пусть временно, дворницкая, но ведь в столице, и работа какая-никакая. Ничего, к Каровским сгоняю на обед, а потом — загадочно произнесу что-нибудь вроде: время не терпит, «вставайте, граф, Вас ждут великие дела»...

У отца Пахомия к тому же нормально смотрят на поездки — к святыням заграничным. Свожу эту толпу, смотришь, и успокоятся наподольше, и мне будет полегче. Вдали от всего этого кошмара. Москва — она всегда Москва.

Я внутренне возликовал. Только как-то надо совместить с работой в полугламурном журнале. Отец Пахомий, еще чего доброго, возражать вздумает. Впрочем, подумал я, ездил же он на знаменитые курорты. Но и у Вольки на шее я сидеть тоже больше не хотел. Да и какой же это был номер люкс — эта дворницкая — в сравнении с Евстратиевыми домами для постоянного пребывания!

Лесов поблизости, вроде бы, не наблюдалось, но во всем помещении разливался аромат кедра. Церковный столяр Андрей Романович — мастер, без сомнения. Деньги, конечно, вложены немалые — не станет московский столяр упираться за так, но — результат! Плюс дизайн. Строили вроде бы дворницкую, но вышел музей. То же можно сказать и про трапезную с воскресной школой. Там, говорят, руку приложила

контора, специализирующаяся на дворцах. Пусть и деревянные нары, но законные на какое-то время.

Пока я прогуливался по коридорам дома причта, пестрящим заморскими фото паломничеств, меня осенила мысль: мчаться в дальние дали надо сейчас, с небольшим семейством, пока оно еще действительно не очень большое, только вот подзаработаю здесь немного и — махнуть с фотоаппаратом! Так сказать, на прощание со своей дражайшей. Я понимал, что наш союз обречен.

— Калуга не так далеко, — сказал отец Пахомий неожиданно. — Я думаю, на выходные твои могли бы приезжать сюда на воскресное богослужение. Как, ты говоришь, называется это место? — это ведь еще ближе к Москве, да и мы не на самом севере Первопрестольной!

Я было что-то вздумал возразить про часть затратную, на что отец мой благодетель возразил: «А ведь ты бы мог помогать, скажем, тому же Андрею Романовичу — вот и приработок! Ты ведь в лесах жил, про деревянную часть знаешь немало.

Про деревянную часть я, конечно, знал — и немало. Про то, например, что такое мокрые дрова и сколько часов они топятся вместо сухих, про лесоповал тоже, куда ж без него. Но вытачивать на токарном станке мне доводилось только в кружке при домоуправлении, и то дальше табуретки мы не продвинулись.

Если Фимыч будет и дальше только щелкать ключами и звякать запонками да в самозабвении нарезать круги по кабинету на вращающемся кресле, я скоро начну клацать зубами, причем, от голода. А здесь — реальная работа. Ладно, побуду пока столяром. Но вот тащить в Москву весь выводок мне совсем не хотелось.

И КОЧЕГАРЫ МЫ, И ПЛОТНИКИ

«Помоги немножко», «чуть-чуть тут убери», «но это же недолго сделать», — из выполнения мелких поручений складывались часы. Они шли плюсом к чистому времени работы. До творчества меня Андрей Романович не допускал. А приуговительные работы выматывали меня не столько физически, сколько морально. То отец Пахомий невзначай сравнит меня с лимитчиками, то отношение свое выразит так выразительно, что я начинаю понимать, к какой социальной прослойке теперь отношусь.

Классе в пятом общеобразовательной своей школы, когда мы проходили феодалов, бедных и нищих, я говорил себе: ну, таким вот совсем безденежным я бы не был в то время, ну, я что-нибудь бы приду-

мал, как-нибудь бы извернулся. Когда перед визитом каких-то капиталистов отец Пахомий попросил подсобить меня в уборке домика для гостей и буквально заорал на меня при всем честном приците, что я не так загибаю край ковра для гостевого шествия, я на мгновение в голове своей и душе оказался не здесь и не сейчас.

На курсе третьем кто-то из моих однокашников притащил какую-то схему реинкарнации, и все пытались определить — кто кем был в прошлой жизни. Я оказался островитянином, правдоискателем, а многие — крепостными крестьянами или рабами. Вот именно таким крепостным, которого и корней-то у меня не было, меня пытался выставить отец Пахомий.

Откуда появилось такое отношение ко мне? Внутренне я был сражен переменной в стиле общения. Совместить роли «духовник-пасомый» и «руководитель-подчиненный» — дело трудновыполнимое. Если, конечно, один или другой — не иже во святых. Но ни я, ни, как я все более понимал, отец Пахомий, таковыми не были. И оттого отовсюду вылезали острые клыки наших пересечений. Ладно, я человек почти свободный, но предел моих усилий тоже существует. Прелюдия к работе — часа полтора — настроить, отладить, сбегать-принести. Потом — довольно непростая работа моя на новом столярном поприще, «без сучка, без задиринки». И в конце трудового дня, который должен был заканчиваться в семь, — еще часа полтора, а иногда, по ситуации, и больше — уборка, уборка, уборка. Плюс вывоз мусора. Какие уж тут фоторепортажи и «кина»! К тому же я всегда был под рукой. Я же жил на работе! Иногда я себя, впрочем, утешал: я работаю на дому! Да еще и в столице! Но почему-то тогда в моем доме обреталась огромная толпища незваных незнакомых людей. Да ведь это же почти монастырь! — осеняло меня — ну, разве что трапеза была — на высоте, хотя и от повара иной раз зависело тоже.

Дни бежали друг за другом и превращались в массив месяцев. Я уже было отложил идею поездки, как вдруг мне позвонил Фимыч.

ПРОСВЕТ

Я знал, я видел наяву (я чувствовал я знал!): прежде чем произнести по громкой связи первые слова, Фимыч крутанулся на высоком пианистическо-стоматологическом кресле и, когда фалды его длиннохвостого пиджака угомонились, взяв дыхание, произнес:

— Я тут подумал, старичок, что ты засиделся на Родине. Что ли тебе прогуляться по древним просторам... Грекосы там разные, киприоты, вообразившие себя жильцами Атлантиды, — крупняки, кстати, у тебя

неплохо так получают из засады. Давай, ты в командировочку сбегаешь, а? а? Ну что, побежишь — нет? Надо так ярко колоритик местный передать, чтобы в зобу дыхание, ну, знаешь. Ты умеешь так прицелиться, чтобы в самый там неподходящий момент. Он там замечтался, глаза к небу, или что недоброе задумал, а ты его — пиф-паф! — из телевичка. О! — ну, у тебя получается, как с лесными теми задвижниками-передвижниками. Давай, давай ко мне. Ага-ага...

Я давал что есть мочи. Швырнув стамеску, чего не выносил Андрей Романович, стряхнув стружку с себя на пол, отчего очки мастера еще выше взвились к небу — такого он меня еще явно не видел! — я схватился за желудок и театрально взвыл, сказав, что помчался, мол, к врачу. Плохо совсем.

Впрочем, мне не надо было особо ломать комедию. У меня и так внутри начался шторм — такого предложения я ждал давно, и — дождался! Боясь, что Фимыч передумает, я несся как испуганная курица, по благоухавшим кедром и грядущим ароматным, хотя и пятничным, обедом коридорам дома причта.

Пара пересадок, и я — в приемной у Марины, словно в преддверии невероятного куша.

КУШ

Когда сердце вибрирует, как струна у Паганини, плачет от невыпеснутой неизбывности, дыхание движется на цыпочках — почти балетно — свершение давней идеи видится мощным феерическим каскадом. Ты отпускаешь свое сердце на «раз!», и оно катапультной уходит вверх. Целокупность и чувство абсолюта в покое равнозначно тогда нутру. Такая константа ощущается счастьем. В тебе несуетность, потому что в тебе есть круг — и альфа, и омега, и начало, и конец, переходящий в начало. Все в одном.

Чутье кивало головой: все будет как надо. Это реализация — выход порыва в реальность. И это начинает случаться с тобой. Реальность говорит тебе «да!».

Я верил, я знал: Фимыч будет рад предложить мне то, что мне единственно сейчас надо — полет в иные края, необходимый ресурс и творчество впридачу.

— Ну вот, ну вот. Старичок едет на Средиземное море. Почти к подземным королям. В Средиземье, в самую середину этой земли, в среду. Чартер всегда в среду. Все сходится, — приговаривал куда-то в потолок Фимыч, крутясь в кресле, и можно было подумать, что меня в кабинете и не бывало в помине.

— Пальмами не увлекаться, к тому же они такие дохлые в это время, рвутся на ветру, ужасно, ужасно. Только лица, крупняки. Вот они — люди Средиземья! — разогнался на своем бархатном кресле Фимыч, оттолкнувшись ногой от бюро и поехав в сторону шкафа. — Где-то слащавые от своей приторной музыки и утомительного солнца, где-то клювастые, как вороны — порода, что делать! А вообще — хитрецы, знаешь! Ну, давай поосторожнее. Снайпер! — с восхищением уже в мой адрес сказал Фимыч.

«Еще какой!» — подумал я.

«Так-так-так-так-так-так!» — тараторил я про себя, бежа по всем встречавшимся ступеням метро, переходов, вспомнив неожиданно местные починковские поговорки и пришепетывания. Мысли мои являли собой броуновское движение — еще бы! — надо было уместить в краткий срок все дела. Но главное — увязать свои журнальные командировки с отцом Пахомием. На поездку у меня — месяц. Значит, на три недели, скажем, — работа, а на семь-десять дней придется выписывать к себе толпу — семейство вызывать из Калуги — в противном случае отец Пахомий меня бы не понял, а так вроде все гладко — к святыням едем, ни дать ни взять!

Жена долго молчала в трубку, когда я сообщил ей о поездке, о срочных паспортах, о неделе их путешествия по заморским странам.

— Что тебе опять не так? — тебя зовут на отдых, за чужой счет, заметь!

— Твой счет уже чужой считается? — тихо спросила жена.

— Не цепляйся к словам! А что — разве не так? Может быть, ты у станка все это время пахала или проект ночами делала полгода, просто так не поедешь с таким выводком, на все ведь деньги надо!

— Так может, нам тогда не ехать?

— Лучше вообще надеть паранджу и из дома не выходить! Детям показать хоть что-нибудь, ты ведь им ничего сама дать не можешь, кроме молитв да разве что нотной грамоты. Работник из тебя — аховый. Женщина — не лучше. Ну, разве что в качестве собеседника еще сгодишься, да и то — неизвестно, скоро вообще никакого диалога с тобой не получится.

— Я подумаю.

— Ты еще думать собираешься! Ты вообще охр...! Надо сваливать от тебя, и побыстрее.

— Я побаиваюсь сейчас за перелет, самочувствие не очень, все же пятый месяц.

— Так вылечись! — заорал я и в бешенстве швырнул трубку.

Без жены у меня выйдет с поездкой нерасклад. Это было ясно. Поэтому я считал это дело решенным, и после обеда — чтобы отец Пахомий был подорожее — выловил его у кабинета.

Случайно увидев свое отражение в зеркале, я обнаружил, что очень сильно машу руками во время беседы — возможно, от переизбытка чувств. Я даже напомнил себе мельницу, я впервые тараторил так быстро, что отец Пахомий и слова не мог вставить.

Я не так много проработал, чтобы просить себе отпуск размером с месяц, и я прекрасно знал, что даже если отец Пахомий будет против, я все равно уеду.

Он не был против, но и денег вперед мне не дал. Это был самый настоящий московский чиновник, когда дело касалось дензнаков. Впрочем, иллюзий на это счет я и не питал. А вот насчет семейства он тепло расплылся в улыбке, как я и ожидал. И размашисто благословил меня на поклонение святыням древних земель.

Важно было не затягивать время, чтобы вернуться в том же составе, а не на два больше — мы бы потерпели серьезный финансовый урон. Да и свозить их надо было ненадолго, чтобы не потребовалась — не дай Бог! — медпомощь.

Выдохнув на вдохе, рассчитав и прикинув, я летал от ОВИРа к банковским очередям. И моя траектория, наверное, напоминала полет бабочки, хотя скорее — все же полет шмеля.

Шмеля мне напоминали и пробивавшиеся неизвестно откуда слова жены «я побаиваюсь», и вариации на эту тему. Вроде бы я не был раньше таким сентиментальным. Страх, составлявший полсущества (если не больше) моей пока еще второй половины, раздражал меня больше всего. Меня именно поэтому привлекали личности нордические.

Марта внутри себя имела довольно твердый стержень, хотя, впрочем, не настолько, насколько мне бы хотелось. Я вспомнил Дину.

Дина Эфендиева, кажется так. Жила в моем дворе, в далеком детстве. «Дэ», как она выпаливала при знакомстве — действительно, твердое, жесткое «Дэ». Темные короткие волосы и черные точки колющих глаз. Она могла встать на самый верх овальной лестницы, на самые ее поручни, и спокойно там покачиваться, гордо смотря вниз — на всех нас, не отваживавшихся повторить ее подвиг. Или неслась спиной вперед на велосипеде так, что еле уворачивались от нее встречные легковушки: она знала — они все равно дадут ей дорогу.

Не помню, рассказывал ли я жене про Дину, скорее всего — нет, но мне жена однажды с пустого места в карьере поведала об одном своем

испытании. В возрасте лет десяти-одиннадцати она шла по проезжей части навстречу двигавшемуся автомобилю и проверяла — у кого скорее сдадут нервы — у нее или у водителя.

Тогда и сегодня — это были словно два разных человека. Я только не мог понять, какой такой страх сковал это существо. Православие, община или просто рождение детей? Но посвящать свою жизнь психоанализу и спасению тонущих я точно не собирался. Пусть ее спасет кто-нибудь другой. Если она, конечно же, понадобится вдруг кому-то, в чем я сильно сомневался, вспоминая ее бесформенные объемы и унылое выражение лица.

ПОПУТНО — ВИЗИТ К КАРОВСКИМ

Волька во время моих сумбурных сборов неожиданно нарисовался на моем мобильном поле и продиктовал час и день нашего пересечения. С ним, Эдом — если отпустят — добавив, и Каровскими. Я снисходительно улыбался в душе. Мне было чем обмолвиться: «да-да, Средние земли», Средиземноморье, почти Лукоморье. Вспомнился даже афоризм из какого-то журнала: «А века были так себе, средние». В самую середину еду, да, ненадолго сбегая, месячишку там поболтаюсь, может, и выведу среднее арифметическое, а то и даже геометрическое. Естественно, фотографическое. И может не такое уж и среднее!

Встреча меня немного покорибила. Мы встречались в весьма дорогом кафе, и, хотя это считалось Борькиной датой (мог бы и домой пригласить!), — каждый платил сам за себя. Пить один кофе весь вечер было бы странным, а малейшая еда с горячительным выходила в астрономические суммы. Впрочем, все чувствовали себя великолепно, пожалуй, кроме меня — у меня на носу был отъезд и затем — вывоз семейства за границу!

— Так теперь все делают, — пояснил мне Волька, — день рождения празднуют в ресторане, и каждый заказывает себе, что хочет.

— А подарки дарят при этом? А то, может, одаряемый сам бы себе купил, так сказать, на свой вкус, раз уж такое дело? — поинтересовался я.

— И еще какие! Кто кого перецеголяет!

— Да еще и угощение себе организовать надо!

— Скупым здесь не место, — усмехнулся Волька, подмигнув. Он прекрасно знал, в каком финансовом положении я нахожусь.

Если бы не Марта, я, может быть, и отказался бы от такого мероприятия в стиле совсем уж новых русских. Но любопытство мое взяло верх.

Самое сложное было на тот момент — отпроситься у отца Пахомия: посиделки начинались не рано, да и заканчивались довольно поздно. К тому же на утро было назначено множество подготовительных мероприятий — престольный праздник как-никак. Я лавировал, как опытный серфингист на своей доске среди океанских волн. Ну, разве что драйва только не испытывал и сумасшедшего удовольствия. Правда, ощущал некоторое облегчение миновав рифы и скалы.

Марта на сей раз выглядела столь ошеломительно, что я даже не понял — в чем, собственно, она приехала на торжество. Умопомрачительные соцветия, сочетание неизвестных каких-то форм и фактур.

— Аркадий, вепрь лесной, надо же, как тебя вынесло на поверхность, мы уже заинтриговались на предмет твоей среды обитания.

Эд — как же я давно его не видел! Я чувствовал себя, словно я вернулся в свой alma mater и как следствие — помолодел, что ли, или поюнед, что вернее.

— Ну, не такой уж и вепрь, — спасла меня Марта, — посмотри на его совсем цивильный прикид. Это уже городской житель.

Спасибо! Я внутренне просиял, как свечение верхней радужки пламени.

Странно, но весь вечер ресторанный я смотрел даже не на Марту. А по диагонали. Столик наискось занимала интересная команда — высоченные девицы, по коленкору — спортсменки, и с ними — весьма эффектный красавчик, несколько ниже их ростом, но! — суперуверенность в себе, да и горчично-серый дорогой костюм с замысловатым шейным кашне перемещался в пространстве весьма изысканно. На него обращали взоры и клиенты с других столиков. Я покосился на свой приличный вроде бы джемпер, но явно не hand made, и уж тем более далеко не haute couture...

Болтовня взрывалась периодическим хохотом и время от времени — ответами красавчика по телефону — он томно мурлыкал на французском и энергично доказывал что-то на английском.

Моя мысль перенеслась поэтому сразу же к моей жене — помнит ли она что-то из португальского или испанского? А сам лихорадочно вспоминал, осталось ли что-нибудь у меня от дисков курса «для продвинутых». Кошмар! А я-то что буду делать за рубежом??? Эти мысли и эмоции проносились таким вихрем по моему лицу, что соседи моего столика вспомнили обо мне.

— Ты что? ты где? и с кем вообще? Глубокомысленный какой стал, — Эд встрепенулся первым.

— Ты поосторожнее! Сам ведь знаешь — не надо так глубоко копать, можно нарваться на бронтозавра, — поддержал его Волька.

А я думал о том, какие, в сущности, гроши я пересчитываю, касаемые этого именинного обеда, если полностью переодеться стоит весьма других цифр, к коим мне еще предстояло идти.

Я косился на цветковые ребусы, решенные в текстиле, тиссуре и аксессуарах Мартой, и очень плохо представлял, как это можно хотя бы отдаленно экстраполировать на одежды моей жены. Споры о баррелях нефти и способах употребления фуагры я поэтому полностью пропустил мимо своих ушей и думал только об одном — что времени до отъезда оставалось мало, и как сочесть несочетаемое, и иногда вставал на скользкий лед вопроса: зачем тащить свою семейную тусовку (но полученное благословение меня отрезвляло и заставляло мыслить без эмоций).

Контакт участников дружеского праздника со мной не состоялся, и сам я как-то с облегчением простился со всеми ними. Не заметив, в том числе, изумленного взора Марты, брошенного в ответ на полностью проигнорированный мною какой-то ее вопрос. Кажется, она произнесла себе только одно: «монотрекинг». Который, возможно, только и извинял мое рассеянное или, наоборот, по мнению Эда, глубокомысленное мое состояние.

«СНОВА ЗДОРОВА»

...

— Как, ты сначала поедешь один, без нас? на месяц?

— Командовать парадом буду я и задавать вопросы — соответственно! — довольно холодно на сей раз парировал я.

— Мика с Петькой стали драться, а я одна давно не справляюсь...

— Плохо! Очень плохо! А как же моя мама справлялась с нами? Достаточно было одного ее взора. Старайся, что я тебе — нянька? А что ты собиралась со следующими делать? Прибедняться ходить, жаловаться?

— Мы одни к тебе как же поедем...

— Иди работай, все, пока! — зло и весело проговорил я и захлопнул дверь за собой.

Белизна древних пород, перемолотая в муку — прибрежный песок, да синь воды с теплым небом, как мираж, уже стояли в моих глазах. «Баб-эль-Мандебский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив, ах, если б знать, Если б петь, если б плыть!» — запел я песню старых студенче-

ских лет Щербакова, — и центр моей души окатило жаром и непонятым, давно забытым волнением.

Это не лайнер, это я катил на огромной скорости по взлетному полю Шереметева-2. Я улетал в новые высоты. Выдернув себя из забвения, я примкнул к иллюминатору и с восторгом принялся отстреливать в объектив не то чтобы дальние дали, но «нижние низы», не менее притягательные и вдохновенные.

Фимыч был прав. Пальмы и вправду трепыхались на ветру, как рваные флаги. Зрелище не для слабонервных. А может, это излишки сезона. Я взял их на вооружение. Пусть! Не только гламурные, вперемешку с бикини глянцево-кофейных манекенщиц.

Я выпивал многое, что подбирал на ходу. Новый мир, упавший на меня с середины незнакомой земли, забивал всю память камеры. Вода — второе небо, и небо — вторая вода — раз! Камни этих каменных земель — все из камня — лес — как розы в маленьких клумбочках — ну, потому что не лесные эти земли. Камень — праматериал парфенонов и базилик. Это два! И большие птицы — местные народы — клювастые, глазастые и до невозможности яркие. Иначе нельзя — все перебьют цвета природы. Три! Трезвучие, на котором держались темы моих репортажек.

Снимки, перебежки и часы неслись со мной, как волны Средиземного этого моря. Я вздохнул глотал этот мир и к вящему неудовольствию обнаружил себя в точке приезда моего семейства. Куда деваться! Им я был обязан здешним пребыванием. Себя не обманешь. Потерплю...

Я знал, о чем будет допытываться отец Пахомий, поэтому первым делом составил краткий курс нашего передвижения и мигрирования по каменной этой стране. Минимум денег, минимум дней, но — ударные точки нашего пребывания. Я должен был отчитаться. Да и дражайшая половина не потянула бы сверх того. Поэтому главными точками были назначены мною ударные, на мой взгляд, горный Троодос, яркий Лимассол, духовно-исторический Пафос, пляж Афродиты в и кичающийся роскошью Киккский монастырь, где я мог бы заодно выхватить множество восхитительных планов — предмет моих будущей гордости в кабинете Фимыча...

— Будем смотреть достопримечательности или вместо этого просто поглощать еду?

— А без еды это как? — спросил Петька.

— А так: денег в обрез — либо еда, либо развлечения.

— Хочу развлечения! — завыл Мика.

— Лучше поедим, — отпарировал Петька.

— Ваш выбор, — подытожил я.

Нечто бесцветное и амебообразное, зовущееся моей женой, не проронило ни слова. Поэтому выбрана была еда. Я тоже был на стороне Петьки. К тому же я до тошноты посмотрелся на все достопримечательности. А вместе — ну, в какой-нибудь монастырь ходим. Надо же что-то отцу Пахомию рассказать!

— Хочу развлечения-и-я, карусели-и, на кА-а-атере, — завыл Мика.

— Все! — вспылал я — последний раз вместе съездили! Больше никогда и ни за что! с целым выводком.

Господи, кто же придумал это собрание придурков под названием семья. Или я — антисемьянин, или просто мизантроп. Ведь еще несколько недель до этого я с таким восторгом и счастьем смотрел на эти камни, лазурь воды и силуэты кораблей. Как же можно было и главное — каким образом — растоптать эту лирику? онесчастить меня до такого градуса?!

Мы засобирались на родину раньше. У жены начались мощные приступы тошноты от какой-то местной травы, запах которой ей чудился даже в морском прибое. Я был даже рад такому ходу событий. Да и мне она стала напоминать скалу в море — трапециевидную, широкую и замшелую.

Фимыч остался доволен моей работой и пообещал и другие увлекательные, на мой взгляд, заказы. Дензнаки за работу меня тоже впечатлили. К тому же они весьма оказались кстати — наше семейство увеличилось еще на два человека. После тяжелых и продолжительных родов родились двойняшки — Арина и Артем. На подмогу срочно подоспела тяжелая артиллерия — мамаша и калужская сноха «Леня». Почему-то они эту Лену звали «Леня». Иногда мне казалось, что она обладает не всем набором человеческих понятий. Эта «Леня», которую мне раньше не особо показывали, с ролью помощницы малышам справлялась неплохо. Меня раздражал ее замиравший на мне взор, который мог длиться бесконечно, пока мамаша не дергала «Леню» за руку, увлекая к груди белья для глажки.

Фимыч стал вызывать меня чаще в офис, и понемногу я сделался неотъемлемой частью корпорации и — как следствие — корпоративов. Я понял: час мой пробил. В домашнее занудство сватий баб Бабарих я больше никогда не вернусь.

ПЕРЕХОД

На меня надвинулся мир предметный и враз утомил меня. Те суперогромные снимки с аршин величиной, томные девы субтропиков и че-

ловекообразные леопарды. Все топ-работы мои, за которые я уже присвоил себе лауреатство. Которое мне грезилось как прежде Лаура — недостижимая, сверхсовершенная, как блоковская незнакомка.

Это было уже чересчур, я выключил свет и закрыл шум того вечера руками.

«Есть музыка над нами, — уверял Мандельштам». Мне она слышалась как щемящие сердце до ишемии ветры метровокзалов. Не совсем здешних, полуреальных. Я знал о ней. Я слышал эти звукоряды — параллельные во сне. Это были они. И это было то самое Оно. Перезвучки-переключки звезд, планет и просто редких астероидов. И кому я мог бы о них рассказать? Поэтому эмоциональность моя внешняя и некоторые импульсивные слова — всегда были ни о чем. Глубинные родники не имели выхода наружу. Должен был кто-то сам их отрыть. Это было выше слов. И едва облакалось в фонемы.

На одном из корпоративов у Фимыча на мой жизненный путь упала Селестин. Мои фонемы враз качнулись в ее сторону.

Позже я понял: Музыка выше любых чувств.

И самых прекрасных на свете женщин.

Это несравнимо.

Как Абсолют счастья.

НОВАЯ ВЕСНА. СЕЛЕСТИН

Мы долго не могли обойти столб колонны и переглядывались с двух сторон. Свет и звон — так я увидел ее.

Мы беседовали о каких-то иных мирах, о бескрайних океанах, и я знал: дело совсем в ином, в каком-то химическом элементе, в незримом процессе... Я погладил ее по плечу — на расстоянии вытянутой руки, не более. Я знал, она потом долго будет вспоминать этот жест. К нему нельзя придраться, но и незамеченным он не пройдет. Собственно, я знал, что я делаю. Я интриговал ее. Захочет — отзовется. А нет — я придумаю что-нибудь еще...

Селестин, и только так я именовал Женю — и, похоже, она не была против. Селестин, потому что такова она была. Я выдохнул. Впервые за многие годы.

Меня поздравляли с новорожденными, а я долго вспоминал, о чем идет речь. Собеседники смеялись, принимая это на счет недосыпа из-за младенцев. Но я был уже в ином измерении. Я четко знал: это момент, когда надо прыгать в последний вагон уже отъезжающего поезда. Чтобы никогда больше не пересекаться со снохами, золовками, дядьями...

Отец Пахомий отпал по свойству транзитивности. Селестин была почему-то вскоре уволена Фимычем. И ко мне он как-то переменялся, дружество осталось в давнем прошлом. Выгодных заказов поубавилось, и я понял, что пора искать другую работу. Настоящую, серьезную. Тем более, что я все начал с нуля. Боль моих ночей после восторженных вечеров не утихала — я знал, что там все прекрасно справятся без меня, но все же это были мои дети.

Но Селестин я никому бы не отдал. И на детей не сменял. «Выбор сделан, Рубикон переходить тебе» — и вот, я его перешел.

Подо мной горела земля. Младенцам я должен был что-то отчислять, не говоря уже о двух предыдущих. Но главное — я обещал Селестин сделать все, чтобы она ощущала себя королевой. Я верил в это и знал, что удача блеснет на моем горизонте. Горизонт алел от моего внутреннего напряжения — все как у классика — «горит восток зарею новой». И я горел вместе с ним. Это шел мой новый год. Это было мое новое тысячелетие.

Иногда звонками донимала жена. Голос ее был уже далеко не такой требовательный. Стонущий, что ли, безнадежный. Я же был непреклонен. Я сложил свою жизнь.

— И кстати! — не унимаясь, почти прошептал я ей недобро однажды в трубку. — Помнишь, как нам советовали быть аки зверям лесным? Заяц разве напяливает пиджак и бежит, вылупив косые свои, чтобы выслушать Мендельсона и под него же дать клятву? Нет! Одна под одним кустом, другая — за другим. Мужчина, он зачем? Он полигамен! Природа однако!

И как только вослед она пыталась назвать меня по-старому, «Аккордеончик, ну, пожалуйста, я же умираю, сил больше нет никаких», мощная волна ударила во мне, и я заорал что есть мочи в трубку:

— Никогда — слышишь? ни-ког-да! — больше не называй меня так, поняла??

В стену вослед за телефоном полетел зеленый бокал из-под кофе. Куски керамики озарили изумрудными осколками пространство кабинета, и этот вихрь, совершая в воздухе мажарский танец, был обломками всех на свете лайнеров, когда-либо упавших в пустынях мира. Это было крушение старого моего мира, который я яростно истреблял в себе.

Устав от прохладных душей Фимыча, придраться к которым было невозможно, квалифицировав для себя его тактику, как тактику «недомужика», я раскидал резюме где только можно. И одно из кадровых агентств откликнулось.

Я вновь вздохнул облегченно. И лазурный «Мэйбах» вновь, как субмарина, всплыл в моем восторженном сознании, и Зеленый мыс всех океанов и морей, и лучшие кадры мировых континентов. «ЗЭПэ» была внушительной. Мы встретим все закаты и восходы на берегу того океана, который выберет Селестин. И я привезу какие-нибудь невиданные ракушки детям — пусть радуются.

Я знал — Селестин смотрит на меня восторженными глазами, даже когда я сплю или отворачиваюсь к окну. Она счастлива. Я помог ей вырваться из ее малосемейки в Капотне, где у нее остались большая ворчливая мать и сестра с ДЦП. Не будь нашей встречи, этот бутон королевской розы зачах бы и не раскрылся своим очарованием.

Я любил в ней все — и тихое неточное напевание итальянских эстрадных песен, и то, как она закалывала высоко волосы на наших пикниках у озера, и даже когда пыталась нажимать абсолютно прямым указательным пальцем на клавиши синтезатора и, рассмеявшись, быстро бросала это неблагоприятное занятие. Я просто был счастлив возле нее, и это был *quorum praesentia sufficit* — «присутствие которых достаточно».

Я бы никогда не признал в Селестин девочку, окончившую ПТУ. «У меня сестра больная, мать всю жизнь — на заводе. Какие учебы? Надо было же совесть иметь» — объясняла Селестин. Она выплеснула на меня все детские обиды — нелюбви к ней матери, рассказы о благосклонности отца, которого нет в живых уже шесть лет.

Замкнутость Селестин привела к тому, что у нее как-то не получилось с подругами. Похоже, она в них и не нуждалась вовсе. И это было плюсом для меня. Я был — ее мир. Никаких больше Ириний и Олечек Поповых. И — Починков с пареной репой!

КОРПОРАЦИЯ

На новой работе мне все очень понравилось. Офисные одежды, от которых просто сходила с ума Селестин, топ-менеджмент, упакованный по последней французской моде в цветные созвучия пиджаков и галстуков, выстроенные палитра и ритм органайзеров на столах. Стильно, серьезно, продвинуто. Я учился новым реалиям, но подспудно во мне откуда-то прорывалась живая вода, готовая подмыть почву жестких конструкций этой конторы. Это ветер страниц и коридоров Фимыча вкупе с его морскими дюнами да хаосы лесных починковских троп отзывались в моей голове. Я изумлял себя собственным вольнолюбием.

Мои мысли прерывал громкоговоритель, бьющий звуками, как железный рельс во время химической опасности населению:

«Уважаемые сотрудники! Сегодня в 18.00 обязательный для всех курс «Сотрудник компании». Ждем всех без опоздания в актовом зале четвертого этажа».

Я запнулся за стол в рывке к кабинетному кулеру — даже чай не успею попить! И так мне бы посидеть с версткой часов до восьми. Значит, все коту под хвост — то ли с утра раньше наведаться, то ли...? Я не успел придумать вариант — как звонок по внутренней линии вызвал меня к заму.

«Надо отправить Вас, Аркадий, на выходные по делам благотворительности. Вы еще ни разу не участвовали, приобщаться, так сказать, к повседневным реалиям, спланироваться с коллективом, его, так сказать, корпоративной культурой».

Это выходные дни. Ну, ладно, только что я скажу Селестин? Разве она выдержит выходные в одиночестве? Меня несколько не передернуло на предмет того, как оставалась моя бывшая с кучей детей (и не только) в выходные, но и во все проходные, и вообще — безо всякой надежды на культурные мероприятия...

Наш суперкреативный зам и нач — зам сам себя и Петра Петровича (и Кота Котовича, надо думать, тоже) придумал офисный гимн. Для ощущения себя командой, готовой рвануть каждое утро с места в карьер, был придуман особый церемониал.

Сотрудники нашего подразделения, взявшись за руки, призакрыв до половины, а у кого и четвертины, глаза, пели его с чувством, как какие-нибудь футболисты Гвианы перед безнадежным для них матчем. Размежить веки надо было строго вовремя: на словах «это все наше общее дело-о-о!» — расцепить правую руку и приложить ее к сердцу.

Затем все поднимались на оперативку, и, обреченно бредя за замом самого себя, хотелось пропеть еще одни слова: «А он никакой не мучитель, а только наш добрый учитель!».

Еще издали подходя к конференц-залу, можно было, прислушавшись, понять: нач уже здесь.

— Ну, как? — спрашивал я Пашу-верстальщика.

— Читает, читатель. — отвечал мне он сообщнически.

Читал он, надо признаться, прескверно. Но — кто бы ему об этом сказал! И какое же это было испытание — слушать его протяжные окончания: «а-а-а», «о-о-о», «э-э-э». Но победоносный вид творца конторы царил над нашими замаскированными сентенциями: что мы были ему — он делал все, что хотел. И играл нами в свои шахматы.

Рекомендованной пищей — за что, я так понимаю, тоже начислялись баллы, была пища вегетарианская. С победоносным видом прино-

симые в кофе-рум салаты елись так, словно бы это было равнозначно провозглашению манифеста организации.

Как-то мы засиделись с Пашей верстальщиком над пробуксовывшим местом. Напряг авральный достиг в тот день своей кульминации. А жалоба, написанная на нас директором по персоналу Кариной, подлила еще больше масла в наш костер. Мы в «рабочий полдник», придуманный нами тут же, сгоняли за пол-литровой. Паша в обход неписаного правила купил себе сардельку.

Разливать в вазы водку не очень удобно, тем более в рабочее время. Тем более — из этой широкой бадьи ее пить. Но криминал был в другом — в употреблении животной пищи. В Пашиных глазах застыла весьма выразительная эмоция: процесс жевания большого куса сардельки застопорился, когда скрипнула первая дверь нашего цокольного помещения. Кадр — Пашино лицо и большой кусок запретной добычи в открытой пасти — именно так! — и это надо было снимать. В этом была вся идеология и внутренняя жизнь офиса. Его флаг, девиз и переходящий вымпел в одном флаконе, или вернее, вазе.

«Паша, спой про наше общее дело!» — хотел шепнуть ему я, но испугался, что он и вовсе подавится...

Тревога оказалась ложной, и Паша, отправив на дно своего внутреннего океана сардельку, с достоинством парировал:

— А я бы объяснил, что это модифицированный картон, всего-навсего симуляция подобного продукта.

— Картон — это бумага, а бумага — это дерево, Гринпису не понравится, — подзадорил я его.

Но Паша уже был сыт, как лучший гость, по Плюшкину, и свинье — отнюдь не товарищ.

МАРГИНАЛИИ НА ПОЛЯХ БУДНЕЙ

Я обернулся на чей-то зов. Это было фото старца, которого я еще застал при этой жизни, но так и не пообщался с ним в те далекие странные времена. «Вы ничего не понимаете. Все вообще не так», — вдруг прочитал я в его глазах. Ту боль в его глазах я прочитал именно так.

В общем, кое в чем она была права. Моя вторая половина тех лет. Ну, я что-то имел в душе к ней. И та поспешность — из-за отринутости меня накануне чешкой Ритой, за которой я тогда ухлестывал. Из-за этого легко бежится, порой, и в пещь огненную, и на подмостки актерские, и еще к зверям-драконам разным.

Но дилемма одна: или еда в клетке, или голодная охота на свободу. «Труд — единственное дозволенное нам удовольствие, — заповедовал Толстой. Еще бы, ведь человек — существо антирабочее. Потому как Адам создан был как со-Творец! Вот и тянет на это творчество, а реальность сразу была им же изменена, и «среди волчцов и терниев» творчество — это то еще удовольствие, в рубище и ранах, умирая, как моцарты и ван-гоги, даря все бонусы по смерти оборотистым сезанновским папашам Танги...

Об этом я думал в электричке пригородного вектора. И моим, таким же пригородным, мыслям подпевала гармошка уличных музыкантов:

«Я сама не зна-а-ю,
Я прошу сове-е-та:
С безответным чу-у-вством
Как на свете жить...»

Я ведь прибежал и вляпался в свою женитьбу — забить вакуум. От чего-то я вспомнил об этом. Ну, впрочем, что было — то прошло, надо двигаться дальше. Но неужели и сейчас с помощью новой весны я гашу отсутствие каких-то молекул?

И все-таки Селестин была тем, от чьего присутствия рвалось на ветру мое сердце и полыхало сознание, и до молекул с их броуновским движением мне не было никакого дела. Селестин была у меня в руках, и я знал, что эту птицу я буду бережно, но довольно цепко держать.

ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА НА КАМБИИ

Из дальних далей возвратясь, просуществовав в иной реальности какое-то время, изменения обнаруживаешь в метро. Нравы, манеры, моды и погоды. Потому что сначала попадаешь именно туда. Спустя энное количество лет, присутствия коих вполне достаточно, приехав в Первопрестольную, ищешь того, от чего уехал. Это понятно. У меня было предощущения нырка в старомосковскую жизнь. От православной городской публики я ожидал именно этого. Но нашел я другое.

В лице особо рьяных, — обычных, только тематических, снобов.

Кто-то, прежде всегда хилый и тщедушный, лихо вскарабкался по карьерному столбу, что тот дооктябрьский еще охотник аттракционный — за красными сапогами. И, натянув на себя вожделенную обувь, сразу ощутил себя главным законоучителем. Не святость как цель, а те же чины — Грибоедов отдыхает вместе с Гоголем!

И тогда я ощутил почти на уровне осязания: нельзя это сыграть. И псевдорелигиозные реверансы никогда не станут тем, что есть интеллигентность. И тогда же я побрел в те места, так тронувшие меня на

восходе 80-х своей связью с доброй и лучшей стариной, — в один из храмов в переулках старой Москвы.

— Ты помнишь его? — обратился отец Пахомий к своему ктитору, — он просто был моложе.

— И пригоже, — вполголоса dokonчил фразу Константин Константинович, «КосьКосич», пробегая, глаза долу, вдоль меня.

Отец Пахомий был всегда искренен с самим собой, даже если и заблуждался. Чего нельзя было сказать о бывшем партийном лидере — невыносимо и безупречно благообразном Константине Константиновиче.

Эсфирь Владиленовна неожиданно для меня несколько умирилась. И ее некогда менторский тон осадился и вобрал в себя поправку. Опав, как листва клена, он обнажил стройный и пронзительный ум. Душа, просветлев, исправила облик.

Московские же салоны не изменились. «Поверьте, не изменят их ни годы их, ни моды, ни погоды!»... О, Александр Григорьевич! Вы живы вовеки, и словно Чацкий прошептал мне все это недавно в гостиных!

Забежав на какой-то чересчур гламурный сейшн по мольбам Вольки («Там обязательно тебе надо побывать!»), среди ровного течения лиц, вышкой Линии Электропередач громоздился какой-то фотограф «Серж».

«Серж снимет, а-ха...» — томно тянули звуки дамы в горжетках.

Я понял: дело не в цифрах. Годы — ни при чем. Важней — пароходы. От какой жизни ты пришел сию минуту. Я пришел — ни дать ни взять — из погребца с овинами и гумном.

Серж, пришедший с островов («Серж только что с Гоа, а такой белый») Серж, с черепом Фантомаса, в расклевшем костюме, то и дело пригибался со своим «Никоном». И если бы я встретил его в лесу — точно решил бы, что это маньяк.

Яростный оскал на гладком фасаде стриженного под ноль и лакированного его глобуса с глазами — серыми яблоками — удивили меня ненавистью в его зрачках.

Возможно, именно так должна выглядеть Звезда. Возможно, — откуда мне знать?

Серж был сутуловат, как вопросительный знак, и на тезисы горжеток иногда бессловесно и так же маньячно растягивал улыбку. И вновь, как баян — меха, стягивал ее в исходное положение.

Я же буквально в первые дни понял: не стоит ни о чем рассказывать. Штрихи моих заокольных будней отображались сверканием ужаса в глазах собеседника. Так современник слушает очевидца — жителя

палеозойской эры — и думает тут же про себя ...или даже не думает, а испытывает страх общения с инопланетянами, туземцами и прочими маргиналами...

Мир отступал. Отныне средоточием всех моих счастливых суток была фигурка Селестин, которую я не всегда понимал. И спустя многие годы, окунувшись в каньон мгновенного кошмара открытого мне космосом сознания, узнал: ее форма не содержала ничего конгруэнтного мне! Ни на один атом! Пластика замещала для меня Вселенную, и я, находясь во власти ее кружений, кружев, движений бархата ресниц, на том и останавливался.

Но счастье имеет срок.

И он бывает много меньше периода житейских лет...

ВОДОПАДЫ И ПЕРЕКАТЫ

Никаких больше «Аккордеончиков». Только «Арчи», «Арчи» — так шептала мне Селестин.

Мы были на одной волне. Мне казалось.

Что была наша жизнь с ней после лазурных вод неба в моем объективе и всплесков мелкой волны рек наших суббот? Еда-сон-питье-одежда-обувь-деньги-счета-удаляющиеся Гавайи с бунгало, в котором нам не жить, понимал я со временем.

«Главное — не это, главное — мы вместе» — шептала Селестин, все более впиваясь мне в руку.

А мне нужны были Гавайи! Как же мне были они нужны! С Селестин, конечно. Но без островов все начинало повторяться. То, что мне было пугающе знакомо, да еще с набирающими обороты скоростью бытовыми раскладами. У Селестин, с ее ПэТЭУ-шным прошлым, они имели и оттенок, откус каких-то ПэТЭУ-шных раскладов, шуток, нюансов. Простота, которая очаровала меня в виде ее молодости, была тоже — увы! — с налетом той же средовой атмосферы.

Я понизил свой градус. И однажды ночью после небольшой размолвки, а вернее недомолвки, покрылся неприятным холодом: я не смогу войти с ней в круг Эда, Вольки, а к Марте лучше с ней и вовсе не соваться. «Нашел еще дурее?» У бывшей жены, все ясно, религиозный флер перекрыл весь водопровод мыслей и чувств, а здесь — один цоколь. Красивый, задрапированный в мысли чужих книг. Но цоколь.

И все же я не оставлял мечты появится с Селестин перед Мартой. За последнее время я начал набрасывать некоторые аккорды, выстраивать какие-то секвенции, у меня складывалась своя музыка! И я знал, что это можно будет сыграть на одной из наших встреч с прежней

гвардией. «Вот что любовь настоящая делает! — тихо мимоходом скажу я им тогда...

— Может, на дискотеку выберемся? — довольно оживленно спросила Селестин. Она знала, что я ей ни в чем не отказываю. Дискотека — конечно, свободный жест после «простите-благодарите», но внутри меня бушевал океан. Туман терявшихся в облаках вертикальных пиков, хижина притаившегося среди горных террас затворника — гениального Дюрренматта; отбирающие все фонемы и лексемы багровые полусферы заката в стране диких водопадов, бредущие к водопаду ламы. Взамен — собрание скачущих под стандартные звуки, а вернее ритмы «клубняка»... и те новые нотные записи, что я пытался озвучить Селестин, оставались без ответной реакции...

Селестин уже прервала диалог. Его не будет. Она будет молчать. Часы, сутки, если понадобится — недели. Я ничего не смогу ей объяснить. И вдруг я понял, что и не хочу. И даже мириться — как-то особо — тоже...

Я стал напоминать себе шар, стремящийся своим объемом к нулю. Чего никак нельзя было сказать о моем лице. Я подошел к зеркалу. Где тот знаменитый крем-антирайдер? Без него, а может, уже и безвозвратно, я претерпел изменения. Из Зазеркалья на меня смотрел прошедший не одну войну полулысый шарпей.

Бороздя мили житейского моря, все «как шло, так и ехало». Я дышал временами восторгом, наблюдая силуэт Селестин, млея на закатном солнце от прорисовки ее жестов на экране желтой стены столовой, гостевой веранды или хрупких, как она, витрин.

Но иногда на Луне бывали взрывы. Вначале — едва слышные. Затем — все громче и жутче.

— Пейнтбол, — протянул я как-то новенькую винтовку-маркер Селестин.

— ...

— Ты не рада?

— Ты рад.

— Но... — ...

Селестин в такие минуты не была сильна в словах. Ответы были на лице.

Все, что угодно, но я никак не мог осознать, что моя радость для нее останется не важной настолько.

Казус вивенди, но моя речь за время жизни с Селестин как-то оскудела, вернее — обесцветилась. Ушли смысловые трезвучия. Остались одни трезубцы.

Так живописный холст сменяется фотоснимком из «мыльницы». Вид вроде тот же, но смысл и импульс — исчезли. Сейчас я бы уже не смог повторить те фразы и синтаксические фигуры, которым аплодировали мои учителя.

Эти длинные взгляды, полудвижения рта Селестин, которые я должен был непрерывно разгадывать, а не разгадав — становиться прицелом ее остракизма. Виновный, я покупал охапки желтых роз. Последние новинки французских парфюмеров. Услуги СПА-салонов. Эти длинные, неподкупные взгляды открыли мне ее качество: неумолимость. Просьбы были пустяковые. Моя прежняя жена бросалась их выполнять, как голкипер на последней минуте матча. Но Селестин и не думала собирать эти шайбы. Только долгий, не без возмущения, взор.

Я приходил в замешательство. Пытался оправдать Селестин и даже восхищаться ею. Твердостью, пониманием своей цены. Она не давала мне растечься за пределы моей формы! Ни достать самые низменные ноты моей души. Селестин меня морализовала как... Да, как королевский представитель отряда пресмыкающихся. Я ахнул про себя, чуть было не вымолвив слово.

«Аркадий, потерпи, новый объектив купишь через пару месяцев» — уговаривал я свое Эго, — Мир — прежде всего». «Но не все же и не вечно в одни и те же ворота», — кричало мне в ответ возмущенно мое Эго. «Заткнись, Аркадий». Я затыкался. Но. Я раздвоился. Обсуждал сам с собой. Мы с моим вторым Эго не выносили тотальной тишины. Я как бы вновь был в диалоге. Только с собой.

Редкая, как лучезарное лето среди ягелей тундры, улыбка Селестин, была отрадой. Но скорее — критерием моего спокойствия. И вектором, что я на верном пути к моему расслаблению. Я делал легкий выдох. Но неожиданно вновь получал укол в спину. И все продолжалось.

У меня — неслыханно! — появилось «давление», какие-то немощи, которые я терпеть не мог в своей бывшей.

Наша беседа с Селестин принимала затейливый вид двух разноязычных собеседников.

— Мне не хватает воздуха, — говорил я, ощутив спазм за грудиной.

— Я нашла восхитительный маршрут в Кордильерах.

— Там легко дышать?

— Это недешево, но Мартыновы обзавидуются.

— Где-то были мои таблетки...

— Через месяц там будет славная погода, надо поторопиться с билетами.

— Хотя бы влажные салфетки, все стучит в голове.

— Если мы напряжемся и не будем отвлекаться на пустяки, можно набрать нужную сумму.

— Хотя бы воды что ли стакан...

— Там дивные водоемы. Главное — активный отдых. Мартыновы ходят на фитнес дважды в день.

Я потерял равновесие и упал в проем. В глазах замельтешило, а в ушах застучали отбойные молотки.

Селестин, отодвинув журнал, выдохнув с досадой, что придется менять удобное положение у перил возле окна с закатом, сказала:

— Надо собраться. Не расслабляйся. Всего месяц остается. Мы не должны потакать своим слабостям. А то не попадем на Кордильеры, ты слышишь?

Я пытался. Это было единственным, что адресовалось мне лично.

Уходя от толпы, я шел к своей свободе.

Но где я оказался?

Что-то царапало сердце. Воля исчезала днями. Долги, в кои я не вошел — вбежал! — ради Селестин, казались легкими. Но внутри дверей оказались намного суровой. Чтобы удержать Селестин, я бросался на многие чудачества, не свойственные моей натуре.

— Да? — это почти все, что могла она спросить в ответ на мой жест на грани жизни и смерти. Не замечая, как я иду без балансира по проводу между четвертыми этажами соседних домов, восторгалась мишурой уличных аттракционов, уродливыми фигурами бездарных аниматоров.

Мы словно жили на разных полюсах мысли. Единомыслие обернулось параллельномыслием. Я ощутил скуку. Но силуэт Селестин, отраженный на всех лучезарных фонах, забирал мою голову в страну надежд. Я бодрился. «Аркадий, все хорошо, и будет хорошо!» — строго командовал я сам себе, пока яд тоски разливался внутри меня, как цианистый калий.

Военное время «Че» близилось, я бы позже уточнил: «время Ше» — я сказал об этом в ше-сть пополудни... Мне надо было сообщить о своем окончательном уходе к другим берегам. Навсегда. Навсегда. Навсегда.

Мне не очень хотелось ехать в калужские леса. Но ее приезд сюда с двумя грудными детьми тоже не особо укладывался в моем сознании. Лучше уж приехать, сказать, как есть. Зато оттуда легче уехать. Пришел-сделал дело — ушел. «Мавр сделал свое дело — мавр может уходить!»

Решение сказать правду мучило меня непрерывно. Правда и только правда! Селестин в самом начале нашего с ней общения предупредила: лезть, лицемерие и ложь она не приемлет! О, как она всегда тверда и умна! — не уставал я восхищаться ее ровностью и цельностью. Ее принципы звучали для меня — как прохладная вода в жару. Намаявшись с угодливостью и полуправдами своей бывшей, я отдыхал на этих моментах характера Селестин. «Не мяч, но меч!..», — перефразировал я известное высказывание.

Утром в четверг я отправился по последнему своему трафику в ненавистную мне Калугу. Радостно наблюдал за окном отходящие в скучное прошлое циолковские места, радуясь, что это — в последний раз.

Меня ждали с обильным застольем. Не садились без меня и не ели, кажется, полдня. Как же я отвык от гама и крика за последнее время! Детские вопли, окрики родни: «не делай», «прекрати», «перестань» — утомили меня уже почти на пороге. Какое счастье, что все это скоро кончится! С Селестин мы мечтали только об океанских восходах, перевалках Альп и экзотическом дайвинге. Я поболтал со старшим о том, как он научился «чеканить мяч», пощелкал языком с младенцами, Мика был «у дядьев» — чтобы разрядить и без того непростую обстановку. Когда уже все разбрелись, а младенцы, на удивление, дружно уснули, я, не поворачиваясь к жене, произнес: «Я думаю, ты не будешь против, нам пора разойтись в разные стороны. Каждый — сам за себя. Я устал, мы давно друг друга не любим, я думаю, ты не возражаешь, если мы теперь будем жить по-отдельности. Да и Калугу я не люблю...». Мне кажется, она сразу не поняла, что я имел в виду.

— Но причем здесь Калуга? Я здесь, чтобы тебе было проще работать, зарабатывать, я и так не мешаю, у нас же четверо...

— Я без тебя умею считать, сколько... — и выговорил с ее интонацией — ...«у нас»!

— Живи, конечно, где хочешь, но почему ты хочешь совсем куда-то уехать...

— Ты не понимаешь, мне нужна особая обстановка для творчества, уединение...

— Но нас и так нет в Москве.

— При чем здесь Москва? Я вообще говорю про тотальный разезд. Мы не будем больше жить вместе — никогда, понимаешь, или ты совсем отупела здесь от своих сосок с пеленками?? Ты вообще хоть что-нибудь понимаешь или нет? Что ты вылупилась на меня?

Ее серое отечное лицо с рабской покорностью и печатью вечного горя были невыносимы. Не женщина, а ноль, нет, пожалуй — минус! С

уродами я точно не собирался жить. Что мне с ней делать? Ни в одном обществе не покажешься, да и без общества она меня мало интересовала. Диалог исчез давно. Мы перекидывались фразами. Хоть бы дверью однажды хлопнула! Нет, одна только рабская сущность. Какое счастье, что у меня теперь есть Селестин!! Небо, спасибо тебе за все! Избавь меня от соседствующего уродства! Чур меня, чур! Только счастье!

— Деньги пока буду присылать на детей, а в остальном — ничего, работать пойдешь, заработаешь, сколько захочешь. Няньки-мамки и сенные девушки помогут с детьми. А кому сейчас легко?

Она пыталась обнять меня, но я, смеясь, отбросил ее руку и, натянув ей на голову шарф, толкнул ее в противоположный угол.

Все, дело сделано, теперь только взять свой кофр, обуться и лететь — на всех парах — навстречу своей свободе, счастью, радости и невероятной любви.

Со мной заключила выгодный контракт одна международная фирма по производству постеров и наружной рекламы. Им понравились мои фотоколлажи в стиле «techno». Раскидывая во весь монитор свой очередной опус, я с достоинством оборачивался к Селестин:

— Как?

Обычно она сидела в углу низкого кирпично-атласного татами и, поджав ноги, чертила очередные модели одежды. Или смотрела видосы, короткие, впрочем. Полнометражки мы договорились смотреть вместе.

Я ждал. Собственно — чего? Шелеста ресниц, сверкнувшего луча сквозь их каштановый бархат... В ответ была аккуратная тишина. Взгляд Селестин следом бежал прочь из этой комнаты.

— ... — пожимание плечами, встряхивание волос.

Иногда вопрос:

— Это дорогой заказ?

— Этот формат — как обычно. Я не о том. Классно получилось?

— Давай сходим в «Et'''».

«Et'''» был фешенебельный ресторан, неподалеку от нас, в левом проулке от дома. Я знал пристрастие Селестин к выхаживанию по ковровым дорожкам сквозь череду обслуги.

Чего я, собственно, ждал? Никто, слава Богу, не прыгал от восторга и не бил в ладоши, зовя есть утиную кулебяку «свата-зятя-дядь-Коли-Васи-Мити». Здесь был ровный холодный индифферент. Мои фотоколлажи как искусство ничего не значили для Селестин. Только их денежный эквивалент.

Зрителей у меня не было. Мои работы отсматривал лишь хмурый Отто, главный по бильду в той Ltd, иногда бормотавший «О-кей?» — с повышением на последнем звуке. И все. С Эдом, Волькой и Каровскими я не виделся уже несколько лет. Они тоже были брошены к ногам Селестин.

Селестин ведь неплохо разбиралась в цвете, формах. Почему она молчит, как сфинкс?? Если бы мои фотоработы были вовсе никудышними, их отверг бы белобрысый швед Отто. Я очень сильно хотел в такие моменты взорваться. Но весь диалог вовсе умрет в таком случае. Она замолчит. Будет молчать неделю, если надо. Или больше.

Закурив, я просто выбежал на улицу. «Аркадий, тебе же объясняли йоги — не сделав три глубоких вдоха, не принимай решений!»

Я дышал на лету дымом «Benson & Hedges», сетуя, что их табак сильно проигрывает тому, что был в конце 80-х, и замолкал сам.

Временами я пытался анализировать более обстоятельно. Что не совсем так? Селестин, любимая — рядом... может, это отзвуки философии Артюра Рембо? «И тает греза...» Может, это общее место — когда все хорошо, то не очень хорошо?

Таких ночей становилось все больше. Я просыпался в 4 утра, брел на кухню, утопая в бархатном пледе и шлепанцах перуанской ламы. Доставал колебас и бомбилью, заваривал мате. Пронзительно смотрел в окно, в редкие вспышки дальних огней, иногда — в пробивающийся рассвет. Туда, где я надеялся увидеть блестящий маяк из своего детства, о котором мне так загадочно рассказывал брат моей мамы, дядя Алик. «Зачеркнуть бы всю жизнь, да по новой начать», — взбредали в мою голову строчки. Все уже и так почти великолепно. Чего мне, старчу, еще надобно? Печаль задерживала меня на кухне надолго. И всякий раз Селестин, отзываясь на мой случайный в тишине дребезг, столь громоподобный в ночной тиши, изумлялась: «Опять не спишь? Новый велосипед, что ли, изобретаешь?».

Я шел спать, но мука моя продолжала бодрствовать. Временами рисуя мне тоскливые образы в прерывистом сне.

НУЛЬ ПО КЕЛЬВИНУ

Тема Селестин — генеральная пауза.

— Селестин, как тебе эта музыка?

Подергивание плечами.

Раньше я принимал ее молчание за глубокомыслие. Но понемногу это становилось утомительным. Я невольно вспоминал информативное молчание Марты. В конце концов, оно все равно разрешалось в доми-

нанту или тонику с мощным звучанием смысла. В случае с Селестин был нуль по Кельвину, а он, как известно, сподвигает вещество переходить в иное состояние. А это — ни дать ни взять — температура Большого Взрыва. И он случился...

— Кто тебе ближе: Моне или Мане, — спросил я Селестин, протягивая альбом.

— Сам-то понял, что сказал? Одно и то же ведь. — Она раскрыла репродукции, дернув плечом. — Я тоже так могу.

Я внутренне замерз. Холод каких-то неведомых мне пустынных метровозалов ворвался в мое сердце.

— Повесь то, что хотелось бы тебе видеть в нашем жилище.

Через неделю в нашей прихожей (далее я просто не пропустил) висела переливающаяся всеми синтетическими блестками картинка, превращающаяся то в какую-то гору, то в цветущие сады.

О вкусах не спорят. В конце концов, то, что висит на стене, можно заслонить шкафом, затенить с помощью светильника. Но надвигающиеся как-то исподволь, но неотступно шансонные попевки типа «Фа-та-гра — а-фия девять на двена-а-дцать» обращали раз за разом атмосферу наших домашних вечеров в дешевый придорожный кафетерий.

Не успело отступить от меня песенно-хоровое творчество Хавроний с Маврами, как забрезжили со своими тремя аккордами Жиганы с Любашами.

Я жил звуками, ими считывал настроение Вселенной, смысл и вдохи Мирового Океана. И одним зимним вечером колки внутренней моей настройки взорвались — надсадным мелизмом какой-то лагерной Светы, взвизгивавшей на вершине фальшивого стона. Я очень спокойно и, как мне казалось, выдержанно попросил Селестин убрать громкость. Разве что добавив одно только слово: «по максимуму».

Селестин убрала звук. Затем встала и ушла спать на кухню. На следующий день я вспомнил, что до дня рождения Вольки остается неделя с небольшим. Моя музыка, со всеми фиоритурами и штрихами, записана подробно на стационарном домашнем компе. Поэтому первое, что я сделал, придя вечером, — почти с порога кинулся переслушать все, что было набросано мною за последние полгода, трек по времени тянул уже на семь минут!

Я не поверил глазам. На компьютере было все. Кроме двух файлов. Одного моего сборника лучших этнических мелодий и ритмов афроазиатских стран, которые я отрывал где только возможно. И собственно моего авторского, с той самой сочиненной музыкой. Я, забыв уже про все наши размолвки, бросился к Селестин:

— Селестин, милая, ты ничего здесь не перемещала? Может, глюк какой-то — двух файлов нет, они всегда на рабочем столе!

Мне как-то и в голову не приходило сделать копии этих файлов, они всегда были под рукой, и ничто с ними не случилось.

— Ты же ведь ничего здесь не удаляла?

Плотное, непроглядное как драповые шторы, молчание довесил взгляд. На меня недвижно, в упор, абсолютно неумолимо смотрели два темных зрачка. И это была не характеристика их цвета. Это была их сущность и смертельное оружие. И тогда я умер...

... «Все-все. Это все, что я хочу», — у меня в одну строчку слетелись разные песни. Так разные виды птиц собираются на птичий базар или в кружении над заливом в преддверии грозы. Я дробил талый сизый лед уходящего февраля и наступавшего на ботинки марта.

Я должен идти. Вначале — уйти. Чтобы не облечь в грязные разводы красивую историю последних лет.

Куда?! Я ощущал два пути.

С планеты вовсе — в межзвездно-потусторонний холод. Или на прежнее свое обиталище. Пути было два.

На третий у меня уже попросту не хватало дыхания. Отчаяние в возможности нового замка было больше меня самого.

Машинально перекидывая вещи, я понимал абсолют их бутафории, сущностный ноль их изяществ и не мог найти берегов внутри себя.

Я ухожу. И в какую из сторон — я узнаю, только закрыв дверь под названием «Селестин».

Ветер рвет мои паруса, захлопывая своим порывом заветный проем за моей спиной.

Кто-то был очень прав: «За спиной у нас только развалины». Но одну из разбитых цитаделей я могу еще вернуть к Жизни.

Ради тех левкоев, которые еще могут распуститься весной. Бегущих за мной во весь опор. В надежде, что я все же оглянусь...

СТИХИ

Дина Дронфорт

Франкфурт/Майн, Германия

КОГДА-НИБУДЬ

НЕБЕСА ДЛЯ ЮЛИИ

Ты не знаешь, какими синими
вечерами дарил февраль.
Ты — дитя, на руках носимое.
Не понятна тебе печаль
проводящей стаю немощи.
Не разделишь со мной строки
упоения сводом, рдеющим
над излучинами реки.
Не клубится греховой пропастью
угрожающий небосклон,
вышина не лучится кротостью
сквозь молитвенный шёпот крон.
А когда-то под зимним куполом
землю выснежит круговерть
и на темя, как в детстве глупое,
чёрным пологом ляжет смерть.

Ты — дитя. Голубеют заводи
небесами недолгих лет.
Улыбнись же, безвинной памяти
ничего прозрачнее нет.



ХРАНИТЕЛЬ

Часы прокукарекают и дня
стальной корсет затанет позвоночник.
Исчадия луны — химеры ночи —
смолкая, в тень отступят от меня.

Ладонью маску тяжкую стерев,
спиной изображу кариатиду.
Луна меж тем скрывается из виду,
невинно унося ночной напев.

Что ж, радуйся! Усерден ангел твой,
моленья и капризы исполняет.
И в слове синева сквозит льняная,
и хлеб не горек милостью чужой.

А всё теперь нехстати и не впрок.
Луна ли под сурдинку темя точит
и тело бледной немочью морочит?
Но если отзовется парой строк

душа из хрупкой кельи костяной —
Хранитель, знаю, учит терпеливо
превозмогать полночное светило
молитвой — и смиренной, и простой.

ВЕШНИЙ НАПЕВ

От вороньего диалекта
до шафрановой стайки нот —
разомлев на припёке, ветка
кулачок листвы разожмёт.

Всё вернётся — дождём по листьям,
маргаритками в мураве.

Всё, как водится — так же быстры
те же ласточки в синеве.

В берегах лебединых стариц
та же будет бродить вода.
Те же лошади — стать и глянец!
Только я не вернусь сюда.

По примятой траве у края
утонувших в воде лещин
навестить вас придёт другая,
постарев на пяток морщин.

Мимо яблони, мимо окон,
по тропинке к вам не приду —
я останусь гулять в далёком,
зеленеющем вечно году.

ТИШИНА ФАТЕРШТЕТЕНА

Громогласие Мюнхена тонет в цикадах предместий,
благолепны герани балконов, причудны дороги.
Не добраться до этой глуши ничему, кроме вести
о рождённом от девы, распятом, но признанном Боге.

На душе тишина — ни салюта, ни птичьего солнца,
не рокочет лавина, молчат законные слёзы.
Горизонт между белым и чёрным сегодня не рвётся,
пара мушек-машин по ландшафту, и те безголосы.

Все вопросы поставлены, выданы впрок все ответы.
Растворяясь в тиши, утихают порывы и страсти.
Так приходит к смирению каждый когда-то и где-то,
осознав, что ни в чём,

даже в собственной смерти,
не властен.

ВИДЕНЬЕ

Зá полночь. Титры дневного кино.
Веки под занавес, кошка урчит.
Входят виденья...

Вот, скажем, одно:
как-то привиделось в зимней ночи,
что череду перелётных годин
вдруг отменил поднебесный судья
и от щедрот мне оставил один
месяц на сборы в иные края.

Месяц! — затикал взахлёб метроном,
темень круша в бисер микросекунд,
ночь объявляя непрожитым днём.
Минус неделя. Как стрелки бегут!
Планов — достало бы путь устелить
в рай — мимо ада — по мелкой воде —
по океану — пущу корабли
жизни своей... За оставшийся день?

Стойте, часы! Завершая земной
срок обучения горней любви,
годы листаю в надежде немой,
не обнаружить пробелы свои.
Чем оправдаюсь, встречая судью?
Ждёт — и заслуженно — место в аду.
Поздно, трубят и подали ладью —
Руку, Харон, я готова. Иду!

ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ

Затмило солнце миртом и полынью,
и рокотом дохнуло после дня —
то оседают стен моих твердыни,
под осыпью нещадно хороня

Врата вдали, встававшие стеной —
беззвучная калитка у порога
пути домой — в начало, в лоно Бога.
И мне века судить себя самой.

Дина Дронфорт (1963, Москва) — поэт, основатель литературного проекта «Невод».

Родилась и выросла в Подмосковье, окончила московский Легпром по специальности конструктор. С начала 90-х годов живет в Германии. По профессии информатик, личное время отдает фотографии и литературе. Активист международного литературного Форума «Солнечный ветер». Член Союза литераторов Российской Федерации.

Публикуется в ежегодной «Антологии поэзии русского зарубежья» издательства «Алетейя» (СПб.), в сетевых и печатных альманахах «Эмигрантская Лира», «45-я параллель», «Белый ворон», «Ас-соль», «Новая литература», в «Литературной газете», в журналах «Крещатик», «Textura», «Перископ-Волга», «Литературные знакомства». В 2010 году выпустила книгу лирики «Огонь в ладонях». В издательстве «Алетейя» готовится к выпуску 2-е издание книги «Огонь в ладонях» и новый поэтический сборник «Небеса для Юлии».

Владислав Козьминых

Пермь



Мечты о розовом слоне

Мечтаю я о розовом слоне
Как о подарке, каждую субботу.
Как жаль, что на задумчивой Луне
Выходят днём из дома на работу

Почти все, но не слон. Упрямо ждёт,
Что напишу ему я SMS-ку
И перешлю. А если снег пройдёт,
То отодвину влево занавеску

И выгляну в окно, и обращусь к Луне,
Ей нашепчу на лунном заклинанье,
И подожду, пока ответит мне
И позовёт с ушастым на свиданье.

Известного числа, в ночь перед Рождеством
Возможно будет всё, заметим с торжеством!

Авторский перевод

Dreams of a Pink Elephant

Pink Elephant, I dream as soon
About him as every Sunday night.
On lighting of the thoughtful Moon
For somebody one tries to write.

True Elephant does patient wait
For me to draw a message for,
And quickly forward it. Too snows late,
Then I'll move the curtain as before

And look out, turning to the light.
I'll whisper then a lunar hidden spell,
And wait until the answer's bright,
Inviting me to meet together well.

A certain date, on Christmas night before
Would possible be everything, no more.

В будущее

*На мотив:
«Из них ослабнет кто-то
И небо упадёт».*

Рукой достать до неба,
Понять, что высоко.
С собою крошка хлеба
И дышится легко.

Размеренно шагами
По времени идти
За стрелками кругами.
Теперь меня не жди

Капуста и котлета,
К вам аппетита нет.

Я в будущее лето
Куплю себе билет.

Два метра и направо,
А там дверной пролёт.
За мной моя держава
Направит вертолёт.

Желание без меры
Отправиться скорей —
Стандартные размеры
Межкомнатных дверей

Мешают дум полёту
Достигнуть высоты,
Где трезвому расчёту
Не воплотить мечты.

Жизнь с котом
(или повесть о таре)

Не выдумать лучше дара
На мой двадцать пятый год,
Чем с ручками кошко-тара,
И в ней разместится кот.

Хвостатого за загривок
Недолго я придержу
И в клетку после прививок
С улыбкой его посажу.

Не будет мяукать громко
И ночью царапать дверь.
Не зря полимерная кромка
Прогнулась спиной как зверь.

Детей милосердных ватага
Не прочь разобраться с котом,

Но сладко уснёт бродяга,
А всё остальное — потом.

Представь, что берут за шкуру
И садят хотя бы на час,
Сперва запереть квартиру,
А воду давать через раз.

Должны мы, пока не стары,
Услышать внутренний глас:
Дома — человеко-тары,
Квартиры — клетки для глаз.

Знакомые дымки севера

«Потому, что я с севера, что ли»

Отчего не хватает воли
Доверяться теплу лучей?
Потому, что с севера, что ли,
Остаёшься не свой, ничей.

Над гнездом колдовать кукушки
Как бывает, уже не смогу
И стихи сочинять как Пушкин,
Обернувшись на том берегу.

Был сегодня строками пьяный,
И пока не рассеян дурман
Проносился звук форте-пианный
И листок ложился в карман.

Оглянувшись, пойти по дороге,
Пусть обещанным дышит путь,
Вдохновения на пороге
Направляясь куда-нибудь.

Рисунок на кружке

По бокам проявляются кружки,
Лишь зальёшь кипятком кисель,
Разыгравшиеся подружки —
Узнаваемая карусель.

Беззаботно играют дети,
Веселятся, будто апрель,
Пусть покажется в розовом свете
Разыгравшаяся метель.

Сергей Калабухин

Коломна

ЖИТЕЙСКОЕ

ПИСЬМО



*Я к Вам пишу, чего же боле?
Что я могу ещё сказать?
А.С.Пушкин*

Я всё сказал, не будем доле
Друг другу нервы мы трепать.
Нет сил и дальше жить в неволе
И выход из неё искать.

Скандалов, ревности, обмана
Меж нами выросла стена.
Стоим пред ней, как два барана,
Ведь на двоих она одна.

Расстанемся, любовь иссякла.
И будем мы теперь на "Вы".

Моя решимость не размякла —
Ведь Ваши слёзы не новы.

Упрёки, клятвы и притворство
Теперь оставьте для других.
Пусть буду я один, как остров
Средь волн житейских, но без них!

Я Вас любил, а Вы — не знаю...
Для Вас карьера и друзья
Важней семьи. Не понимаю,
Зачем тогда Вам нужен я?

Сожителем я был негодным:
Детей хотел и ревновал.
Прощайте! Вы теперь свободны
Играть в Ваш вечный карнавал.

УМНАЯ ДУРА

Устало пениться шампанское в бокалах,
И начал плавиться в креманке шоколад,
Давно уже лежим на простынях мы алых,
Но чёртов секс у нас всё не идёт на лад.

С трудом я победил проклятые застёжки,
Раздел, простил звучащий фоном клавишин,
Не раз погладил её голенькие ножки,
Коленом постарался вбить меж ними клин.

Она не протестует, даже помогает.
Но отвлекает от процесса диалог.
Её вопросы меня сильно раздражают,
Не умным разговором должен быть пролог:

Любовная прелюдия из поцелуев,
Взаимных ласк, объятий, нарастанья чувств.
А тут вопрос: мне нравится Николай Клюев?
Какое больше нравится мне из искусств?

Чюрлёнис как мне, а? Она в полном восторге!
Опало всё во мне, любовный пыл угас.
Где радости любви? Лежу я, будто в морге.
Такой конфуз со мною в первый раз...

Зачем откликнулся на взгляд её призывный?
Какой облом, позор! Я так её хотел,
Давно мечтал, почти любил, дурак наивный!
Свиданья ждал, терпел, на крыльях к ней летел.

Свиданья, секс не для заумных разговоров.
Когда с моей любимой я ложусь в кровать,
Признания в любви и комплиментов ворох
Должны меж поцелуев с наших уст слетать.

Вся страстная любовь и даже уваженье
К заумной этой дуре испарились в миг.
Начать, но не закончить — это униженье!
Позор и стыд мучительный меня настиг.

Спаситель-телефон: сигнал его играет.
— Прости, но надо срочно мне домой бежать!
— Случилось что-то там?
— Соседи заливают...
О, как же вовремя ты позвонила, мать!

ТОСКА

Милая,
тоскую по тебе вновь я.
Память — в прошлое окно,
И я смотрю в него давно.

Вижу я
Всю прелесть того сентября:

Стаи в небе, птичий гам,
И ярко светит солнце нам.

Мы вдвоём
С тобой и по ночам, и днём.
Дача, шелест трав, кустов,
Пьянящий аромат цветов.

Ягод вкус.
И в нежной страсти вдруг — укус!
Пыл любви и жар костра,
Злой писк ночного комара.

Помнишь ты
Тогдашние свои мечты?
Жизнь казалась нам с тобой
Прекрасной сказкой и судьбой.

Всё ушло:
И счастье, и любовь, и зло.
Годы без тебя текут
Потоком чёрным, как мазут.

Никого
Нет рядом, кто бы дал тепло.
Я один с тех пор, как мы
Расстались из-за ерунды.

Память жжёт.
Разлуку гордость бережёт.
Сделать к примиренью шаг
Стесняюсь. Вот же я дурак!

Без тебя
Ношу в душе лишь зиму я.
Всюду вижу лишь снега,
Совсем теряю берега.

Милая,
весна пришла, ручьи звенят.

Жизнь ликует, пенье, смех
Везде звучат. Иное — грех!

Лишь теперь,
Когда вокруг стучит капель,
То, что мне казалось злом,
Неважным стало, глупым сном.

Слёзы лить
Зачем — не лучше ли простить?
Встречу ждать и приближать,
Вернуть любовь — вот благодать!

Прочь, тоска!
Надежда — тонкая доска,
Хлипкий, ненадёжный мост
Над пропастью обид, форпост.

Вот звоню,
Пробить хочу твою броню.
Я мечтаю лишь о том,
что вновь придёшь ты в этот дом.

Встретимся.
Ни слова мы не скажем зря.
На руки возьму тебя,
Через порог внесу, любя.

Навсегда
Мой дом станет твоим тогда.
Вместе жизнь в нём проживём.
Отныне до конца вдвоём.

Не молчи,
Обиду свою выкричи.
Всё скажи, ну а потом
Прости и приходи в наш дом...

ПОМИРИМСЯ?

Я вовсе не хочу меж нами трений,
Но прёт наружу из нутра вся дурь:
Пришла пора сезонных обострений,
И Солнце шлёт каскад магнитных бурь.

Стерпи, любимая, мои скандалы,
Колючки розы и мороз души.
Не будем рушить всё: мы не вандалы.
Не торопись любовь ко мне душить.

Утихнут бури, расцветут вновь розы,
Гроза над нами унесётся прочь,
Забудутся колючки и морозы,
И ясный день прогонит злую ночь.

ОБЫВАТЕЛЬ

Не пасу я скот,
Даже не берусь.
Вожакom в народ
Тоже не гожусь.

Не горит во мне
Лидера огонь.
Эгоизм и лень —
Суть моя и бронь.

Не манит в окне
Дальняя звезда.
Неприятны мне
Рельсы, поезда.

И машин поток,
В море корабли
Ускоряют ток
Не моей крови.

Затонувший бриг
Иль зарытый клад
Всколыхнут на миг
Затхлый мой уклад.

Но не стоит, нет
Слёзы лить по мне.
Расскажу секрет:
Счастлив я вполне!

На любой вопрос
Точно, без прикрас,
Без соплей и слёз
Дам ответ я враз:

Как страной рулить,
Войны как вести,
Чужих жён любить,
Скот в горах пасти.

Не боюсь вранья.
Знаю всех и вся.
На таких, как я,
Держится земля!

ВЫБОР

Жизнь — это рай. Жизнь — это ад.
Каждый в раю оказаться бы рад.
Чаще же мы, впав в новый грех,
Слышим судьбы дьявольский смех.

Каждый соблазн тянет, манит.
Секс и любовь — мощный магнит!
Как же тут в рай можно попасть?
Ад вновь раскрыл жадную пасть...

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Наемся мяса
С лучком и хреном.
Напьюсь я кваса,
Вот это — дело!

Долой овсянка
И виски с элем!
Прочь, англичанка,
И бар в отеле.

Девиц красивой
Джюльетт Европы
У нас, в России,
Хоть кушай попой!

Натура русская —
Хлеб-соль, отвага.
Душа не узкая,
И это — благо.

Получен нами
Урок жестокий.
Долой чужое!
Вернём истоки.

ЗАЧЕМ?

Программа жизни в общем-то проста:
Построить дом, наследника родить,
Желательно дожить нам лет до ста
И дерево хотя бы посадить.

Не всё смог сделать Славка, мой сосед.
Ему не надо было строить дом:
С родителями прожил много лет.
Один остался после них потом.

В трёхкомнатной квартире куковал
Один как перст сей маменькин сынок.
Как жить без мамы, он не понимал,
Женой, детьми обзавестись не смог,

Компаний шумных Славка не любил,
Втихую пил и книжки всё читал,
И женщин изредка домой водил,
Деревья на субботниках сажал.

Как слесарь он имел авторитет,
И три медали Славка заслужил.
На пенсии сгорел за пару лет.
Зачем на этом свете Славка жил?

Я выполнил программу жизни всю.
Жена и дети, внук и внучки есть.
Домами обеспечил всю семью.
И даже не пришлось в кредиты лезть.

На даче сад деревьев насажал.
Работал на заводе, честно жил.
Десяток с лишним книжек написал.
За труд свой три медали получил.

На пенсии, и можно задрать нос:
Всё хорошо, писателем слыву!
Но мучает проклятый тот вопрос:
Зачем на этом свете я живу?

ПОСТСЕКСУАЛЬНОЕ

О, женщины, с которыми я рядом спал,
Простите мой внезапный, крепкий сон.
Не я один тогда утратил свой запал —
Признайтесь, мы сопели в унисон!

НА ДАЧЕ

На семью у нас шесть соток,
Ягод, фруктов много здесь.
А в семье у нас шесть глоток —
Кто из них всё будет есть?

Баба с дедом, дочка с зятем,
Внук и внучка — кто из них?
В огороде пашет баба,
Дочка правит деду стих,

Зять обычно на работе,
Он на даче редкий гость.
Внуки летом беззаботны...
Тащат деду ягод горсть!

64

И вновь рубеж преодолён,
Мне шестьдесят четыре!
Итогом удовлетворён.
Не пропил жизнь в трактире.
Инфаркт имею, внуков, дом.
Жена — мечта поэта!
На даче рай, а не содом.
Что скажете на это?

ОБЛОМ

Ручку гладил,
В щёчку целовал...
Гад-будильник!
Сон какой пропал...

Я пишу

Да, я — писатель, я пишу
Не на заборе, на бумаге
Делиться мыслями спешу,
Пусть и сродни они дворняге:

Нет знатных предков. Есть диплом,
Но не филолог, инженер я.
С сюжетами порой облом,
И рифма не всегда манерна.

Но удовольствия — вагон!
И пусть отвергнет текст издатель,
Всё ж предпочтёт мой "самогон"
"Вину с медалями" Читатель.

Дмитрий Учитель

Днепр, Украина

НЕСЛУЧИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ (2003-2024)

Неслучившейся жизни
Снится сон:
Вот она стучит мелком
По коричневой доске,
Второпях объясняя материал
И тревожно поглядывая через плечо,
А позже стирая с доски
И то, что знали,
И то, что забыть успели.

(Она с рождения не доверяет
Дежурной жизни,
Вот и не поручает ей
Даже эту работу).

Она помнит,
Как в детстве
Забиралась на льдину
Своего самолюбия
И дрейфовала на ней,
Пока ее не спасал звонок.
И сейчас,
Оглядываясь,
Она видит их —
Белую льдину,
Белый экран,
Белый луч.

Она живёт
Внутри фильмоскопа —
За себя
И за нас.

ЁЛКИ (2003)

Нос и рот прикрыв
Рукавицей,
Идёшь по краю
Снежного поля.

За ним —
Внезапный спуск
В обледенелый двор,
Грузовик,
Ёлки в верёвках...

И каждая просит
Дать ей кров
И звезду на удачу.

ПОВЕСТЬ

Андрей Саломатов

Москва

СИНДРОМ КАНДИНСКОГО



Мир, сотканный из той же пряжи, что наши сны...
(В. Шекспир)

Заканчивался душный субтропический август. Город плавился от жары, словно охваченный невидимым пожаром. На горах, отделяющих Гагру от большого мира, гигантским лохматым париком лежало облако, и белесые космы его стекали по едва заметным снизу ложбинам.

Ветер дул вдоль побережья, сырой и вялый; он нес запахи не моря и далеких стран, но подгоревшего шашлыка и забродивших водорослей.

Никого не было вокруг, и на вокзале безлюдье казалось особенно неестественным. Лишь иногда в дверях появлялся толстый усатый дежурный по станции; лениво, с какой-то приклеенной презрительной гримасой, он оглядывал свою вотчину и пыхтя удалялся к себе.

К приходу десятичасового московского поезда из вокзальных дверей, из-за касс и пыльных кустов вдруг пошел народ с сумками и узлами. В киосках зашевелились продавцы теплой газированной воды и старых газет, и даже появились две грязные бродячие собаки с голодными скорбными мордами.

Поезд подошел вовремя. Локомотив медленно протянул длинный грязный состав вдоль перрона, и диспетчер с характерным кавказским акцентом объявил о приходе поезда Москва — Сухуми. Тут большая серая туча закрыла солнце, и по асфальту защелкали редкие крупные капли дождя. Проявившись на раскаленной мостовой в виде темных звездочек, они тут же испарялись, поднимаясь вверх теплым асфальтовым духом. Похоже, только собаки и оценили мимолетное облегчение от небывалого в это время года дождя. Они стояли посреди перрона, высунув розовые языки, и жмурились от удовольствия, не обращая внимания на посадочную панику.

После того как поезд ушел, а прибывшие бледные отдыхающие с чемоданами и баулами разбрелись по привокзальной площади, на перроне остался странный человек в белом слегка помятом смокинге и таких же белых щегольских туфлях. Он был высок, узкоплеч, держался картинно, не без изящества поводя в стороны красиво вылепленной головой. Возраст приезжего определить было трудно, что-то от тридцати до сорока двух. Лицо его выражало пресыщенность жизнью, глаза смотрели устало, с той обреченностью, которая отличает бездомных собак от их более удачливых собратьев. Весь багаж приезжего состоял из белого кожаного кейса и тяжелой картонной коробки, для удобства перевязанной белым же парчовым галстуком.

Постояв несколько минут под редким теплым дождем, приезжий перешел через железнодорожные пути, миновал станционный пакгауз и, повернув налево, вышел к баракам, один из которых, а именно крайний, наполовину сгорел.

Приезжий остановился у покосившейся калитки, заглянул в прожавевший, раскуроченный почтовый ящик и вошел во двор. Видно было, что уцелевшую часть барака давно покинули. Дверь висела на одной петле, выбитые окна были нараспашку, кругом царили хаос и запустение. Лишь небольшая пристройка слева от дома являла собой не тронутый разрухой и тленом уголок уюта и благополучия. С одной стороны тщательно выбеленного строения росла старая раскидистая смоковница, с другой — не менее старая яблоня. Две могучие виноградные лозы оплели оба дерева и сомкнулись над крышей пристройки, образовав живой купол-раковину со сложным подвижным рисунком. Внутри пристройки стояла плита, на которой хозяйева за ненадобностью оставили сковороду с вогнутым дном, служившую, наверное, не один десяток лет и не одному поколению. По углам валялись мутные разнокалиберные банки да несколько журналов «Вокруг света». Было прохладно, пахло плесенью и побелкой, а по углам пауки успели свить целые полотнища паутины, из чего было ясно, что не живут здесь давно.

Бесцельно побродив по крошечному дворику, приезжий взял вещи и вышел на улицу.

— Комнату хотите снять? — услышал он женский голос. — Я сдам. Самую лучшую. Не ходите больше никуда, лучше, чем у меня, ничего не получите.

Приезжий остановился, поискал глазами и увидел за забором крепкую пожилую хохлушку, загорелую до того, что ее светло-голубые глаза на фоне бледного выгоревшего неба казались побелами.

— Комнату, — глухим голосом, сквозь зубы, подтвердил приезжий. Видно, слова давались ему с трудом. Лицо его было покрыто испариной, а глазные яблоки словно плавали в каком-то розоватом бульоне. — С отдельным входом, чтобы не беспокоить вас. Я люблю гулять по ночам.

Хозяйка оценивающе осмотрела клиента с ног до головы и открыла калитку.

— Жарко, — посочувствовала она. — Эти бараки еще в прошлом году выселили. После пожара. Два человека сгорели — пьяные были. А вы что, бывали у нас на Чанба? Что-то я вас не припомню.

— Бывал, — ответил приезжий, — четыре года назад. Я знаю, что барак сгорел, мне говорили. А куда жильцов выселили?

— А их всех в один дом поселили. На Лакоба, в восемнадцатизэтажку. Рядом с рынком, знаете? — Хозяйка подвела приезжего к небольшой пристройке размером с общественный туалет на четыре персоны, открыла дверь и будто экскурсовод в царских хоробах широким жестом показала: — Вот ваша комната с отдельным входом. Белье чистое, вчера меняла. Беру я недорого — пять рублей за сутки. Правила у меня такие: женщин водить нельзя, гулянки устраивать нельзя. В общем, располагайтесь. — Она вытерла руки о передник и спросила: — Вы надолго приехали?

— Недельку побуду, — ответил приезжий.

— Деньги вперед, у меня такое правило, — внушительно сказала хозяйка. — И паспорт ваш разрешите. Вам он на пляже не нужен, а мне спокойнее.

Паспорт хозяйка изучала долго, с неподдельным вохровским любопытством вглядываясь в каждую строчку. Она прочла фамилию, имя, отчество, внимательно сверила фотографию с оригиналом и с удовлетворением отметила:

— Москвич. В прошлом году у меня тоже москвичи отдыхали. Ну, такие неаккуратные, такие неаккуратные... заразы. Табаком провоняли всю комнату и... — На мгновение смутившись, она вдруг добавила: — Вы уж простите меня, мужик ее всю стену обоссал. Леня было до туалета дойти. Пришлось заново домик белить. Небось, в Москве он такого не делает.

— Я не буду, — вымученно улыбнувшись, сказал Антон и достал деньги. Под рассказ хозяйки о том, как прошлогодние жильцы пьянствовали, он расплатился, вошел в комнату и вежливо спросил: — Я отдохну?

— Да, конечно, отдыхайте! — радостно воскликнула хозяйка. — Вы же сюда и приехали отдыхать. Туалет вон там, в огороде. Если спросите захотите или еще чего, я в доме. Меня тетей Марусей зовут. Постучите, и все.

— Спасибо, — поблагодарил Антон и закрыл дверь.

Оставшись один, он сел на застеленную кровать и машинально осмотрел свое временное жилище. Затем положил рядом с собой кейс, открыл его и некоторое время невидящими глазами разглядывал содержимое. Просидев так минут пять, он достал из кармашка кейса сложенный вдвое тетрадный листок, раскрыл его и в который раз прочитал: «Антон, я больше не люблю тебя и не хочу с тобой жить! Все кончено. Не могу так больше. Когда я вижу твои синие исколотые руки, мне не хочется жить. Ты давно уже не человек, ты — труп. И все твои друзья — трупы. Я не желаю больше быть невольной участницей преступления, не хочу знать, что человек, с которым я живу под одной крышей,— наркоман. Все! Может, это и жестоко, но ты неизлечим, а я хочу еще нормально пожить. Я молодая женщина. Через неделю мы с Иришкой уезжаем в Гагру. Прошу тебя, не превращай нашу квартиру в притон для наркоманов. Разъедемся, делай что хочешь. Лена».

Прочитав записку, Антон сунул ее обратно в карман кейса, достал из-под пакета с туалетными принадлежностями никелированный стерилизатор и пробормотал:

— Ну, здравствуй, друг... Давно не виделись. — Он тщательно перетянул резиновым жгутом руку выше локтя и открыл стерилизатор. — Значит, говоришь, не любишь, — прошептал он, — это я уже давно понял. Был и со мной в шалаше рай, но в шалаше женщина быстро становится шалашовкой. В королевском дворце — соответственно королевой. Ну, дай тебе бог. — Втянув содержимое ампулы в шприц, он откинулся к стене и, сморщившись, ввел иглу в набухшую вену.

Уже через несколько секунд выражение лица его сильно изменилось: мышцы расслабились и обвисли, веки опустились, а нижняя челюсть медленно сползла на грудь. Антону казалось, что он падает в бездонный каменный колодец, все уменьшаясь и уменьшаясь, и в тот момент, когда весь стал размером с синтаксическую точку, в нем будто произошел взрыв. Он принялся катастрофически расти, раздаваясь и вверх и вширь, пока не заполнил собой пространство вокруг. Это состояние — Алисы, вкусившей из пузырька волшебной жидкости,— было самым приятным во всей этой процедуре. Затем наступало долгое покойное блаженство, мир как бы сгущался вокруг Антона, становился маленьким и уютным, словно одноместный космический корабль из ка-

кого-нибудь пятидесятого века с фантастически комфортабельной каютой, где все предусмотрено и все работает исключительно для того, чтобы пассажир получал удовольствие от полета в холодном космическом пространстве.

Некоторое время Антон неподвижно сидел на кровати, прислонившись к стене. Мысли его текли медленно и широко, словно полноводная равнинная река, и Антону казалось, что он уже и не человек, а цветущая планета с морями и океанами, лесами и горами, на которой обитают лишь прекрасные умные животные, понимающие мир как свободное сообщество всего живого. Когда это первое ощущение несколько потускнело, Антон медленно убрал стерилизатор в кейс, захлопнул его, а сам вышел из каморки и устроился на скамье в мерцающей микроскопическими зайчиками тени виноградника. Где-то совсем рядом разговаривали женщины. Один голос принадлежал хозяйке дома.

— Да на что мне одна? Возьми, пожалуйста, — сказала хозяйка.

— Ты знаешь, Марусь, у меня знакомая есть, так у нее девочка как раз с одной ногой, с левой. И размер как раз подходит. Двадцатый у нее размер. Ей эта туфелька точь-в-точь будет. А то ведь мать ей покупает по две туфельки, по одной не продают. Так вот, вторую все время выбрасывать приходится.

— Слушай, — оживилась хозяйка, — может, у тебя есть знакомая с одной правой ногой тридцать седьмого размера? Валяется туфля уже лет пять, а выбросить жалко.

На некоторое время воцарилось молчание, затем второй голос ответил:

— Знаешь, Марусь, есть у меня такая знакомая. И как раз с правой ногой, и размер ножки тот.

После этих слов Антон встал и вернулся к себе в каморку. Он никак не мог понять, происходил ли такой диалог в действительности или был лишь наркотическим бредом, вулканическим выбросом ожившего подсознания...

Антон попытался вспомнить, какой размер ноги у дочери, но понял, что не знает этого и не знал никогда. Зато вспомнил, что собирался написать жене письмо — ответ на ту записку, благодаря которой он и оказался здесь.

Несколько минут у него ушло на то, чтобы придумать, как обратиться к жене: назвать ли ее ласковым домашним именем или, съерничав, написать что-нибудь вроде: «Здорово, стерва!» Правда, во втором случае не было гарантии, что Лена дочитает письмо до конца, а ему хотелось рассказать ей какую-нибудь душевную историю, поиграть на

нервах и, возможно, вызвать чувство вины. Решив, однако, не злить жену попусту, Антон начал вполне благопристойно:

«Здравствуй, Лена! Я все же решил написать тебе. Ты уехала так быстро, что мы не успели ни поговорить, ни договориться. Поверь, я знаю свою вину, последнее время часто вспоминаю все то, что пришлось тебе вытерпеть за несколько лет нашей совместной жизни, и, откровенно говоря, меня удивляет твое долготерпение. Скорее всего ты правильно сделала, что ушла от меня. Нашу семью трудно назвать счастливой, благополучной. Я — наркоман, ты, кстати,— тоже. Ты же не можешь без «люблю, люблю!». Предвижу твой ответ: мол, так устроил Бог, такова жизнь. Бог устроил так самку и самца, а мы — люди... Все! Молчу! Считаю, что беру свои слова обратно.

Мы с тобой давно живем в разных измерениях и встречаемся только на границе, разделяющей наши такие непохожие миры. Тебе ненавистен мой образ жизни, мне же скучно в том уютном мирке, к которому ты благоволишь. Просто нам нужны разные среды обитания.

Один мой знакомый как-то сказал, что мы живем на окраине окраины. Я только недавно понял: он имел в виду не удаленность от цивилизованного мира, не политическую изолированность и не расположение Солнечной системы относительно центра галактики. Он имел в виду нашу примитивность. Само наше существование окраинно. Вспомни соседа — безмозглое существо, которое все время сверлит стены, что-то мастерит, бегаёт по квартире, как насекомое в стеклянной банке, и хвастает: «Вот какую я мешалку вырезал!» Женщины плачут от умиления.

Помнишь, мы поссорились и я сбежал от тебя из пансионата на Севане? Я тогда очень долго бродил по лесу, совершенно выбился из сил и так заплутал, что уже и не надеялся выбраться. Я был близок к истерике, как вдруг услышал человеческий голос. Меня окликнули: «Эй, путник! Иди сюда». Когда я наконец увидел эту пару, у меня сразу отлегло от сердца. Я так обрадовался, что и не удивился странной картине. На небольшой поляне был постелен ковер, на нем сидели двое: красивый стареющий кавказец с пышными усами и эффектная блондинка лет тридцати. Ковер напоминал скатерть-самобранку; но то ли они недавно расположились, то ли у них не было аппетита,— блюда стояли совершенно нетронутыми.

— Иди поешь, путник, — снова позвал меня усатый.

Я не заставил себя долго упрашивать, сел напротив странной пары, представился и вкратце рассказал, что со мной приключилось. Тем временем усатый налил мне полный фужер водки, я выпил за их здоро-

вье и хорошо поел. Во время ужина он рассказал мне, как выйти на дорогу... Потом, наевшись и опьянев, я незаметно для себя уснул.

Когда же от холода и сырости проснулся, уже светало. Рядом со мной никого не оказалось, даже трава на поляне стояла совершенно вертикально, будто и не было никакого ужина на ковре. Однако рассказ усатого я запомнил и, встав, пошел в направлении, которое он указал. Я пожалел, что не догадался поискать поблизости от поляны следы машины, — понятно, что попасть туда с таким количеством вещей можно было только на машине. Я мял живот, пытаюсь определить, ел вчера или нет, но ни к чему не пришел.

Так я шагал до самого полудня, пока не увидел очень похожую поляну. Я даже остановился от удивления и раскрыл рот, потому что и здесь, на уже виденном ковре, сидела та же пара. Увидев меня, усатый махнул рукой, сказав знакомую фразу:

— Эй, путник! Иди сюда.

Не буду описывать, что происходило первые полчаса, в течение которых я пытался объяснить им, что мы встречались не далее как вчера. Они смотрели на меня, ласково улыбались и все отрицали. Но когда я назвал их имена, а потом пересказал то, что усатый говорил мне прошлым вечером, они переглянулись, затем усатый налил мне полный фужер водки и сказал:

— Вчера вечером нас там не было и не могло быть. Забудь об этом, тебе все приснилось.

Точь-в-точь как вчера, я выпил водки, плотно пообедал, и усатый показал мне путь к дороге. Было очень жарко, от еды и водки меня разморило, и я — никогда не прощу себе этого — снова уснул.

Проснулся я ближе к вечеру. Надо ли говорить, что рядом со мной никого не оказалось. Вокруг не было даже намек на стоянку. Я на коленках облазил всю поляну в поисках окурка или какой-нибудь бумажки. Не было ничего.

До поселка, о котором говорил усатый, я добрался глубокой ночью. Через поселок проходила асфальтовая дорога, по ней-то я и пошел дальше, размышляя, в действительности ли встретил в лесу ту странную пару или все это мне приснилось? Подобные мысли мучают меня до сих пор. Мне кажется, что и жизнь с тобой не что иное, как краткий глубокий сон на лесной поляне. Иногда думаю, будто живем мы только во время таких вот переходов от стоянки к стоянке. Остальное — сон, в котором мы тщимся разобраться, куда же идти. Наверное, вся жизнь заключается в этих переходах...

Я собираюсь пробить здесь неделю. Надеюсь встретить тебя, Гагра — город маленький, где-нибудь обязательно пересечемся. Днем я буду бродить в тех местах, где четыре года назад мы прогуливались вместе.

Антон».

Сложив письмо вчетверо, Антон взял кейс и вышел из каморки. Он пересек двор, невнимательно ответил на приветствие шедшей навстречу молодой женщины в купальнике и направился к сгоревшему бараку. Там он опустил в ржавый почтовый ящик свое послание и не торопясь отправился к морю. Дорогу он знал хорошо — не раз ходил по ней. Ему даже показалось, что он узнает женщин, сидящих на скамейках у калинок. Антон иногда здоровался с ними, и они охотно отвечали ему, а затем долго провожали взглядом, судача меж собой, чей это сын, зять или внук.

Жара стояла мучительная, идти было тяжело, вскоре асфальт сменился песком, и Антон пошел совсем медленно, едва перебирая ногами. Наступать он старался на рваные островки какой-то зеленой вьющейся травы, обходил зловеще-красивые кусты дурмана с колючими плодами, похожими на каштаны. При этом он думал о Лене, о том, как она прочтет письмо и захочет ли встретиться с ним. Несмотря на усталость и зной, он чуть заметно улыбался своим мыслям и изредка вслух отвечал ей на воображаемые вопросы: «да», «нет», «понимаешь?..».

Море было спокойным и чистым. Слепили бликами едва заметные волны, с тихим шипением наплывая и рассасываясь в мелкой прибрежной гальке. Народу на пляже было немного — отдыхающие предпочитали загорать ближе к центру, где можно было пообедать и пересидеть самую жару в кафе под раскидистыми платанами.

Пройдя с километр по раскаленному песку и камням, Антон вконец обессилел, уронил кейс и повалился рядом с ним. Упав на бок, он натянул на голову пиджак, прикрыл глаза. И тотчас в наступившей мгле в его усталом разомлевшем мозгу закрутились огненно-красные плоские диски. Вращаясь, они медленно уплывали в чернильную даль и где-то там, за неощутимым горизонтом, падали вниз, словно новенькие золотые червонцы, в бездонную копилку бытия.

У Антона больше не было ни сил, ни желания идти дальше, хотя до ближайших деревьев оставалось не более трехсот метров. Он чувствовал бесконечную слабость, равнодушно подумал о том, что не ел со вчерашнего дня, и попытался проглотить слюну, но ему это не удалось — во рту было сухо, как в пустыне. Антон снова подумал о Лене и в который раз ощутил, как истончаются и рвутся связывавшие их нити, и вместо этой связи, вместо привычного состояния покоя, которое всегда

вызывали в нем мысли о ней, в душе его медленно и неотвратно росла холодная тупая боль. Она давила изнутри, и, как он ни старался вычерпать ее из себя, она не кончалась, будто черпалась из бездонного колодца. Иногда ему начинало казаться, что это уже и не боль, а нескончаемая глухая тоска... будто познал он какую-то запретную тайну жизни, заглянул туда, куда простым смертным заглядывать запрещено, ибо они догадываются, что раскрытие такой тайны обнажает жизнь, делая ее бессмысленной.

Сколько пролежал, Антон не знал. Иногда он впадал в полудрему, бормотал что-то во сне и вскрикивал, напуганный кошмарными видениями. Солнце уже висело низко над горизонтом, и полупустой пляж обезлюдел совсем; черные узорчатые тени от кустов дурмана увеличивались на глазах, а на смену спящему дню пришел густой душный вечер.

Антон разбудило шуршание шагов. Рядом с ним что-то еле слышно прошелестело, и он ощутил едва уловимый, сладковатый запах духов. Открыв глаза, Антон увидел удаляющуюся женскую фигуру в длинном белом платье, такую эфемерную в этом нагретом, дрожащем воздухе, что непонятно было, продолжает ли он спать или уже проснулся и наяву наблюдает, как мягко ступает этот хорошенький фантом по грязному песку.

Антон долго провожал взглядом странную незнакомку, затем встал, добрался до воды и тщательно умылся. В свою каморку возвращаться не хотелось. Четыре близко расположенные стены, оклеенные дешевыми, пузырящимися обоями, и низкий потолок внушали ему ужас. Изнутри каморка была похожа на большую картонную коробку для энтомологической коллекции, и, казалось, стоит только вернуться и лечь, как коробка откроется и огромное стальное жало пришьпилит его к кровати, словно насекомое. Он даже представил, как хрустнет позвоночник под гигантской нержавеющей булавкой, и содрогнулся от отвращения.

Антон не очень-то и понимал, зачем приехал сюда, чего ждет от этой поездки. Ответа ли на письмо, встречи с Леной, хотя все ему уже было сказано,— или какой-то необыкновенной развязки. Он чуял, что очень скоро должно произойти нечто совершенно неординарное в его жизни, и никак не хотел согласится с тем, что это уже произошло.

Подобрав кейс, Антон пошел дальше, прочь от города, в ту сторону, куда ушла незнакомка в белом платье.

Темнота наступила неожиданно. Оранжевый диск солнца закатился за горизонт, оставив после себя лишь слегка разбеленное небо да зеленую дорожку на тихой воде. Берег в этом глухом месте никак не ос-

вещался. Только впереди, там, где днем сквозь дымку едва виднелся мыс Пицунды, мерцали фонари.

Антон шел по берегу не менее получаса, пока не увидел справа от себя, среди густых черных зарослей виноградника, освещенные окна большого дома. Он пошел вдоль забора и вскоре наткнулся на высокую металлическую калитку. Чем-то знакомым повеяло от этого темного ночного сада за высоким забором, хотя подобное он мог увидеть на любой улице курортного города: деревья, освещенные у порога решетчатым фонарем, летняя кухня, центральная асфальтовая дорожка и калитка из листового железа, покрашенная в зеленый цвет.

Антон толкнул калитку, вошел в сад, и тут же из-за угла дома появилась та самая незнакомка в белом платье с эмалированной миской в руках. Несмотря на то, что Антон видел ее мельком и только сзади, он сразу узнал ее и в нерешительности остановился, придумывая, чем объяснить хозяйке дома свое появление. А женщина поставила миску на скамью и поспешила прямо к гостю.

— Ну заходите же,— еще издали громко позвала она.— Заходите, не стесняйтесь. Все давно ждут вас.

— Меня? — удивился Антон.— Я, простите, шел мимо, увидел свет... зашел спросить... э... где я нахожусь. Это ведь уже не Гагра?

— Не Гагра, не Гагра,— приблизившись, ответила хозяйка.— Пойдемте в дом. Я вас узнала. Вы спали на песке.

— Я вас тоже узнал. Вы прошли мимо меня минут двадцать назад,— отозвался Антон.

— Я так и подумала, что вы идете к нам,— чему-то радуясь, сказала хозяйка и взяла Антон под руку.— Сегодня тридцатое августа, на отдыхающего вы не похожи, к тому же на пляже в костюме, да еще в белом, не спят. Да еще этот кейс..

Они медленно шли по дорожке, и Антон успел разглядеть свою спутницу. На вид ей было лет тридцать пять, но выглядела она замечательно. Черты ее лица были тонкими, а фигура какой-то несовременно женственной. Похоже, она совершенно не пользовалась косметикой, которая лишь сделала бы ее подобной сотням других женщин, нарисованных по единому образцу.

— Вы все-таки меня с кем-то спутали,— улыбнувшись, сказал Антон.— Я не знаю вас, не собирался к вам ни тридцатого августа, ни первого сентября. Просто шел мимо.

— Однако же пришли сюда,— ответила хозяйка,— и именно тридцатого августа. Да не сопротивляйтесь вы. Мы вас не съедим. Чувствуйте себя как дома, ведите себя как вам заблагорассудится, только

одна просьба: не обижайте маму. Ей уже далеко за семьдесят. Потерпите. Она так долго ждала этого дня.

— Какую маму? — не понял Антон.

Они взошли по ступенькам на широкое дощатое крыльцо и остановились.

— Мою маму, — ответила хозяйка. — Ее зовут Елена Александровна. Ну можете вы побыть нашим гостем? Вы же никуда не торопитесь, да? Кстати, меня зовут Наташа. А вас?

— Антон, — проходя в дом, ответил Антон.

— Сейчас вы все узнаете, Антон... — Наташа остановилась у какой-то двери, оглядела гостя с ног до головы и взволнованно добавила: — Главное, не бойтесь и не обижайте маму. Она открыла дверь и втолкнула Антона в ярко освещенную большую комнату. Первое, что он увидел, был огромный овальный стол посреди комнаты, уставленный, как в какой-нибудь великий праздник, редкими для этих мест яствами. За столом на расстоянии вытянутой руки друг от друга сидели немолодые люди, одетые по-праздничному, но с лицами напряженными и суровыми, будто в ожидании чего-то значительного и не очень приятного. И только у высокой сухопарой старухи во главе стола выражение лица было слащавым и испуганным одновременно. Она со страхом и мольбой смотрела на вошедшего, губы ее беззвучно шевелились, а глаза быстро наполнялись слезами.

— Вот, это он, — сказала Наташа. — Он немного опоздал — спал на пляже. Но все же пришел. Так что принимай гостя, мама.

— Здравствуйте, — растерянно поздоровался Антон. — Я, собственно, шел мимо. Зашел спросит, а Наташа...

Старуха медленно поднялась со своего места и, не спуская глаз с Антона, направилась к нему. Она шла так пугающе целеустремленно, что Антону сделалось не по себе, и он подумал, что напрасно позволил втянуть себя в игру, смысла и правил которой не знает и не понимает.

Старуха подошла почти вплотную к Антону и, глядя снизу вверх ему прямо в глаза, тихо, но с большим чувством сказала по-французски:

— Bonjour, mon cher, tu est enfin arrive¹.

— Мама, он может не знать французского, — подала голос Наташа, которая отошла от Антона и стояла, прислонившись к стене рядом с огромным и тяжелым, как изба, книжным шкафом.

¹ Здравствуй, дорогой, наконец-то ты пришел. - *фр.*

— Да, вы уж извините,— пытаюсь угадать, что происходит, сказал Антон.— По-французски я знаю только: шиньон, лосьон, бульон и одеколон. Ну, знаю еще пардон и оревуар.

После этих слов лицо старухи озарилось неподдельным восторгом, она замерла, скрестив руки на груди, а затем залилась счастливым смехом и, обращаясь к своим, воскликнула:

— Смотрите, он все такой же весельчак, как и был. Такой же блестящий остроумец.

Кто-то из присутствующих захихикал, в дальнем конце прыснула молодая девушка, а чопорный мужчина, отдаленно похожий на Наташу, усмехнулся и одобрительно закивал головой.

— Я не шучу,— сказал Антон.— Может, это выглядит смешно, но я говорю правду. Я более-менее неплохо знаю английский... но лучше, наверное, сразу перейти на русский.

— Извини, ты прав,— ответила старуха,— ты, как всегда, прав. Как тебя теперь зовут? — Она положила ему на плечо правую руку, и глаза ее снова наполнились слезами.

— Меня зовут Антон, Антон Владимирович. По имени-отчеству меня никто никогда не называл, так что можно просто Антон.

— Антон,— дрожащим голосом повторила старуха.— Ты не помнишь меня, Антон? Да, да, ты не помнишь меня. А я так долго ждала тебя.— Голос ее сделался совсем тихим, и в полной тишине Антон едва различал слова.— Дождалась,— сказала она.— Я все выполнила как ты хотел. Видишь, мы собрались здесь сегодня, чтобы встретиться тебя. Вот это,— она повернулась и указала на чопорного мужчину,— твой старший сын, Александр. Рядом — его жена и дочь Ниночка — твоя внучка. Это твоя средняя дочь, Светлана, и ее муж. А это твоя младшая — Наташа.

Антон испуганно взглянул на Наташу, но та смотрела в пол.

— А я, видишь, как я постарела, дожидаясь тебя? — продолжала старуха.— Я так и не вышла замуж. Я вообще старалась не выходить из дома. Когда ты умер, я думала, что не вынесу этого, хотела покончить с собой, даже попыталась выпить яду. Помнишь, у тебя стоял пузырек? Но меня спасли. Когда я выпила яд, мне стало так страшно. Я близко видела смерть. А когда потеряла сознание, ко мне явилась Дева Мария и сказала, что я набитая дура. Она не так сказала, но смысл был такой. Она запретила мне убивать себя. И я послушалась ее. Милый мой,— заплакав, с трудом проговорила Елена Александровна,— я так долго ждала тебя. Если бы ты знал, сколько мне пришлось перенести, сколько я выплакала слез...— Антон слушал весь этот бред и не знал, что

делать. Он с надеждой поглядывал на домочадцев, но те, опустив головы, сидели за столом с серьезными лицами и молчали. А старуха взяла его голову двумя руками и, заглядывая в глаза, продолжала: — Ты такой молодой, а виски уже седые. Ты, наверное, много пережил? Единственный мой, данный мне Богом на вечную радость и счастье, вернулся, и снова я могу любоваться тобой. Не пугайся моей старости. Я не сумасшедшая и не требую, чтобы ты верил мне. Достаточно того, что ты есть, что живешь на этом свете, что ты такой красивый, умный и молодой. Видишь, я поселилась здесь, в этом доме, который ты купил для меня. Я сама себя похоронила в этих стенах и не жалею об этом, потому что ты вернулся сюда, как и обещал.

Времени прошло достаточно, чтобы Антон собрался с мыслями и успокоился. Дождавшись паузы, он как можно мягче сказал:

— Простите, Елена Александровна, может, вы меня с кем-то спутали? Я не совсем понимаю, что здесь происходит. Вернее, из ваших слов я кое-что понял, но все это выглядит слишком неожиданно и странно.

— Пойдем, пойдем к столу,— пригласила его старуха. Одной рукой она придерживала подол своего тяжелого малинового платья, вышитого серебряной нитью. Другой взяла Антона за руку и подвела к столу.— Наташа,— сказала старуха,— сходи принеси шкатулку и захвати фотографии. А ты садись. Вот твое место.— Она усадила Антона во главе стола, вернулась на свое место, села и застыла, глядя на него с такой неподдельной страстью и безысходностью, что он не выдержал, опустил голову и забормотал:

— Жарко у вас. Нельзя ли водички попить?

— Саша, налей отцу воды,— обратилась старуха к сыну, и тот не спеша взял графин, подошел к Антону и налил ему в фужер что-то, похожее на сок.

— Пожалуйста, папа,— не без сарказма сказал Александр. Затем он вернулся на место, сел и спросил: — А чем вы сейчас изволите заниматься, папа?

— Вы-то хотя бы перестаньте,— раздраженно ответил Антон.— А то я сейчас встану и уйду, и доигрывайте без меня.— Он хотел было съязвить по поводу важного вида Александра, но не успел, Елена Александровна вступилась за него:

— Не приставай к отцу, Александр. Для него самого это большая неожиданность. Ты голоден, Антон? — обратилась она к нему.

Вопрос застал Антона врасплох. Он страшно хотел есть и, если бы не этот спектакль, воспользовался бы случаем, а сейчас лишь обреченно ответил:

— Да, то есть нет. Я не ел ничего сутки, а может, и больше. Но обстановка уж очень необычная, боюсь, кусок не полезет к горло.

— Больше суток! — ужаснулась старуха. — Ты же, наверное, умираешь с голоду. Это ничего, что обстановка такая. Не стесняйся. Ты хозяин этого дома. Перебори в себе неуверенность. Наташа! Ну где же ты? — крикнула она в раскрытую дверь, ведущую в соседнюю комнату, и вслед за этим на пороге появилась Наташа с большой инкрустированной шкатулкой из темного дерева. Она торжественно поднесла шкатулку Антону и, улыбаясь, поставила ему на колени.

— Открой шкатулку, — дрогнувшим голосом попросила Елена Александровна.

Антон вначале посмотрел на нее, затем на присутствующих. У всех на лицах было написано одно и то же — а именно любопытство.

— Ну, попробуйте, — нетерпеливо сказала Наташа, которая так и осталась стоять рядом.

Антон внимательно осмотрел шкатулку, затем попытался поднять крышку, но та не поддавалась. Тогда он провел пальцем по внутренней стороне бронзового вензеля, украшавшего купол шкатулки, и услышал характерный щелчок.

— Получилось! — вскрикнула на другом конце стола Ниночка.

— Ну вот, — облегченно вздохнула Елена Александровна. — Это твоя шкатулка, Антон. Только ты и я знаем, как она открывается. Саша сегодня два часа пытался понять секрет замка, и у него ничего не вышло. Это твоя шкатулка, — повторила она. — Открой ее и прочти письмо.

Неожиданно Антона охватило беспокойство и страх, как будто он, не желая того, соприкоснулся с чем-то невидимым, но реальным на ощупь. Подобное состояние мистического страха он испытывал всего лишь раз в жизни, когда после гибели друга он встретил его на пустынной проселочной дороге, недалеко от подмосковного поселка, где они снимали дачу. Тот появился ниоткуда, несколько минут молча стоял и смотрел на Антона, а потом так же неожиданно растворился в воздухе. На месте, где он исчез, Антон обнаружил пятак, но не поднял его. Потом жалел. Ему сказали, что пятак надо было продырявить и повесить на шею, что, мол, амулеты, подаренные покойниками, надежно охраняют человека от несчастных случаев.

В шкатулке оказался лишь пожелтевший от времени лист бумаги, сложенный вчетверо. Волнуясь, Антон развернул его и прочел небольшое письмо, написанное бледными фиолетовыми чернилами.

«К сожалению, я не знаю, как меня назовут в моей следующей жизни, но это и не важно. Я буду обращаться к тебе по-свойски — дорогой».

Дорогой мой, я оставил после себя большое количество незавершенной работы. Мне бы хотелось, чтобы ты ознакомился с моим архивом, и, надеюсь, у тебя появится желание продолжить то, что я начал и не закончил из-за нехватки времени. Все интересные идеи и мысли, которые ты обнаружишь в моих записях, по праву принадлежат тебе. Надеюсь, ты будешь порядочным человеком и тем самым приблизишь момент нашего с тобой освобождения от этой бесконечной жизни. Откровенно говоря, я (что же говорить о тебе?) почувствовал некоторую усталость от жизни. Эта бесконечная вереница дней, скучный быт, мелкие дрязги, необходимость таскать и обихаживать собственное изношенное тело,— все это надоело мне. Свою программу я выполнил, а потому ухожу с легким сердцем.

Надеюсь, мне и на этот раз повезло с внешностью — я не урод. А то ведь это часто ожесточает человека, отвлекает от главного, и он всю свою жизнь тратит на то, чтобы доказать двум-трем курицам и нескольким болванам, что воду пьют не с лица, а из стакана.

Да, будь добр, позаботься о наших детях.

30 августа 1955 г.»

Антон закончил читать, но продолжал смотреть на листок, желая оттянуть продолжение безумного разговора, которое должно было последовать за прочтением. Письмо показалось ему надуманным, неискренним и наглым, особенно последняя фраза. «Паразит,— с досадой подумал он,— «...о наших детях!» Это я должен позаботиться об этом жлобе — его сыне».

— Я прочитал. Ну и что? — с улыбкой спросил Антон.

Сидящие за столом оживились. Александр, делая вид, что все это его совершенно не интересует и он лишь выполняет странную прихоть матери, глядя в тарелку, принялся довольно громко есть. Ниночка зашептала на ухо своей полной соседке, которую представили Антону, но он успел позабыть, кем она приходится хозяйке дома. А Антон обвел всех присутствующих взглядом, а затем, обращаясь к Елене Александровне, сказал:

— Вы знаете, я когда-то тоже верил да и сейчас немного верю в переселение душ. Когда-то даже увлекался буддизмом, мне симпатичны некоторые его положения, я знаком с доктриной «освобождения», но нельзя же понимать все буквально.

Александр поперхнулся, положил вилку на стол и с удивлением посмотрел на Антона.

— Это что-то новенькое,— сказал он.— Как же это можно, голубчик, верить в переселение душ и понимать это не буквально?

— Не называй отца голубчиком,— строго сказала Елена Александровна.

— Прости, мама,— ответил Александр и снова принялся за салат.

— Почему ты просишь прощения у меня? — возмущенно спросила она.— Разве ты меня назвал голубчиком?

— Простите, папа,— с полным ртом проговорил Александр и не без сарказма пообещал: — Я больше не буду.

— Я, может, что-то не так сказал,— обиделся Антон.— Я не напрашивался к вам сюда. Вы сами...— начал он и не договорил. Наташа быстро подошла к нему сзади, положила руку на плечо и, наклонившись, прошептала на ухо:

— Тихо, тихо. Вы обещали не обижать маму. Поужинайте с нами, а потом уйдете. А ты, пожалуйста, помолчи,— обратилась она к Александру.— Ешь свой салат, и не мешай нам разговаривать с папочкой.

— Правильно, Наташа. Поухаживай за отцом, — сказала Елена Александровна.— Он стесняется, а мы болтаем и не даем ему поесть.

За столом опять воцарилось молчание. Наташа наполнила тарелку Антона всевозможными закусками и, словно лакей, осталась стоять у него за спиной. А Елена Александровна, немного подумав, медленно проговорила:

— Тебя никто здесь не хотел обидеть, Антон. Не думай, что мы просто решили посмеяться над тобой. Ты оставил мне такое завещание, и я всего лишь исполняю твою волю, не больше.

— Не я оставил,— не донеся вилку до рта, ответил Антон.

— Ты,— уверенно сказала Елена Александровна, и от этой уверенности у Антона по спине пробежал холодок. Чем-то потусторонним повеяло на него, словно бы старуха говорила из-за невидимого, но непреодолимого барьера, отделяющего материальный мир комнаты с накрытым столом от его астральной копии. На мгновение ему даже показалось, будто он видит через старуху стену и часть окна, которое она загоразживала собой, и некоторое время он сидел, не смея еще раз взглянуть на хозяйку, напуганный мимолетным видением. Но Наташа вывела его из этого состояния. Она обняла его за плечи и ласково сказала:

— Ешьте, папочка, ешьте. Сытому человеку легче примириться с чудом, у него шарики медленно вращаются.

Ужин прошел почти в полном молчании, и все было бы хорошо, если бы Антон постоянно не ощущал на себе жадный взгляд Елены Александровны. Она смотрела на него, как смотрят в минуту тяжелых душевных потрясений в церкви на образа — с надеждой и мистическим обожанием в ожидании чуда, хотя для нее это чудо уже свершилось.

Посреди ужина большие старинные напольные часы с сияющим и круглым, как солнце, маятником вдруг басом пробили одиннадцать часов. Пока они били, все сидели замерев, словно этот медный бой имел еще какой-то смысл, зашифрованный в высоте и интонации звука.

Насытившись, Антон промокнул губы салфеткой, откинулся на спинку стула и оглядел комнату:

— А кем был ваш муж? — наконец обратился он к хозяйке дома.

Не отрывая от него взгляда, она впервые за весь вечер улыбнулась и сказала:

— Ты должен знать это. Попытайся вспомнить.

— Военным моряком, — не задумываясь, ответил Антон, и Елена Александровна с победным видом оглядела своих домочадцев. — Что, я угадал? — спросил Антон будучи уверенным, что так оно и есть.

— Вам бы, папа, на улице судьбу предсказывать, — усмехнулся Александр. — Угадывают, это когда не знают и случайно попадают в точку. В одном углу висит рында, в другом — компас. А на письменном столе — фотография человека в морской форме, Шерлок Холмс.

— Александр! — прикрикнула на него Елена Александровна.

— Он у меня точно сегодня дождется, — поддержала ее Наташа, но Антона этот очередной выпад строптивного «сына» нисколько не задел. Наоборот, у него появилось желание позлить мешковатого сорокалетнего зануду, и он с улыбкой сказал:

— Только из уважения к вашему возрасту я не стану сегодня наказывать вас, Шурик.

— Ну вот, он уже и хамить начал, — раздраженно произнес Александр и, уткнувшись в тарелку, пробурчал: — Наелся, развалился, теперь можно и...

— Если ты скажешь еще хотя бы одно слово, — перебила его Елена Александровна, — я прогоню тебя. Не обращай на него внимания, Антон. Лучше расскажи о себе. Кто ты, чем занимаешься, как живешь? Ты женат?

— Трудно сказать, — усмехнулся Антон. — Вы знаете, мне не хочется о себе рассказывать, боюсь, напугаю. Только не подумайте, что я грабитель или убийца. Просто есть вещи, о которых не стоит распространяться в незнакомой компании — не так поймут.

— Ну хотя бы в общих чертах,— сказала Наташа.

— В общих? Две недели назад от меня ушла жена,— сказал Антон.— Это вам интересно? Честное слово, мне нечего рассказывать. Я прожил такую же неинтересную, как и все мы, жизнь.

— Вы о себе, пожалуйста,— не удержался Александр.— По вашему виду не скажешь, что вы прожили неинтересную жизнь.

— А почему она от тебя ушла? — поинтересовалась Елена Александровна.

— Долго объяснять,— немного подумав, начал Антон.— Мне вообще кажется, что женщины любят не человека, с которым живут, а то, что они могут от него получить. Это определенный набор благ и удовольствий. Если нет полного комплекта, женщина ищет себе другого спутника жизни, который может ей все это обеспечить. Вы меня простите, конечно, но многим женщинам нужен не человек, а граммофон с одной пластинкой, который в нужный момент кричал бы: «Люблю, люблю!»

— Теперь понятно, почему она от вас ушла, — тихо проговорила Наташа.

— Я знаю одного человека, который все время жаловался на то же самое, — продолжая жевать, сказал Александр.— Он может выпить два литра водки, но ни одна из его жен почему-то не оценила таких феноменальных способностей. Правда, сейчас он нашел какую-то бабу, они целыми днями вместе хлещут водку. На что — непонятно. Наверное, я ограниченный человек: работаю, кормлю семью, а после работы занимаюсь любимым делом. Мне совершенно непонятны ваши проблемы.

— Да, Саша у нас очень красивые портреты пишет,— не без гордости сказала Елена Александровна.— По фотографии.— Она показала на стену, где висели три тщательно вылизанных, откровенно дилетантских портрета.

— Вообще-то по фотографии пишут только генсеков и покойников, — улыбнувшись, сказал Антон и как можно дружелюбнее спросил: — И давно вы занимаетесь живописью?

— Двадцать пять лет,— ответил Александр.— Это всего лишь хобби, я ни на что не претендую.

— Двадцать пять?! — чему-то обрадовался Антон.— Знаете историю про Будду, который встретил в лесу старого йога? Он остановился и спросил у отшельника, сколько лет тот провел в своей хижине. «Двадцать пять»,— ответил йог. «И чего же вы достигли за столько лет?» — спросил Будда. «Я могу перейти реку прямо по воде»,— гордо отве-

тил отшельник. «Бедняга,— с жалостью сказал Будда.— Неужели вы на это потратили столько времени? Паромщик взял бы с вас за переправу всего один обол». Это так, к слову пришлось,— сказал Антон.— А вообще-то мне пора. Уже поздно, мне добираться еще час, а может, и больше. Я даже не знаю, найду ли свой дом.

— Антон, никуда я тебя не отпущу! — испуганно воскликнула Елена Александровна. — Переночуешь здесь, а завтра, если захочешь, уйдешь. Я заранее постелила тебе в твоем кабинете. Неужели тебе неинтересно после стольких лет вернуться в свой кабинет, посидеть за своим письменным столом?

Немного поразмыслив, Антон медленно проговорил:

— Интересно, конечно... Хорошо. Я остаюсь.

— Спасибо, Антон,— поблагодарила Елена Александровна.— Если ты устал — а я вижу, ты устал,— можешь подняться к себе. Наташа, проводи отца наверх, в кабинет.

Антон действительно чувствовал себя совершенно разбитым и с облегчением вздохнул, когда узнал, что возвращаться не надо. Его даже перестала смущать странная роль, и он поблагодарил судьбу за то, что она привела его в нужный час к этому дому.

— Спокойной ночи,— сказал он, обращаясь ко всем.

— Каждый выбирает себе веру по образу и подобию своему, — запоздало наставил его Александр.— Ваша циничность очень идет вам.

— Ты мне испортил весь вечер, — устало, с обидой сказала Елена Александровна и покачала головой.— Саша, Саша...

— К чему здесь вера, не понял, но я сдаюсь,— повернувшись к Александру, рассмеялся Антон и поднял обе руки вверх.

Наташа шла впереди, освещая деревянные ступени толстой восковой свечой в тяжелом бронзовом подсвечнике. Доски противно скрипели у них под ногами, отсветы пламени скользили по глазурированным бокам цветочных горшков, развешанных по стенам, тени метались по лестнице, как живые, и, слово крысы, забивались под ступеньки.

— Как вы думаете,— начал Антон,— ваша мама действительно верит в то, что я ее бывший муж?

— А вы считаете, что она перед вами дурочку ломает? — спросила Наташа.

— Ну... чего от скуки не сделаешь. И не такие спектакли устраивают. Хотя что я вас спрашиваю? Вы же участница, лицо заинтересованное.

— За много лет, что я прожила в этом доме, здесь побывал только один посторонний человек, и тот участковый милиционер. Зато в на-

значенный день и час появились вы. Совпадение? Может быть. Как я к этому отношусь, я говорить не буду. Мама много лет ждала вас и дождалась, остальное меня не касается.

Они вошли в темную просторную комнату, и Наташа поставила свечу на письменный стол.

— Вот ваш кабинет, папа. Можете располагаться. Уже поздно. Завтракаем мы в девять, но вы можете спать сколько захотите, вас никто будить не станет.

— А я рад, что попал к вам,— неожиданно признался Антон и поставил кейс к стене.

— Я рада, что вы рады, — ответила Наташа.

— А что, света, кроме свечей, здесь нет? — разглядывая комнату, поинтересовался Антон.

— Есть. Но в те времена, когда вы здесь жили, его еще не было. Поэтому мама просила не включать электричество. А сейчас ложитесь спать. Кабинет посмотрите завтра.— Она неслышно вышла и закрыла за собой дверь.

В полумраке кабинет покойного хозяина дома имел вид капитанской каюты какого-нибудь парусного судна времен Христофора Колумба. Рядом с массивным двухтумбовым письменным столом со львами на филенках стоял огромный, похожий на орган, книжный шкаф. Внутри шкафа за темным стеклом поблескивали почерневшим золотом корешки старинных книг. Слева на стене висел древний бронзовый барометр в черной полированной оправе из какого-то благородного дерева. Старинные карты были убраны в тяжелые дубовые рамы, а на открытых полках стояли высушенные экзотические обитатели южных морей. И даже лампа над головой напоминала по форме кормовой фонарь военного фрегата, бороздившего моря лет триста — четыреста назад.

Диван, на котором Антону предстояло провести ночь, был узким и жестким, а накрахмаленное белье пахло чистотой и морем. Антон разулся, потянулся было за кейсом, собираясь сделать себе укол, но тут внизу снова зловеще забили часы, и он от неожиданности отдернул руку да так и застыл в напряженной позе, пока не пробило двенадцать ударов.

— Чертовы часы,— прошептал он,— по идее, сейчас должна открыться дверь и войти старуха.

Едва он это проговорил, как в дверь постучали, затем она медленно, с тихим скрипом отворилась, и в комнату тяжело вошла хозяйка дома в длинном, до пят, белом платье, которое висело на ней, как на вешалке. На голове у нее была такая же белая широкополая шляпа с

мертвым, помятым букетиком на полях. В руках она держала костяной веер и от волнения постукивала им по ладони, словно кастаньетами. Вид у хозяйки дома был более чем музейным, и только горящий взгляд говорил о том, что она из этого мира.

— Это я, Антон, — прошептала Елена Александровна. — Ради Бога, извини за то, что я тебя потревожила. Мне так хотелось увидеть тебя еще раз. Так хотелось посидеть с тобой, поговорить наедине. Ты позволишь мне войти?

— Конечно, Елена Александровна, — растеряно ответил Антон.

— Я ненадолго, — возбужденно проговорила она.

Больше всего Антона напугала страсть, с которой говорила хозяйка дома. Страсть, такая неуместная в этом тщедушном, высохшем теле, а потому противоестественная. Она была больше похоже на старую механическую куклу, у которой сорвалась пружина. Движения ее были резкими и беспорядочными, она то закрывала лицо руками, то не ко времени всплескивала ими и закатывала глаза. Казалось, что сейчас завод кончится, пружина раскрутится до конца и металлическая лента, прорвав платье, выскочит где-нибудь на спине.

Нехорошее, жутковатое чувство охватило Антона. А Елена Александровна, кротко спросив разрешения присесть рядом, устроилась на краешке дивана и громким шепотом продолжила:

— Это твой дом, Антон. Все здесь принадлежит тебе и только тебе. Ты купил этот дом для меня, и я хочу, чтобы ты здесь жил. Помнишь, как ты внес меня сюда на руках? Помнишь? — с надеждой и отчаянием спросила она.

Антон промычал в ответ что-то невразумительное, и Елена Александровна с горечью торопливо перебила его:

— Молчи, молчи! Ты не виноват. У нас забирают память перед следующим рождением, иначе бы мы рождались на свет уставшими стариками. Я напомним тебе: я была в этом самом белом платье и в этой шляпке с флёрдоранжем. Мы пришли сюда пешком по пляжу, и ты полдороги нес меня на руках, потому что мне в туфли все время набивался песок. А потом ты внес меня на второй этаж. Ты был таким же красивым и сильным, как сейчас. Ты внес меня и положил на этот самый диван. А потом ты любовался мной. Снял с меня шляпку, поцеловал, распустил мне волосы. Помнишь, как ты вынимал шпильки из моих волос? О, какие у меня тогда были волосы! — По впалым старческим щекам Елены Александровны скатились две слезы, и она закрыла лицо руками. — Почему ты умер так рано? — сквозь рыдания проговорил она. — Зачем ты бросил меня одну в этом страшном, холодном мире? Ты же

клялся, что любишь меня и будешь любить вечно. У тебя была я, были сын, дочь и еще не родившаяся Наташа. Ну что ты молчишь?

Антон с шумом выдохнул, провел ладонью по вспотевшему лбу и проговорил:

— Ну, вы же сами понимаете...

— Не говори мне «вы», — перебила его Елена Александровна. — Скажи мне «ты». Мы здесь одни. Сделай милость, зови меня как раньше — Леночкой. Я понимаю, я старая а ты молодой. Ты ничего не помнишь из нашей прежней жизни. Тебе все это кажется бредом. Может, даже ты считаешь меня сумасшедшей, но все равно, дай мне хотя бы на несколько минут вернуться в прошлое. Скажи мне: Леночка. Я очень тебя прошу. Я умоляю тебя!

— Леночка, — деревянным голосом произнес Антон.

— Мне скажи. Мне. Меня назови Леночкой. Обратись ко мне...

Антон наконец понял, что от него хотят, и сразу успокоился. Желание Елены Александровны теперь, после стольких лет ожидания, казалось ему вполне естественным. Он даже подумал, что многолетним затворничеством старуха заслужила этот вечер, какой бы безумной ни казалась со стороны ее затея. А потому, внутренне собравшись, он посмотрел Елене Александровне в глаза и как можно теплее сказал:

— Леночка. Всего я, конечно, не помню, но, честное слово, когда я в темноте подошел к твоему дому, он показался мне знакомым.

— К своему дому, — со счастливым лицом пропела старуха. — К своему! Потому он и показался тебе знакомым. Ты все вспомнишь, дорогой, все вспомнишь. Я помогу тебе, и мы проживем с тобой мои последние дни вместе. Я расскажу тебе, как жила все эти годы. Ты увидишь, я была верна тебе. Ко мне сватался Сергей Владимирович — твой друг, художник. Ты помнишь его? Я отказала ему. Он умер в одиночестве, лет десять назад, спился бедняга. Хороший был человек, царствие ему небесное.

— Я не помню Сергея Владимировича, — меланхолично ответил Антон. Затем, немного подумав, он добавил: — Никак не могу привыкнуть к этой роли. Мне кажется, я не мог быть вашим мужем. И у меня есть доказательства.

— Доказательства? — удивилась Елена Александровна. — Какие же?

— Не знаю, покажутся ли они вам достаточно убедительными. Сколько я понял, ваш муж был человеком положительным во всех отношениях. Так?

— Допустим,— ответила Елена Александровна, и в глазах у нее появилась тревога. Она машинально тронула шляпку, расправила кружева на груди и добавила: — Ну?

— Значит, в своей последующей жизни ваш муж никак не может быть хуже, чем в предыдущей. Так вот... — Антон запнулся, как бы подыскивая слова, а затем решительно проговорил: — Он никак не мог стать мной. Я — наркоман. — Ему показалось, что Елена Александровна с облегчением вздохнула, и он пояснил: — Я не считаю себя чересчур скверным человеком, но в том мире, в котором живете вы, таких, как я, не жалуют. Знаете, что скажет ваш сын, если узнает о моей... особенности? Скажет, что я — подонок.

— Милый мой Антон, — с каким-то победным пафосом произнесла старуха,— что мы знаем о том, кем и какими должны быть? Неужели ты всерьез думаешь, будто с каждым новым своим рождением человек получает все более и более высокую должность и большую зарплату? Бедный мой мальчик, душа — это Золушка, одетая в отрепья, а не уса-тый генерал в расшитом золотом мундире, и, чем больше она, тем скромней на ней одежды. Самое главное достоинство души — умение любить бескорыстно. Вещь, согласись, совершенно бессмысленная для удобного проживания на этом свете. А насчет доказательств, — сказала Елена Александровна и положила свои сухие ладони на колени,— я тебе вот что скажу: — Ты в той своей жизни никогда бы не стал вот так выслушивать признание в любви какой-то старухи. Мой муж был очень хорошим человеком, но не стал бы, как ты, тратить вечер на сумасшедшую старую каргу.

— Так вы все-таки сумасшедшая? — с улыбкой спросил Антон.

— Нет, — тихо ответила Елена Александровна, — хотя вы все и считаете меня такой. Послушай меня, Антон. — Голос Елены Александровны сделался еще более тихим, глаза покрылись поволокой, она подалась вперед и, глядя поверх головы Антона, продолжила: — Где бы я ни родилась в следующий раз, через девятнадцать лет тридцатого августа я явлюсь к тебе молодой, восемнадцатилетней девушкой. Ты не можешь быть сейчас со мной, а я смогу. И тогда мы опять соединимся. Я останусь с тобой до конца твоих дней. Вот это письмо ты дашь мне прочитать, когда я приду к тебе.— Елена Александровна, словно заправский иллюзионист, достала из складок платья запечатанный конверт и отдала его Антону.— Это мое письмо ко мне той, восемнадцатилетней.

— Я не доживу,— усмехнулся Антон.— Девятнадцать лет слишком много для меня.

— Доживешь, — уверенно сказала хозяйка дома. — Ты бросишь свои наркотики. Ты будешь ждать меня, как я ждала тебя. Нам не повезло, жизнь и смерть разлучили нас, и мы вынуждены будем встретиться на этом свете на короткий срок. Но и за это я благодарна судьбе, потому что люблю тебя. Что такое девятнадцать лет, когда у меня есть ты?

— Видите ли, я люблю другую женщину, — неожиданно перебил ее Антон. — Я приехал сюда за ней.

— Нет, — твердо возразила Елена Александровна. — Ты приехал, чтобы увидеть меня и попрощаться со мной. Ты можешь этого не знать, Антон, но это так.

— Тогда почему мы не встретились раньше? — спросил Антон.

— Потому что мы все равно не смогли бы быть вместе. Ты бы не захотел. А когда мне пришло время умирать, ты вернулся. И любишь ты не ее, а меня, меня прежнюю. Хочешь, я расскажу тебе, какая она? Она во всем похожа на меня, за это ты ее и выбрал. Она похожа на меня и внешне. Посмотри, это я в молодости.

В руке у Елены Александровны появилась фотография. Она протянула ее Антону, и тот, поколебавшись, взял. Он успел заметить молодую красивую даму с пышной прической, хоть и в незнакомом убранстве, но очень похожую на его жену.

В этот момент в дверь постучали, и в комнату вошел Александр. Он подошел к матери, положил ей на плечо руку и сказал:

— Мама, гостю надо спать. Завтра утром вы увидите. — При этом Александр как-то неумело подмигнул Антону, и тот, сообразив, в чем дело, охотно поддержал его.

— Да, да, Леночка, завтра мы увидимся, — торопливо пообещал Антон, и Александр недовольно поморщился.

— Вы хорошо вжились в роль, папа, — сказал он.

Антон хотел было ответить ему какой-нибудь резкостью, но посмотрел на хозяйку дома и сдержался. А Елена Александровна поднялась с дивана и, опираясь на руку сына, игриво попрощалась:

— До завтра, любимый. Спокойной ночи!

Как только за ними закрылась дверь, Антон с облегчением вздохнул и машинально обулся. Первое, что пришло ему в голову — это мысль о побеге. У него не было никакого желания дожидаться завтрашнего дня и утром снова выслушивать этот сумасшедший бред. Кроме того, чувствовал он себя отвратительно. Все это время Антон ждал, когда наконец останется один, чтобы сделать очередной укол. Но при воспоминании о прощальной фразе Елены Александровны Антона передернуло, затем

он нервно рассмеялся, положил письмо в кейс, осторожно закрыл дверь и в абсолютной темноте спустился вниз.

— Уходите, папа? — услышал он совсем рядом голос Александра.

— Да, сынок, мне пора, — тихо ответил Антон. — Покажите-ка мне, как отсюда выйти.

Вслед за этим послышался скрип половиц, и впереди открылась дверь на улицу.

— Прощайте, папа. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся, — сказал Александр.

— Да, сынок. Я тоже не получил удовольствия от встречи с тобой. Слишком много времени прошло. Видно, отвык. — Антон вышел на крыльцо, и дверь тут же закрылась за ним.

Обратно он добирался не менее часа. Идти по песку было чрезвычайно трудно и противно. В тишине, которую нарушал лишь ритмичный шорох мелкой волны, песок пронзительно хрустел под ногами, набивался в туфли, а разбросанные по пляжу большие камни как будто сами лезли под ноги.

Антон сильно знобило, хотелось пить. Наконец он не выдержал и на знакомом повороте к улице Чанба сел на брошенный деревянный ящик из-под бутылок. Отдуваясь, словно преодолел высокую гору, он раскрыл кейс, достал стерилизатор, отшвырнул от себя мешавший чемоданчик и уже неторопливо проделал привычную операцию.

Добравшись до калитки, Антон открыл ее, пересек двор и, закрывая за собой дверь каморки, увидел, как в нескольких метрах от него в буйных зарослях кустарника мелькнула тень. Антон вздрогнул, некоторое время постоял у двери, прислушиваясь к тому, что происходило снаружи, и, не включая света, на ощупь отыскал кровать. Он только собрался сесть, как в дверь тихонько поскреблись. После этого скрипнули несмазанные петли и в образовавшуюся щель кто-то прошептал:

— Можно?

— Лена? — испуганно спросил Антон. — Это ты?

— Я, я, — ответила гостья, и Антон почувствовал, как у него похолодело в груди.

— Ты получила мое письмо? — взволнованно спросил он. — Как ты меня нашла?

— Так и нашла, — прошептала гостья. Она проскользнула в каморку, быстро затворила за собой дверь, и в комнате сделалось совсем темно.

— Я приехал повидать тебя, — зашептал он. — Не знаю зачем. Мне без тебя почему-то плохо. — Он протянул руку, привлек ее к себе и в

промежутках между поцелуями забормотал: — Я наврал в письме... Ты мне нужна... Я смогу... — Наконец он поймал губами ее полураскрытый влажный рот, запустил в волосы пальцы и, придерживая затылок, долго целовал, испытывая при этом какую-то болезненную истому. А она обвила его шею руками, прижалась к нему всем телом, да так, что Антон покачнулся, сделал шаг назад и, наткнувшись на кровать, потерял равновесие, упал и увлек ее за собой.

Он гладил ее свободной рукой по шее и груди, на все лады хрипло шептал: «Леночка! Леночка!» — а она тихонько смеялась от удовольствия и подставляла губы. Словно в полусне, Антон ласкал ее, иногда на мгновение замирал, но только для того, чтобы сказать очередную нежную глупость, пока наконец она не подала голос.

— Халат не порви, дурашка.

— Что? — испуганно спросил Антон и застыл в той позе, в какой его застала эта фраза.

— Халат. Халат не порви, — повторила она, и он явственно услышал, как расстегиваются пуговицы халата. Ткань у него под рукой поползла вниз, и Антон, положив руку на голую грудь, провел по ней ладонью и тихо спросил:

— Ты кто?

— Познакомиться хочешь? — насмешливо ответила гостья.

Антон молча поднялся, отошел к двери и пошарил по стене рукой. Затем он щелкнул выключателем и вспыхнул свет.

— Ну вот, — закрывая лицо от света, недовольно проговорила гостья. Другой рукой она запахнула халат, а затем села. — Я не Леночка.

— Вижу, — растерянно ответил Антон, хотя ослеп от яркого света и с трудом мог бы сейчас отличить собаку от кошки.

— Я твоя соседка. Мы сегодня днем с тобой виделись. Помнишь?

— Помню, — соврал Антон, лихорадочно соображая, где и когда это произошло.

— Вот решила тебя навестить. Спать не хочется, я днем выспалась. Дай, думаю, соседа навещу. Да ты чего так перепугался? Я не съем тебя.

— Не съешь, — приходя в себя, устало повторил Антон и довольно грубо добавил: — Извини, мне сейчас не до приключений. Я спать хочу.

Гостья фыркнула, встала и, застегиваясь на ходу, подошла к двери.

— Спокойной ночи, Ромео, — на прощание насмешливо сказала она.

— Спокойной ночи, Арландина, — ответил Антон.

Когда он лег, на улице начало светать. Через маленькое, завешанное белой тряпкой, оконце в каморку полез серый, промозглый рассвет, в саду умолкла цикада, и где-то далеко, словно игрушечный моторчик, тихо протарахтел автомобиль.

2

Проснулся Антон поздно, когда солнце уже до такой степени нагрело крышу, что в каморке стало трудно дышать. И все же Антон еще долго лежал, прислушиваясь к тому, что происходит на улице. Он пытался вспомнить последний сон, но сосредоточиться ему мешала большая зеленая муха, которая, словно тяжелый самолет, идущий на бомбометание, кружила по комнате. И чем больше он напрягал память, тем более расплывчатым становился смысл сна. Ему удалось вспомнить лишь странную пару: один — длинный, около двух метров, худой, в больших роговых очках; другой — маленький, с клочковатой рыжей бородой. Они шли по заснеженному берегу моря с ананасами в руках и говорили о нем. Антону запомнилась только одна фраза, которая к нему как раз не относилась, но он все силился понять, что имел в виду бородатый, сказав: «Бог любит юродивых и героев».

Разозлившись на муху, Антон встал с кровати и настежь раскрыл дверь. В комнатушке сразу стало светло и немного прохладнее. Затем он достал лист бумаги, авторучку и, положив кейс на колени, принялся писать письмо.

«Лена!

Я еще раз решил написать тебе, хотя и не уверен, что ты получишь это письмо. Я собираюсь вернуться домой, потому что понял всю бессмысленность своего пребывания здесь. Мне не удалось убежать от самого себя, наверное, это и невозможно. Я просто перенес себя — со всем, что меня окружало в Москве — в другой город и здесь продолжаю жить той же безумной жизнью, среди таких же безумных людей. Это лишь доказывает, что человек носит свою судьбу и образ жизни в себе самом. Можно, конечно, отказаться от прошлого, сжечь карму, но я пока не представляю себя в новом качестве, не знаю, чем буду жить, а значит, и не готов к такому отказу. Боюсь, ты поймешь меня неправильно и подумаешь, что я хотел бы отказаться от всего, что тебе так ненавистно. Для того, чтобы тебе стала понятнее моя мысль, я расскажу продолжение той истории.

Итак, я шел по дороге, пока меня не подобрала попутная машина. Мне было все равно куда ехать, и шофер отвез меня в небольшой городок, названия которого я сейчас не помню. Все утро я проштатался по

городу, пытаюсь найти что-нибудь поесть, пока не встретил женщину такого блядского вида, что даже младенец понял бы, чем она занимается. Я не знаю, почему подошел именно к ней. Возможно, в тот момент мне показалось, что в подобной ситуации помочь может только такой человек.

Я объяснил ей, что со мной произошло, что очень хочу есть, и она дала мне три рубля. Затем спросила, знает ли кто из моих знакомых, куда я поехал. Я ответил, что не знает и не может знать. Женщина дала мне еще пять рублей, сказала, где я могу купить продукты, а потом предложила переночевать у нее. Она продиктовала адрес, но просила никому не говорить о том, где я буду ночевать, потому что у нее плохие отношения с милицией. «Постучишь три раза, — пояснила она, — а когда спросят: «Кто?», ответишь: «От Клары». Тебя проведут ко мне».

До самого вечера я болтался по городу, пообедал и даже поспал час в скверике на траве. Когда начало смеркаться, я поехал в гости к Кларе.

Дом оказался на самой окраине, к тому же на отшибе, в стороне от дороги. Мне пришлось порядком побродить, так как дом был полностью скрыт густыми зарослями ежевики и вела к нему даже не дорожка, а едва заметная в темноте тропинка. Ни в одном окошке света не было, и мне пришлось искать дверь в абсолютной темноте. Без всякой надежды я постучал и уже собрался было уходить, как за дверью спросили: «Кто?» Я ответил, и меня впустили в совершенно темную прихожую. Затем кто-то взял меня за локоть и повел по коридору. Страшно мне не было. Я не раз бывал в подобных домах, где образ жизни хозяев требовал определенной конспирации. Наконец рядом распахнулась дверь, и я попал в большую комнату, по углам которой в бронзовых трехголовых подсвечниках горели свечи. Посреди гостиной стоял накрытый стол с вином и закусками, а за столом сидело не менее десяти человек. Клары среди них не было, зато у плотно занавешенного окна я увидел уже знакомого кавказца и его белокурую подругу. Я обрадовался этой встрече, кивнул им, но они сделали вид, что не знают меня. Провожатый усадил меня за стол как раз между моими спасителями. Слева сидел кавказец, справа — его знакомая. Мне налили вина, положили на тарелку жареного мяса и сказали, чтобы я не стеснялся, брал все, что захочется. За ужином я все время думал, как могло произойти, что я снова встретил эту необычную пару — и так далеко от первого места встречи. Но ни к какому выводу не пришел, а потому приписал все случаю.

Все, сидящие за столом, по очереди подходили ко мне и просили пить за хозяина дома, которого звали Самаэль. Чокаясь, они говорили одно и то же: «Самаэль здесь хозяин, и нет хозяина, кроме него». Затем выпивали и отходили. При этом соседка справа все время говорила мне: «Не пей. Только делай вид, что пьешь». Но я ее не послушал.

Когда очередь дошла до кавказца, я тихо спросил, помнит ли он меня. Он ответил, что не помнит и видит в первый раз, но это неважно, потому что сегодня вечером я их гость. Тогда я так же тихо спросил, где сам хозяин — Самаэль, за которого мы все пьем? И он ответил: «Пей спокойно и ни о чем не думай. Хозяин здесь, он все видит, все слышит, но за столом его нет».

После того, как с каждым выпил по фужеру, я совершенно захмелел и сейчас некоторые подробности помню плохо. Например, я не заметил, в какой момент со стола исчезли закуски и вино, но помню, что с него сдернули скатерть, а потом все присутствующие по очереди принялись нараспев читать какие-то слова. Меня же попросили негромко повторять их за читающим, а смысл обещали объяснить потом. Моя соседка справа, однако, снова прошептала, чтобы я не повторял эти слова, а только делал вид, шевелил губами. Но я опять ее не послушал. Позже я обо всем догадался. Ты же знаешь, у меня есть дурацкая привычка читать вывески, заголовки газет и разные названия наоборот. И вот, когда мне наскучило долдонить эту абракадабру, я решил развлечься. В этот момент один закончил читать, а следующий начал все сначала. «Сан йулимоп, йинтрессеб йытявс, йикперк йытявс, ежоб йытявс. Нима. Вокев икевов...» — читал он нараспев, а я переводил все наоборот, пока не понял, что это за текст. Догадавшись обо всем, я испугался и перестал повторять, сделал вид, что совсем опьянел и засыпаю. Тогда мой сосед слева сказал присутствующим: «Наш друг совсем пьяный. Я отведу его наверх к Кларе, пусть поспит, а вы пока приготовьте все, что нужно». Он помог мне подняться и повел на второй этаж. Его белокурая подруга пошла с нами. На лестнице, в темноте, она шепнула мне: «Не спи», и я наконец решил ее послушаться.

Наверху, в большой комнате с широкой тахтой посередине, нас встретила Клара. Она была вся в черном и держала в руке подсвечник с горящими свечами. Мои спутники передали меня хозяйке дома, а сами сразу ушли. Клара спросила меня, хорошо ли я поел, попил, и я, притворяясь сильно пьяным, ответил, что хорошо. Затем она предложила мне лечь, поставила подсвечник на пол, сняла с меня куртку, помогла разуться и, когда я лег, накрыла мне ноги покрывалом. Сев у изголовья, она гладила меня по голове и изредка спрашивала: «ты

спишь?» Каждый раз я заплетающимся языком отвечал: «да, уже засыпаю». Помня, тем не менее, о совете своей белокурой соседки, я не спал, да и не мог бы уснуть, даже если б захотел. Мне было по-настоящему страшно, и все это время я лихорадочно соображал, как же выбраться из этого страшного жилища, если я не помню даже, в какой стороне входная дверь, а в доме совсем темно. Я уже догадался, что мне уготована какая-то нехорошая роль, но мог только вообразить, что делает со мной эта женщина, если я случайно усну.

Клара еще раз спросила, сплю ли, но я решил промолчать, застонал, будто во сне, и перевернулся на бок, лицом к занавешенным окнам. После этого Клара встала и бесшумно выскользнула из комнаты. Одной секунды мне хватило, чтобы вскочить с тахты, сунуть ноги в туфли и надеть куртку. Я подбежал к окну, рывком раздвинул шторы и дернул раму так, что у меня под ногами дрогнул пол. Окно оказалось забитым. В комнате, кроме тахты и подсвечника, ничего не было; я схватил тяжелый бронзовый подсвечник и со всей силы швырнул его в окно. Когда отзвенели осколки стекла, я услышал, как, громко топая, вверх по ступенькам поднимаются несколько человек. Не дожидаясь, я пролез в окно, порезал себе лицо и руки и, не раздумывая, прыгнул вниз. Я уже не помню, как бежал от дома. В памяти остались лишь скрип и хлопанье дверей, звон разбитого стекла и придушенные крики: «Лови его!»

Потом всю ночь, дрожа от страха, я прятался по подъездам, прислушивался к каждому шороху. Стоило этажом ниже пробежать кошке, как я срывался с места и, обливаясь холодным потом, через чердак перебирался в соседний подъезд, а оттуда в соседний дом. И ты знаешь, именно в ту ночь я понял, как много значит моя жизнь и как дешево ее оценивают те, кто, казалось бы, помогает или берется спасти, потому что никогда не известно, ради чего тебя спасают и кто этот спаситель.

И вот сейчас я мучительно пытаюсь разгадать, кем ты была в моей жизни, сидела ли ты справа от меня или слева, и что было бы, если бы я послушался тебя, сидящую у моего изголовья, и сделал так, как ты говорила. Не знаю.

Прости меня, я не хочу тебя обидеть, просто делюсь своими размышлениями. Жизнь не так уж и сложна, и выбор у нас невелик. Мы никогда не знаем, что следует выбирать, а потому, однажды сделав неправильный шаг, пускаем жизнь под откос, падение принимаем за полет, а движение вперед за бессмысленный путь в никуда».

На письмо ушло довольно много времени, и последние строчки Антон почти скомкал. Руки у него сильно дрожали, шарик от чрезмерного

усердия рвал бумагу. Антон боролся с тошнотой, обливался горячим потом и думал уже не о словах, а как бы поскорее закончить и ввести себе очередную дозу морфия.

Дописав, Антон швырнул листки на кровать, достал жгут, стерилизатор и, уже не торопясь, аккуратно сделал вожделенный укол. Постепенно ослабляя жгут, он откинулся к стене и некоторое время просидел в неподвижности, смакуя вхождение в непостижимый мир грез, существующий как бы по ту сторону игольного ушка.

Наконец Антон встал, не спеша оделся, сложил письмо вчетверо и вышел во двор. По огороду деловито бродили рыжие куры, с осторожным любопытством поглядывая на нового жильца. Антона слегка пошатывало, хотя в ногах он чувствовал какую-то неестественную легкость, словно земля перестала удерживать его на своей поверхности, ослабила притяжение. Мол, отталкивайся и лети на все четыре стороны.

Антон вышел за калитку и остановился рядом с лавровым кустом, который отнюдь не выглядел сейчас благородным лавром, а был, как все придорожные кусты, пыльным и чахлым. Изрытая ухабами улица была совершенно пуста. Убогий вид ее резко диссонировал с роскошными живыми оградами садов, за которыми виднелись богатые особняки, обсаженные кипарисами и мандариновыми деревьями. Кое-где над оградами нависали фигурные листья инжира или полотнища банановых пальм. Изредка во дворах перегавкивались собаки, сообщая друг другу о приближении чужого, и лишь неподвижное полуденное солнце работало в полную силу, отчего воздух, как бы закипая, устремлялся вверх, в разомлевшие белесые небеса.

Неожиданно Антон видел знакомую фигуру в белом платье. Наташа шла по дороге в сторону вокзала и небрежно помахивала плетеной хозяйственной корзиной. Она тоже заметила Антона, перешла на его сторону и, улыбаясь, приблизилась к нему.

— Здравствуйте, папочка,— поздоровалась она и протянула руку.— Жаль, что вы сбежали ночью. Хотя, может, это и к лучшему.

— Я не сбежал,— ответил Антон.— Вы же сами сказали, что после ужина я могу уйти. Вот я и ушел.

— Вы так хорошо сыграли свою роль, — кокетничая, похвалила его Наташа. — Маме очень понравилось. Бедная мамочка.

— По-моему, никакая она не бедная, — возразил Антон.

— Бедная, бедная, — перебила Наташа.

— Кто знает, может, я действительно когда-то был вашим отцом. Елена Александровна почти убедила меня в этом. Вот только сын мой мне не понравился. Я не люблю людей, которые точно знают, как надо

жить. Они признают только то, что можно пощупать, и стараются урвать на этом свете как можно больше. Кажется, он испугался, что я лишу его наследства.

— Да, — равнодушно согласилась Наташа. — Саша такой, крепко стоит на земле. А насчет того, чтобы вы были моим папочкой, я согласна. Поэтому идите со мной. Как дочь, я имею на вас некоторые права. Я в железнодорожный магазин, за хлебом. Там, знаете, продают такие огромные буханки. Очень вкусный хлеб и всегда свежий.

— Ну что ж, пойдете. Я только опущу письмо. Это здесь, рядом, за углом. — Они пошли по дороге, и Наташа взяла своего спутника под руку.

— Вы что, не выспались? — спросила она. — Глаза у вас пьяные.

— Да, я всю ночь пил водку с какими-то двумя мерзавцами. Кстати, один из них на прощание мне сказал, что Бог любит юродивых и героев. Вы не знаете, что это значит?

Наташа пожала плечами и, подумав, ответила:

— Наверное, так оно и есть. Юродивые довольствуются тем, что имеют, а герои все берут сами. Вы-то кто, юродивый или герой?

— Не знаю, наверное, ни тот, ни другой, — пожал плечами Антон.

— Значит, вы иждивенец, как и я. Они правы. Бог не любит иждивенцев, но нас много, и ему приходится с этим мириться.

Они подошли к сгоревшему бараку. Антон открыл и с силой захлопнул покосившуюся калитку, затем достал письмо и опустил его в почтовый ящик.

— Здесь же давно никто не живет, — удивилась Наташа.

— За почтой они, наверное, приходят, — ответил Антон. — Они живут где-то рядом.

— Родственники? — поинтересовалась Наташа.

— В некотором смысле, — уклончиво ответил Антон. Он заглянул в щель почтового ящика и все же пояснил: — В этом сгоревшем бараке у меня когда-то была большая, светлая любовь, но так давно, что я уж и не помню ее вкуса. Как видите, остались одни декорации.

Они не торопясь прошли мимо грязной, обшарпанной шашлычной и вышли к пакгаузу. Земля здесь была пропитана гудроном, и запах его ощущался столь остро, что Наташа зажала нос двумя пальцами и гундосо пошутила:

— Лет через сто здесь откроют большое месторождение нефти.

Они миновали вокзал, и вскоре Наташа остановилась, показав пальцем на дверь с огромным висячим замком.

— Закрыт, — вздохнула она и вдруг предложила: — Может, прогуляемся? Глядишь, попозже и откроют.

— Жарко, — поглядев на небо, ответил Антон. — Да уж ладно, давайте погуляем. Делать все равно нечего.

— Ну-у, — Наташа с шутливой укоризной посмотрела на своего спутника. — Женщинам так не говорят: «да уж ладно». Могли бы и соврать, что с удовольствием.

— Не люблю врать, — ответил Антон.

— Поэтому и пишете письма сгоревшему бараку.

На вокзале завели Челентано. Несколько таксистов, ожидающих поезда, лениво переговаривались в тени дерева, выдавая не более одного слова в минуту. Они томно разглядывали редких прохожих, поплеывая сквозь зубы и оживляясь лишь при появлении женского пола.

— А вы сейчас один живете? — спросила Наташа.

— В смысле, успели ли мы разъехаться? — спросил Антон. — Она здесь, в Гагре. Кажется, нашла мне замену.

— Значит, я угадала, это вы ей пишете письма, — сказала Наташа.

— Да, — ответил Антон. — Недообъяснился. Хотя... все это уже никому не нужно.

— Ну, это вы зря, — сказала Наташа и засмеялась. — Вы еще молодой, красивый. Пройдет немного времени, и помиритесь. Я вот тоже сама ушла от мужа, а теперь жалею. Встретила симпатичного мальчика, влюбилась и ушла. Э-эх, любви захотелось. Он моложе на двенадцать лет, а мне все равно было. Я совсем голову потеряла. Знаете, все с самого начала: любовь, цветы, ухаживания, разговоры. А потом поняла, что не он, так другой был бы. Просто мне надоел мой муж. А этот — молодой, с горящими глазами... Правда, они у него быстро погасли. Наелся, они и погасли. Вам же немного нужно: получили свое и вперед, к новым вершинам. Ну и черт с ним. Я ему благодарна за то, что он еще раз дал мне пережить девичью любовь. Ему нужна была опытная педагогиня, он, так сказать, входил в жизнь, и я его всему научила. Теперь у него есть опыт. — Наташа опечаленно вздохнула. — Он, дурачок такой, закомплексованный был. Я с него все комплексы сняла. Теперь снится по ночам. Приходит и гладит по голове. Ласковый был, паразит.

— А муж? — спросил Антон.

— А что муж? Муж в Москве. Говорит, переживает. Нашел себе утешительницу. У них тоже любовь жгучая как горячий борщ... Жизнь продолжается. Да даже если б он и захотел начать все сначала, не получилось бы. Я его не люблю. Он мне теперь вроде дальнего родственни-

ка: отношусь хорошо, но не люблю. Если бы я не ушла, может, все и обошлось бы. Да и баба у него теперь такая, что от себя не отпустит. Цепкая. Даже дома красится, как попугай. Я дома черт-те в чем ходила. Это сюда приехала, надела мамино платье — это вот. Теперь вылезать из него неохота. Не хочется прощаться с праздником.

— Не прощайтесь,— сказал Антон.

— А куда денешься? — вздохнула Наташа.— За летом, как известно, идет дождливая осень, потом — длинная холодная зима. А у меня пальто черное.

— Купите себе белое,— сказал Антон.

Наташа посмотрела на него с сожалением и ответила:

— На какие шиши? Ну ладно, хватит о любви и тряпках. Я хотела сказать, что рада нашему знакомству. Как-то вы мне сразу понравились. Вы странный. И взгляд у вас странный. Будто вы все о нас, бедненьких, знаете... знаете, что с нами будет, и жалеете нас, но ничем помочь не можете. Вы ведь знаете?

— У вас вся семья такая... как ваша мать? — поморщившись, спросил Антон.

— Ну, так знаете или нет? — с улыбкой спросила Наташа.

— По-моему, вам просто неинтересно жить, и вы лепите из меня героя для романтической истории. Хотите, я научу вас интересно жить?

Они уже прошли пару автобусных остановок и, разглядев в проходе к морю открытое кафе под могучим платаном, свернули налево, расположились на ажурных проволочных стульях и почти одновременно сказали: «Хорошо-то как!» Наташа рассмеялась, положила сумку под столик и добавила:

— Здесь есть все, что нужно для незапланированного праздника.

Несмотря на полуденный зной, на пляже под железобетонным паплетом, над которым располагалось кафе, загорали всего десятка два отдыхающих. Море было спокойным и каким-то странно расслабленным. Оно, словно живое, едва покачивалось в своей гигантской яме, слепило бликами и потрясало чудной прозрачностью воды. Лежавшие на небольшой глубине камни казались куда более реальными, чем серая береговая галька.

— Здесь официантов нет, — сказала Наташа. — Надо войти вон в ту дверь. Может, там есть мороженое. Кстати, там и вино есть. — «Апсны абукет». Дерябнем по стаканчику?

— Да, вашему брату до вас далеко, — рассмеялся Антон и, медленно поднявшись, отправился за вином.

К столу он вернулся, держа в руках большой графин с кроваво-красным вином и две вазочки мороженого. Он сел, торопливо разлил вино по стаканам и виновато проговорил:

— Если можно, я сразу выпью. Очень хочется пить. Еще пятнадцать минут, и я бы прыгнул в море.

— Хорошее вино,— выпив, сказала Наташа.— Я сниму босоножку? Ногу натерла.

— Ради Бога, — ответил Антон, — мне не жалко.

— Да? — рассмеялась Наташа.— А чего вам жалко?

— М-м. Вас жалко, — немного подумав, ответил Антон. — Очень печальную историю вы мне поведали. Я чуть не расплакался.

— Меня жалеть не надо. Я женщина опытная, все уже знаю, все понимаю, могу сама собой распорядиться без всякого для себя вреда.

— Вообще-то мне весь ваш пол жалко, — сказал Антон. — Познакомись вот с какой-нибудь девушкой, глаза ясные, поначалу думаешь: перед тобой чистый лист бумаги, а узнаешь поближе, там столько всего написано. О-го-го! Правда, написано все одно и то же, только разными почерками. Всякая тайна в конце концов оборачивается вереницей житейских драм и неинтересных подробностей. Таких похожих друг на друга так, что даже противно становится. Вот, хотите, я всю вашу жизнь расскажу? Если и ошибусь, то только в хронологии или в профессии. Но это и не важно: в редакции вы сидите, чай пьете, или в бухгалтерии на обувной фабрике.

— О своей жизни я сама все знаю. Вы обещали научить меня интересно жить. Я слушаю, начинайте.

— Хорошо, только не обижайтесь, — сказал Антон и налил в стаканы вина. Когда они выпили, он продолжил: — Вы очень правильно живете, поэтому с вами ничего не происходит. А ваш уход от мужа — это всего лишь банальная попытка как-то изменить скучную жизнь.

— Уже интересно. Продолжайте, — кивнула Наташа.

— Вам нужно почаще совершать глупые поступки.

— О-о-о! Я их уже столько насосершала, что до конца жизни хватит расхлебывать, — рассмеялась Наташа.

— Это не совсем то. Вы живете по законам, установленным не вами, в рамках системы, которая, может, и не соответствует вашему характеру, а глупый поступок ломает эту систему. Знаете, как случай ломает привычный уклад. Большинство людей не совершают глупых поступков, проживают жизнь правильно от корки до корки, и ничего необыкновенного с ними не происходит. А случай может все, он всемогущ. Вы случайно появились на свет, случайно встретили своего буду-

щего мужа, а потом и того доброго молодца. Но случай тоже, как это ни странно звучит, подчиняется своим законам. Если вы любите туризм, то, скорее всего, встретите такого же любителя таскать тюки с барахлом и ночевать в палатке на голой земле. Если вы любите сидеть дома и вязать, случаю будет очень трудно подобрать вам подходящую пару. Если же вы мечтаете о настоящем принце королевских кровей, вам придется, ох, как много поработать. Это только в сказках принц берет в жены замарашку. Такие сказки обычно заканчиваются свадьбой, и ни один сказочник не рискнул описать жизнь кухарки или прачки с королевским отпрыском. Сами знаете, что из этого вышло бы. Так что случай может все, но в пределах потребностей и возможностей каждого отдельного человека. А вот глупый поступок действительно может все. Глупым поступком вы сбиваете с толку собственную судьбу, случай в панике начинает подсовывать вам чужие варианты. И вот здесь главное не ошибиться. И здесь опять же все целиком зависит от ваших способностей и потребностей. Кухарка, конечно же, позарится на большую медную сковородку. Когда у тебя большой выбор и нет времени на раздумья, ты вцепляешься в то, что по крайней мере тебе знакомо. Да и зачем кухарке принц? С ним хлопот не оберешься. А вот умный человек может извлечь из глупого поступка большую пользу. Надо только победить в себе жадность и не хватать все, что попадет под руку. Бескорыстие еще одно условие игры. Иначе случай раскусит тебя и откупится каким-нибудь кошельком с тремя рублями на заплыванном тротуаре. В общем, чтобы что-то происходило, надо совершать глупые поступки, не бояться неприятностей и даже самому нарываться на них.

— Нет уж, неприятностей у меня и так хватает, — сказала Наташа.

— Неприятностями их только называют. На самом деле это повороты, которые мешают нам скучно жить. Мы же не любим, когда нас тормозат, а потому любой незапланированный поворот судьбы считаем неприятностью. Это как со справедливостью. Человек считает справедливым только то, что ему выгодно, что помогает ему сохранять оптимизм. Дали сто рублей — справедливо. Отругал начальник — несправедливо. Недогадливый обыватель просто не видит за этой «несправедливостью» отчаянных подпрыгиваний случая, который кричит ему: «Воспользуйся! Дай в ухо начальнику, уволься, продай последний шкаф и поезжай в Сочи. Там, на пляже, в пятой кабинке, ты найдешь золотой перстень с бриллиантом размером со сливу. Затем не ленись, купи газету «Сочинская правда». В ней ты прочтешь заметку о том, что пуп Земли, шахиншах Берега Бычачьей Кости, обещает десять миллионов долларов тому, кто найдет и вернет фамильный перстень. К

десяти миллионам долларов прилагается крохотный островок в Атлантическом океане, на скалах которого стоит маленький замок, кишущий привидениями. «Торопись, — вопит случай, — или ты сейчас врежешь начальнику в ухо, или я отдам перстень другому». — Антон перевел дух и запил свой зажигательный монолог вином.

— Все это, конечно, интересно, — сказала Наташа. — Допустим, я вам поверила и сегодня, например, пойду на танцы. Вы считаете, что со мной произойдет что-нибудь интересное?

— Ф-фу, танцы, — разочарованно проговорил Антон. — Хотя можно и танцы. Какая разница? Только я не вижу в этом ничего глупого. Вы заранее соберетесь и пойдете веселиться, как все. Что же здесь глупого? Все так делают. Скорее всего, вы простоите весь вечер у стенки. Насколько я понял, вы не знаете, как себя вести на танцплощадке. Вернее, забыли. Там ведь тоже свои законы. Вот если вы, ни о чем не помышляя, проходя мимо и услышав музыку, на глазах у всего честного народа, не задумываясь, с воплями перемахнете через забор, с вами обязательно что-нибудь произойдет. И главное — не сопротивляться этому. А то ведь, совершив глупый поступок, вы испугаетесь, и снова будете вести себя нормально: начнете извиняться перед билетершей, сбежите обратно. И тогда все встанет на свои места. — Антон разлил остатки вина и неожиданно предложил: — Давайте выпьем на брудершафт.

— Обожаю пить с красивыми мужчинами на брудершафт, — рассмеявшись, ответила Наташа. — Только здесь как-то неудобно.

— Ерунда, — сказал Антон. — Никто же не знает, кем мы приходимся друг другу. — Антон внимательно посмотрел на Наташу и добавил: — Какая же вы трусиха!.. А может, даже и ханжа.

— Нет, я не ханжа, — ответила Наташа. — А, кстати, это будет считаться глупым поступком или умным?

— Пока не знаю, — ответил Антон. — Будем считать, что вы сделали первый шаг — дали начальнику в ухо.

Они скрестили руки, не торопясь выпили вино и три раза поцеловались, причем Наташа, целуясь, пощекотала ему губы кончиком языка.

Время летело быстро. Посетители приходили и уходили. Как-то незаметно опустел пляж, а солнце, изрядно потускневшее, опустилось ближе к морю и увязло у горизонта в жирных окровавленных облаках. С моря задул легкий бриз, и листья платана над столиком затрепетали, зашелестели мишурным шелестом. Нагретый камень медленно остывал, воздух стал более прозрачным, а море из бирюзового сделалось

грязновато-белесым, словно в него влили молока и хорошенько размешали.

Антон, облив себя вином, безрезультатно пытался носовым платком стереть с белых брюк яркое розовое пятно, а Наташа наблюдала за ним и заплетающимся языком говорила:

— Бедный Антошка, тебе совершенно не во что переодеться?

— Ерунда, — ответил Антон, — одним пятном меньше, одним больше.

— Мы сейчас пойдем ко мне, и я выстираю брюки, — предложила Наташа. — Только вначале к тебе.

— Ты не передумала? — спросил Антон. — Смотри, втянешься, проклинать потом будешь.

— Нет, — упрямо ответила Наташа. — Я только один раз. Ты обещал, Антон. Я, как и ты, хочу всего попробовать. Я многое видела в этой жизни, многое перепробовала, но это...— Наташа понизила голос, оглянулась и заговорщицки прошептала: — Давно хочу попробовать морфий. А втянусь, черт с ним. Будем вместе кочевать по стране, а когда устанем, выроем в лесу берлогу и заляжем туда на веки вечные. Я буду твою лапу сосать, а ты — мою. Ты согласен помереть со мной в одной берлоге?

— Согласен, — энергично закивал Антон. — А берлогу в лесу мы можем вырыть прямо сегодня. Пойдем в лес?

— Только вначале к тебе, — напомнила Наташа. — А потом хочешь — в лес, хочешь — по дрова.

— Ну, тогда вперед, — сказал Антон и поднялся со стула. Он помог встать своей спутнице, удержал ее, когда она опасно качнулась к низким перильцам, и, взяв ее за руку, воскликнул: — Держись, у нас очень богатая вечерняя программа! Черт, я совершенно отвык от этого кайфа, но почему-то силен как бык.

— Береги силы, Антошка, тебе еще берлогу копать, — сказала Наташа и громко икнула. — Пардон, — извинилась она и запоздало прикрыла рот ладонью.

До Чанба они добрались, когда уже совсем стемнело. Антон пару раз ошибся калитками, затем нашел-таки нужный дом и, оставив Наташу под деревом, сходил на разведку. Во дворе было тихо, в хозяйском доме работал телевизор, а в каморке напротив играли в карты. Двери были раскрыты настежь, и оттуда то и дело раздавались смех и громкие возгласы: «Без двух... кто играет семь бубен...»

Антон вернулся к калитке, позвал Наташу, и они быстро прошмыгнули к нему в комнату.

— Я не буду включать свет, — сказал он.

— Не надо, — игриво ответила Наташа. — Я знаю, как выглядит этот клоповник. Лучше не видеть. А где тут можно сесть? Посади меня, Антон, а то я упаду. — Она обхватила его шею руками и зашептала: — Вот видишь, я уже падаю.

— Вот сюда, — прошептал Антон, — здесь кровать.

— О кровать, мечта моя, кровать, — пропела Наташа. — Ты знаешь, я хочу тебя, но борюсь с собой и буду бороться до последнего. Ты понял, до последнего.

— Борись, борись, — усаживая ее, ответил Антон.

Наташа отцепила руки и затихла, а Антон повалился спиной на кровать и через некоторое время пробормотал:

— Я полежу немного, отдохну...

— Что?! — возмущенно воскликнула Наташа. — Ты притащил меня сюда и бросил на самом краю этой поганой больничной койки?!

— Больничной? — рассеянно проговорил Антон. — Почему больничной? — Он закрыл глаза и мгновенно почувствовал, как уносится куда-то в чернильную темень, из глубины которой, словно из трубы, до него едва-едва доносился голос его спутницы:

— Предатель! Наркоман! Заманил меня в свою халупу и бросил одну в темноте.

Антон почувствовал, как кто-то толкает его в бок и пристраивается рядом. Затем на грудь ему легла чья-то голова, и он машинально принялся гладить эту голову. Неожиданно в неопределенном далеке, в беспросветной темени, он увидел белую точку, которая быстро увеличивалась в размерах. Вскоре Антон сумел разглядеть в этой точке женскую фигуру. Затем она приобрела знакомые очертания, а еще через некоторое время он увидел, что это Лена. Она летела к нему навстречу сквозь черный бездонный космос. Ее широко раскинутые в разные стороны руки и ноги напоминали крылья мельницы, и она медленно кружилась. Антон едва успел схватить ее за руку, и, остановив друг друга, они еще долго вращались вокруг невидимой оси, пока Антон не привлек Лену к себе. Он обнял ее, и Лена, как когда-то, прильнула щекой к его груди.

— Ты спишь? — спросила она.

— Нет, что ты! — встрепенулся Антон. — Я приехал сюда, чтобы найти тебя.

— Правда? — услышал он. — Скажи мне это еще раз.

— Я приехал сюда, чтобы отыскать тебя, — повторил Антон. — Посмотри, я снова в белом смокинге. Помнишь, как мы с тобой познакомились? Я снова такой, каким был тогда.

— Ты сильно поседел, — тихо произнесла она, — и смокинг твой совсем не белый. На нем пятна от вина.

— Да, он немножко грязный, — согласился Антон. — Это ерунда. Главное, я нашел тебя, Леночка.

— Кого ты нашел, Сережа? Я не Леночка. — Наташа приподняла голову и провела ладонью по лицу Антона. — Сережа, ты спишь?

Очнувшись от забытья, Антон открыл глаза и хрипло спросил:

— Кто здесь?

— Господи, — проговорила Наташа и села на кровати. — Я уже почти уснула. Это я, Антон.

— Наташа? — сразу вспомнил он. — Фу ты, черт! Я тоже уснул. А кто такой Сережа? Я слышал, ты назвала меня Сережей.

— Это я так, — ответила Наташа, но затем неохотно пояснила: — Сережа — это мой бывший муж. Я тебе о нем рассказывала. Ладно, хватит спать. Ты обещал мне обширную вечернюю программу, а сам, как бегемот, завалился и дрыхнешь.

Антон сел на кровати и потряс головой. Затем он встал и включил свет.

— Ну, зачем? — вскрикнула Наташа и прикрыла глаза рукой. — В темноте было так уютно. По крайней мере, не видно этих подлых стен.

— Мы едем в лес, как ты и просила, — сказал Антон. Он вытащил из-под кровати картонную коробку, перевязанную галстуком, достал оттуда бутылку шампанского и показал Наташе. — Это вместо обещанного морфия. И не спорь. Выпьем шампанское в лесу. Пить его в такой конуре все равно, что есть салат из омаров алюминиевой ложкой — к празднику не имеет никакого отношения. Вставай, мы уходим.

— Вот так всегда, — простонала Наташа. — Только почувствуешь себя женщиной, как тебе либо суют в руки бутылку, либо тащат в лес. А здесь и то, и другое.

Машину они остановили по дороге к вокзалу. Усевшись на заднее сиденье, Антон обнял Наташу за плечи и сказал водителю:

— В лес, шеф. В смысле — в горы.

— Альпинисты, что ли? — не оборачиваясь, спросил водитель. Он лихо вырулил на темную улицу и, не обращая внимания на колдобины, на большой скорости поехал в сторону Старой Гагры.

— Вроде того, — устало ответил Антон и закрыл глаза. — Утром будем брать Большой Кавказский хребет. До утра надо еще успеть вы-

брать горы поудобнее, чтоб наверху поменьше снегу было. У вас здесь, говорят, снежных людей в горах видимо-невидимо.

— Не видел, — ответил водитель. — Бараны снежные есть, а людей не видел.

— Это они только прикидываются баранами, — зевая сказал Антон.

Езда в машине укачала обоих пассажиров, и они уснули, а когда проснулись, машина стояла, в салоне горел свет, а снаружи была такая плотная темень, будто автомобиль накрыли брезентовым чехлом.

— Приехали. лес, — сообщил водитель. — К хребту — наверх, к морю — вниз. Не заблудитесь.

Машина уехала, и они остались на проселочной дороге, едва видной при свете фар и совершенно неразличимой в темноте. Тишина стояла такая, что они отчетливо слышали дыхание друг друга. Пахло прелой листвой и хвоей.

— И зачем мы приехали сюда? — тихо сказала Наташа. — Так хорошо было в твоей конуре.

— Зачем? — рассеянно спросил Антон. — Сейчас расскажу зачем. Нам надо с тобой где-нибудь устроиться спать.

Некоторое время они на ощупь продирались через густой кустарник. Затем, когда Наташа сказала, что дальше не пойдет, Антон нагнулся, пошарил вокруг себя рукой и, нащупав сухой холмик предложил спутнице спать. Пока Наташа, охая и проклиная поездку, устраивалась, Антон открыл шампанское. Оно выстрелило, как охотничье ружье, напугав Наташу до полусмерти. Выстрел несколько раз отозвался вдалеке эхом, и Антон пошутил:

— Смотри, здесь, как в кабаке, за каждым деревом пьют шампанское.

Наташа вздрогнула от выстрела и схватила Антона за локоть.

— Не бойся, теперь к нам ни один зверь не подойдет, — пообещал Антон. — В Гаграх они знают, что такое охотник.

— Ты их не распугиваешь, а подзываешь, — испуганно озираясь, проговорила она. — Обними меня, мне страшно.

— Успокойся, в этом лесу, кроме ежей, ничего не водится, — ответил Антон.

— Ты не знаешь, здесь даже медведи есть, — серьезно возразила она. — Но вообще-то я не зверей боюсь. Мне просто страшно. Я боюсь того, от чего не убежишь и не спрячешься. Какого черта мы сюда притащились? Вон посмотри, верхушки деревьев почему-то светятся голубым светом. И качаются. Антон, почему они качаются, ветра ведь нет?

— Светятся — это луна, просто ее отсюда не видно. А качаются потому, что длинные. Я тоже при ходьбе качаюсь. — Осторожно отпив из горлышка, Антон протянул бутылку Наташе. — Пей, только не торопись, а то взорвешься. Итак, вначале я расскажу тебе одну историю. Ты слушаешь?

— Да, — сделав глоток, ответила Наташа.

— Так вот. Был у меня друг. О его смерти я узнал через месяц после похорон. Меня не было в Москве, а когда я вернулся, на его могиле успела вырасти трава. Его жена рассказала мне, что в деревне, где мы всегда вместе отдыхали на даче, он поссорился с одной бабкой, которую все считали колдуньей.

— Нашел место, где рассказывать такие страсти, — прошептала Наташа.

— Не перебивай, — ответил Антон. — Это имеет отношение к тому, зачем мы здесь. Так вот. Что-то они не поделили со старухой, и колдунья пообещала ему, что он очень пожалеет о ссоре. И действительно, ровно через неделю друг уходит в лес за грибами и умирает там при самых загадочных обстоятельствах. Его нашли сидящим у дерева с выпученными от ужаса глазами. Корзина с грибами валялась рядом. Через какое-то время друг незадачливого грибника — назовем его Иваном — решил отомстить колдунье. Она многим успела напакоstitь, и самому Ивану в том числе. Как-то в конце октября, когда все дачники уже разъехались по домам, и в деревне не осталось никого, кроме нескольких стариков, он решил навестить старуху. Взял с собой ружье, немного еды и рано утром отправился к этой самой колдунье. С поезда он сошел на две остановки раньше, чтобы его случайно на станции не увидели знакомые, и остаток пути добирался лесом, который хорошо знал. Как это часто бывает в конце октября, шел дождь. Идти Ивану было трудно, на сапоги налипала грязь, и он часто останавливался, чтобы очистить сапоги от глины. К деревне Иван подошел около полудня и долго стоял на опушке леса, наблюдая в бинокль, есть ли кто поблизости, но так за полчаса никого и не увидел. Тогда он пересек раскисшее от дождя поле и огородами подошел к дому колдуньи. Всю дорогу до деревни Иван уговаривал себя, что собирается совершить благое дело — наказать зло. За это время он сочинил, наверное, целый трактат о том, что такое справедливость. Говорил себе, что если каждый порядочный человек встанет на защиту добра и начнет искоренять зло вокруг себя, то очень скоро на земле зла не останется совсем. Когда же подошел к дому старухи, его охватил страх. Нет, он не стал ду-

мать иначе. Просто ему сделалось страшно, потому что одно дело рассуждать о борьбе со злом и совсем другое — вступить с ним в борьбу.

Когда Иван подошел к двери, из дома вышла старуха колдунья. Вид у нее был такой, будто она ждала Ивана. Колдунья смотрела на него без всякой злобы и даже слегка улыбалась, а Иван до того перепугался, что поначалу не мог выговорить ни слова. В горле у него пересохло, сердце бухало так громко, что ему показалось, будто взлетевших с дерева ворон вспугнул стук его сердца.

Старуха пристально смотрела на Ивана и молчала. Наконец, он хрипло поздоровался с ней и попросил попить воды.

— Что ж, зайди попей,— предложила колдунья.— Только не за этим ты сюда шел через поле.

— Не за этим, — вконец перепугавшись, согласился Иван.

— Старая я стала, — сказала старуха. — Хорошо, что ты пришел. Ты тот человек, который мне нужен. Долго я искала такого. Тебя ждала. — Она вошла в сени, зачерпнула ковшиком воды из ведра и протянула его Ивану. — На, пей. Остынь немного. Сила тебе понадобится, и я дам ее тебе.

Иван взял ковшик, посмотрел на воду, увидел отражение собственного испуганного лица и попытался взять себя в руки. Свободной рукой он залез в карман, нащупал там коробку с иглками, достал одну и воткнул ее над порогом в дверной косяк. После этого Иван протянул колдунье ковшик с водой и сказал:

— Эту воду я пить не буду. А зачем я пришел, ты сейчас узнаешь.

— Дурак ты, дурак, — хрипло рассмеялась колдунья. — Я знала об этом, когда тебя еще и на свете не было.

Сказав это, она ушла в дом, а Иван, швырнув ковшик на землю, бросился за угол к окнам. Он сделал это вовремя, потому что старуха уже смахнула с одного подоконника горшки с цветами и попыталась открыть окно. Иван успел воткнуть иглу в наличник, и эта первая маленькая победа придала ему сил и уверенности. Иван даже засмеялся от удовольствия и, уже не торопясь, повтыкал иглы в наличники над остальными окнами. После этого он посмотрел в дом сквозь стекло и увидел, как колдунья выбежала из горницы в сени.

Иван знал, где у старухи хранится лестница. Сбегав за угол, он подставил лестницу к стене дома, забрался наверх и воткнул иглу над чердачной дверцей. Затем он распахнул дверцу и увидел колдунью. Она стояла в двух метрах от него и горящими глазами смотрела на Ивана с такой ненавистью, что Иван чуть не упал вместе с лестницей вниз.

— Не нравится?! — выдержав тяжелый взгляд, спросил он. — Погоди, это только начало.

— Хорошо начал, — ответила старуха, — смотри, как бы плохо не кончил.

— Не бойся, — закрывая чердак, ответил Иван, — сделаю все как надо.

После этого он забрался на крышу, накрыл печную трубу дощечкой, а в дощечку воткнул иглу.

— Вот теперь все в полном порядке, — сказал Иван. — Теперь и поговорим. — Он еще раз окинул деревню взглядом и, убедившись, что на раскисшей дороге никого нет, спустился с крыши.

Дождь полил еще сильнее. Тучи так плотно закрывали небо, что казалось, будто наступил вечер. Облетевшие, промокшие деревья раскачивались словно живые, и тянули свои тонкие черные пальцы к небу, моля его о передышке.

Иван бросил лестницу под стену дома и вернулся к порогу. Дверь была открыта. В сенях, у лавки с ведрами, стояла колдунья, будто ожидая Ивана. Едва он появился, она схватила с лавки эмалированную кружку с водой и изо всей силы выплеснула в раскрытую дверь. Иван легко увернулся от воды, рассмеялся и спокойно произнес:

— Все, бабка, ничего тебе больше не поможет. Пришел твой конец. Я буду тебе и судьей, и палачом. Иди в дом, может, успеешь помолиться.

— Не делай этого, Иван, — ответила старуха. — Я старая, мне все равно помирать, а тебе я хочу сказать: не бери грех на душу, не твое это дело — человека смертью наказывать.

— Гадину раздавить — это не грех, — ответил Иван. — А ты иди, иди покайся. Может, скостит тебе Господь годик-другой.

— Как знаешь, Иван, — ответила колдунья. — Я тебя предупредила.

Иван достал из рюкзака охотничью двустволку, присоединил приклад и вогнал в оба ствола патроны с картечью. Едва он взвел курок, как старуха бросилась в горницу и закрыла за собой дверь. Иван вошел в сени и на всякий случай воткнул еще одну иглу в притолоку над входом в горницу. Затем он нашел топор, сунул его в щель между дверью и косяком и со всей силы нажал. Задвижка оказалась слабой, шурупы сразу повывлетали из старого, трухлявого дерева, и дверь распахнулась. И увидел Иван, как по горнице мечется не старуха, а большая черная кошка с зелеными горящими глазами. Кошка бросалась от подоконника к подоконнику, сбрасывая на пол цветочные горшки, какие-то корбоч-

ки, клубки шерсти и старые открытки. Она с ненавистью смотрела на Ивана, не выпуская его из виду ни на секунду.

— Это тебе не поможет, — сказал Иван. Подняв ружье, он прицелился.

Кошка заметалась еще сильнее, и Иван даже удивился, почему она не убегает в соседнюю комнату, дверной проем в которую был всего лишь прикрыт ситцевой занавеской. Наконец, удачно поймав животное на мушку, Иван нажал на курок. Раздался выстрел, и кошку так ударило зарядом о стену, что в том месте на обоях осталось густое кровавое пятно. Сама же кошка упала под стеной, мертвая и развороченная, словно ее рвала целая свора собак.

— Вот так, — удовлетворенно сказал Иван.

Он разломил ружье, вынул дымящуюся гильзу и зачем-то вставил в ствол еще один патрон. Затем он наконец позволил себе выпить воды, а когда вернулся к двери, кошки под стеной не оказалось, зато посреди комнаты стояла молодая красивая девушка с глазами огромными и черными, будто угли.

— Ого! — удивился Иван. — Стало быть, тебя так просто не убьешь.

— Не убьешь, Иван, — ответила она. — Ты бы лучше о себе подумал.

— Ты за меня не беспокойся, — усмехнулся Иван и снова вскинул ружье.

Колдунья вскрикнула, метнулась к окну, вцепилась в оконную раму, дернула ее изо всех сил, но только поломала себе ногти. Упав грудью на подоконник, она застонала и повернулась лицом к двери. В последнее мгновение Иван испугался, подумал, как все-таки страшно стрелять в живого человека, как страшно быть и судьей, и палачом в одном лице и делать черную работу за того, кто сам объявил себя и вершителем человеческих судеб, и главным судьей. Взгляд колдуньи был до того пронзительным, что Иван зажмурился и так, вслепую, нажал на курок. Раздался еще один выстрел, а когда Иван открыл глаза, он увидел, как девушка соскользнула с подоконника и упала на пол, раскинув руки в разные стороны. На груди у нее, куда вошла картечь, образовалась дыра, откуда, словно из подземного ключа, толчками выходил кровь.

Опустив ружье, Иван вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб и, отдуваясь, снова подошел к ведру с водой. Руки у него сильно тряслись. Когда он ковшом зачерпывал воду, тот громко стучал о край ведра.

Напившись, Иван вернулся к двери. Колдуньи на полу уже не было, а вместо нее посреди комнаты стоял двух-трехгодовалый ребенок — девочка с черными как смоль спутанными волосами и такими же черными глазами. Она молча смотрела на Ивана и сосала большой палец.

— Ну и кем бы обернешься в следующий раз?! — с ненавистью воскликнул Иван и едва не разревелся от того, что отступить было поздно. — Думаешь, если прикинулась ребенком, я не смогу нажать на курок? Черта с два!

Девочка вынула мокрый палец изо рта и, не отрывая от Ивана испуганного взгляда, кинулась к окну. Переборков в себе какой-то леденящий ужас, Иван в третий раз поднял ружье и с раздражением подумал: «Что же они все по горнице мечутся? Есть же вторая комната». А девочка подставила к окну табуретку, влезла на нее и, громко заплакав, забарабанила кулачками по стеклу.

Если бы колдунья сразу обратилась ребенком, может, Иван и не стал бы стрелять, но два первых выстрела побуждали его довершить начатое, добить наконец колдунью во что бы то ни стало. Перед глазами у него маячили кровавое пятно на стене и небольшая темно-красная лужица на полу. Нужно было ставить точку, и Иван навел стволы на девочку, прицелился и выстрелил. Он видел, как девочку ударило лицом об оконную раму, видел, как могучая сила пригвоздила ее к вертикальной перекладине, словно к кресту, а затем отшвырнула от окна. Колдунья упала на пол, голова ее качнулась и застыла на месте с лицом, повернутым к Ивану. Большие черные глаза девочки были открыты, и Ивану показалось, что в ее огромных, тускнеющих зрачках он видит свое отражение.

Поставив ружье в угол, Иван перешагнул наконец через порог и вошел в горницу. Девочка лежала, словно поломанная кукла, и из-под нее медленно выползала отливающая гранатом лужица крови. Не отдавая себе отчета, зачем он вошел, Иван стоял над мертвым телом и как загипнотизированный смотрел на растущую лужу. Еще через несколько секунд тело девочки начало таять. Вначале оно потеряло очертания, задрожало, словно раскаленный воздух, и постепенно пропало, а вместо девочки рядом с Иваном проявилась старуха в грязных лохмотьях. Ее беззубый рот был открыт, и оттуда по подбородку стекала густая розовая слюна. Иван брезгливо поморщился, отошел от старухи на шаг, а та вдруг дернула ногами, заскребла скрюченными желтыми пальцами по доскам пола и застонала.

— Вот и конец тебе, — с облегчением сказал Иван. Он подошел к окну, закурил сигарету и посмотрел на улицу. Там по-прежнему шел

дождь, шквальный ветер остервенело набрасывался на деревья, и те раскачивались, как большие нелепые метрономы.

На самом деле Иван не чувствовал никакого удовлетворения. Вместе со страхом к нему пришло какое-то нехорошее предчувствие. Внутренний голос подсказывал ему, что надо скорее уходить. Поверив ему, Иван повернулся, еще раз подошел к лежащей на полу колдунье и увидел, что та одной рукой прижимает к своей иссохшей груди клубок шерсти, один из тех, что разлетелись по всей комнате. Он еще ничего не успел сообразить, как колдунья открыла глаза, пристально посмотрела на него и бросила ему клубок. Иван машинально поймал его, а колдунья трескуче рассмеялась, несколько раз дернулась и сразу после этого испустила дух. Как ядовитую змею, Иван отбросил от себя клубок. От осознания близкой беды у него заболело сердце. Он вспомнил все, что знал о колдунах, о том, как они умирают и, вскрикнув от ужаса, бросился к выходу. Не доходя метра до двери, он понял, что выйти из комнаты не может. Что-то мешало ему сделать последних два шага, как будто между ним и дверью вдруг возникла невидимая стена. И тут он понял, что не только знает ответ, но знает его давно, с того самого момента, как увидел у старухи злополучный клубок. Это прозрение словно разделило его жизнь на две части, и все его прошлое до того самого момента, как он поймал клубок, представлялось ему сейчас чем-то очень далеким и нереальным. Иван вдруг понял, что между ним прежним и настоящим протянулась непреодолимая пропасть, почувствовал, что совсем иначе воспринимает окружающий мир. Вещи представили перед ним в ином свете, изменили свои очертания и даже налились другим, непонятным ему содержанием и смыслом. Он вдруг поймал себя на том, что стал значительно лучше слышать. В голове у него, словно в радиоприемнике, трещало, свистело, кто-то постоянно болтал и даже напевал. Из всего этого шума ему удалось выделить журчание воды и постукивание веток, шорох сухой травы и хлюпающие шаги лесного зверя, Вместе с тем Иван ощутил свинцовую тяжесть в груди и какую-то необъяснимую злобу на весь этот суетливый, копошащийся мир.

— Теперь ты мой. Ты мой. Ты мой, — услышал он тяжелый, чугунный бас, и бесчисленное множество визгливых голосов поддержало его: «Ты наш, ты наш, ты наш».

В этом доме Иван провел неделю. Он пытался разобрать стены и потолок, но все инструменты остались за дверью, над которой он сам и воткнул иглу. Выпустила его старушка соседка, которая пришла навесит колдунью. Он попросил ее взять палку и сбить иглы, что она и

сделала, причитая и все время крестясь. После этого Иван без всякого сожаления убил старушку, потому что она знала его и могла донести в милицию.

...Антон взял у Наташи бутылку шампанского и сделал несколько глотков.

— Зачем ты мне рассказал это? — дрогнувшим голосом спросила Наташа. Все это время она сидела молча, и Антон почти физически ощущал, как она боится.

— Ты, наверное, уже догадалась, — шепотом произнес Антон, — что человека того звали не Иваном. Это был я. С тех пор я и колюсь. Грехи, свои и бабкины, которые она мне передала, тянут душу. Морфи-ем я заглушаю голос того, кто тогда сказал мне: «Ты мой», но раз в году я знакомлюсь с женщиной, заманиваю ее в лес и...

Наташа вскрикнула, вскочила с места и бросилась бежать. Антон видел, как белое пятно мелькает между деревьями, слышал ее охи и слабые выкрики, но все же, прежде чем броситься за ней вдогонку, сделал несколько глотков.

Догнал он ее быстро. Наташа зацепилась платьем за куст, упала и, усевшись прямо на землю, разрыдалась. Антон присел рядом с ней на корточки, обнял ее за плечи и принялся успокаивать.

— Ну-ну, перестань. Успокойся. Ради бога, извини. Я не думал, что ты такая трусиха. Взрослый человек, а испугалась какой-то сказки.

— Уйди, дурак! — сквозь рыдания выкрикнула Наташа.

— Дурак. Конечно, дурак, — охотно согласился Антон. — Ну прости меня. Знал бы, что ты такая трусиха, не стал бы рассказывать. Просто я хотел в занимательной форме сказать, что всякая гнусность, совершенная человеком, в конце концов возвращается к нему же. Извини, разнузданное воображение подвело. Ты просто не дождалась концовки. После рассказа я хотел наброситься на тебя и страшным голосом закричать: «А сейчас я тебя съем».

— Очень остроумно, — всхлипывая проговорила Наташа. — Ты что, совсем ненормальный?

— Может, и не остроумно, зато страшно. А ты все испортила.

— Ты страшный дурак, — сказала Наташа. — Теперь я понимаю, почему от тебя ушла жена. Если все, что хотел сказать, ты втолковывал ей таким же способом, странно, что вы еще как-то жили. — Наташа икнула, и Антон вставил ей в ладонь бутылку шампанского.

— Выпей, только осторожно — пенится.

— Заботливый, гад, — уже спокойнее ответила Наташа и не спеша отпила из бутылки. — Нет, ты никак не мог быть моим папой. Он, по крайней мере, считался с людьми. А ты чудовище.

— Нет уж, — шутливо возразил Антон. — Теперь не отвертись. Я — твой папа!

— А насчет глупости в занимательной форме — это ты наврал, — сказала Наташа. — Для этого не надо было тащить меня в лес. Про таких, как ты, говорят — непутевый. Напугать хотел, у тебя это хорошо получилось. Все! — Наташа встала и вернула Антону бутылку. — Хватит с меня леса, пойдем вниз.

Только сейчас Антон заметил теплый оранжевый свет между деревьями, а в одном месте была видна половина светящегося окна.

— Похоже, что мы и не в лесу, — показал он. — Мы где-то на окраине.

— Слава Богу, — с облегчением сказала Наташа. — Я почти совсем протрезвела от твоей дурацкой сказки. Как представила, что мне придется тащиться ночью по лесу, да еще с таким ненормальным... — Наташу качнуло, и она чуть не свалилась в кусты. — Держи же меня! — вскрикнула она. — Напоил, черт знает куда притащил и идешь рядом. Дожил до... Сколько там тебе?.. И не знаешь, что женщине надо предложить...

— Я знаю, что предлагать женщинам, — перебил ее Антон.

— Сейчас какую-нибудь пошлость скажешь, — ответила Наташа. — Мужики всегда так. Сами доведут жену до развода, а потом говорят о женской неверности, продажности и прочей ерунде...

Они вышли на дорогу и действительно оказались на окраине города. Дорога вела вниз. Откуда-то издали вдруг донесся голос диспетчера, и они поняли, что вокзал недалеко, отчего оба как-то сразу повеселели.

— Я никогда не отзывался о женщинах плохо, — сказала Антон, — но жизнь есть жизнь. Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что чаще всего женщина продается, как бы это ни было закамouflировано под чувства или под необходимость.

— Мужики тоже продаются, и даже чаще, — ответила Наташа. — Ты правильно сказал: жизнь есть жизнь. И в этом нет ничего плохого. Да, ты должен купить женщину. А если ты красавец, да еще хороший человек, можешь взять и так, но лучше подкрепить это чем-то более существенным. Никуда от этого не денешься.

— Наверное, — усмехнувшись, согласился Антон. — Правда, я всегда считал, что существует такая вещь, как привязанность.

— Существует, — непонятно чему обрадовалась Наташа. — Но это не вещь, ее не пощупаешь, а оберегать надо. Узлы почаще проверять, а то развяжутся, и не заметишь. Ты, дорогой мой, наверное, халявщик. Ничего не деляя, хочешь, чтобы все держалось само по себе... Тебе не надо — отпихнул и пошел, надо — поманил, она рядом. Надо хотя бы иногда радовать жену: дарить ей подарки, цветы, давать возможность самой покупать разную дребедень, говорить ласковые слова. К тому же женщины любят все красивое. И мужчин тоже, особенно молодых. Разве это плохо? Вы тоже любите девочек. Да еще иногда пользуетесь своей физической силой и насилуете их.

— Ну, о насильниках мы сегодня говорить не будем, — сказал Антон. — А в остальном, может, ты и права, но мне это не нравится. Мне противно играть по правилам, из которых вытекает, что физический объем души таракана равен физическому объему души человека. Я не хочу играть в те же игры, в которые играют мышка-норушка, собачка, верблюд и мой сосед Иван Петрович. Мне скучно говорить об очевидных вещах, обсуждать политические новости. Надоели семейные дрязги и однообразные планы на будущее.

— А зачем же ты приехал сюда, пишешь ей письма?

— Я приехал сюда отдыхать и только отдыхать, — чеканно проговорил Антон. — А насчет женщин я понял, что женщину Господь Бог вылепил не из ребра, а из крайней плоти мужчины. Он создал Адама, сделал ему обрезание, а из кусочка кожи смастерил Еву.

— Остроумно, — усмехнулась Наташа. — Только у меня есть другая версия. Господь Бог вначале сотворил Еву, но увлекся и вылепил ей слишком большую задницу. Тогда он снял лишнее и из этого вылепил ей мужика.

— М-да, — сказал Антон и засмеялся. — Пусть будет так, как ты сказала. Мне все равно, из чего вылепили Адама. А ты молодец. Ты мне нравишься все больше и больше.

— Зато ты мне все меньше и меньше, — тихо ответила его спутница.

С узкой бетонной дорожки они свернули налево на пляж и медленно побрели вдоль берега. Море слегка фосфоресцировало, и редкие блестки казались блуждающими огоньками, живущими по ту сторону невидимой преграды, что стоит между реальным миром и его трансцендентным отражением.

— А твой этот сопляк — дурак, — продолжил Антон. — Он ничего не понимает в женщинах.

— Мне от этого не легче, — раздраженно ответила Наташа. В ее голосе послышались истерические нотки, и Антон это почувствовал.

— Тогда зачем расстраиваться из-за какого-то дурака, — громко проговорил Антон. — Ты же умная.

— Для женщины это скорее недостаток.

— Ты очень красивая, — еще громче сказал Антон.

— За что кукушка хвалит петуха... — усмехнулась Наташа.

— Молодая! — почти выкрикнул Антон.

— А это уже грубая лесть, — отрезала Наташа.

Антон рассмеялся каким-то сатанинским смехом, заглянул своей спутнице в лицо и каким-то не своим, противным голосом сказал:

— Этот молокосос еще пожалеет, что бросил тебя. Он идиот! Сволочь и идиот!

И тут Наташу словно прорвало.

— Он не дурак! — закричала она. — Он сволочь и гад! Я не сказала тебе всего. Он не просто ушел. Он предал меня! Предал, как меня еще не предавал никто! Он трус и подлец!

— Громче! — заорал Антон.

— Что? — удивилась Наташа.

— Скажи то же самое громче! Завопи! Вырви из себя это, освободись! Кричи: «Он трус и подлец!» — во всю глотку прокричал Антон.

Наташа изумленно посмотрела на него и вдруг закричала что было сил:

— Он трус и подлец! Сволочь! Кретин!

— Падла! — Антон скакал вокруг нее и размахивал руками.

— Падла! — повторила Наташа. — Сволочь!

— Ну давай, давай! Наддай!

— Я его ненавижу! — закричала Наташа. — Тварь! Педераст проклятый!

— Ну, еще! — неистовствовал Антон.

— Тухляк! Мерзятина! — из последних сил закричала Наташа. — У него изо рта воняло кислятиной! Сука!

— Здорово! — во всю силу легких закричал Антон, а Наташа подняла руки вверх и, потрясая кулаками, завизжала:

— Свинья! Импотент проклятый!

— Ура! — прыгая вокруг Наташи, орал Антон. — Мы его убили! Мы размазали его по этому пляжу, как дерьмо!

Неожиданно Наташа села на песок, обхватила голову руками и застонала.

— Что с тобой? — подскочив к ней, спросил Антон. Он сел рядом, обнял ее за плечи и попытался заглянуть ей в лицо.— Ты что? Тебе плохо?

— Что это со мной было? — обессиленно спросила Наташа.

— Мы убили сопляка,— ответил Антон.

Некоторое время они сидели молча, а потом Наташа шепотом сказала:

— Ты дьявол. Не главный, конечно. Кто там у них пониже рангом, провокатор? Вот ты он самый и есть.

— Я не обижаюсь,— сказал Антон.

— И не надо,— так же тихо сказала Наташа.— Я же не обидеть тебя хотела. Просто сказала, кто ты такой.

— Ну, сказала и сказала. — Антон помог ей подняться с песка, взял за локоть, и они медленно пошли дальше.

Почти всю дорогу они шли молча, а когда подошли к дому, Антон попрощался и собрался было уходить, но Наташа остановила его:

— Пойдем, я тебя накормлю. У тебя же в твоей халупе ничего нет. Да и вообще можешь остаться у нас ночевать. Места много. Мама будет рада.

Антон согласился не раздумывая. Он чувствовал, что перегнул палку, желал как-то загладить хоть часть своей вины, но главное, сейчас ему не хотелось оставаться в одиночестве. После дня, проведенного с Наташей, он вдруг ощутил потребность в общении.

Они подошли к дому, на цыпочках поднялись на второй этаж в тот самый кабинет, где Антону уже приходилось бывать и, оставив гостя, Наташа спустилась вниз. Вскоре она появилась с подносом, заставленным всевозможными закусками.

Ужинали они долго и без удовольствия, хотя оба были голодны. Говорили мало и в основном о ерунде: вкусно, очень вкусно, как приготовлено, как лучше пить шампанское — с газом или без. Сердечные дела больше не обсуждали. Домашняя обстановка словно провела между ними демаркационную линию. Наташа выглядела очень уставшей. Она часто зевала в ладонь, отвечала невпопад и осоловело смотрела в свою тарелку. Антон думал о том, что зря он согласился зайти в дом. Чувство одиночества не рассеялось. Завтрашнее пробуждение в гостях представлялось ему скучным, а пребывание здесь с последующим прощанием — утомительным. Он с тоской подумал о том, что теперь предстоит завтрак с Еленой Александровной и ее сыном, который обязательно испортит ему настроение. А потом в качестве платы за гостеприимство он должен будет остаться хотя бы на полчаса. И после всего

этого придется пройти несколько километров пешком по берегу. Антон хотел было уже сообщить, что после ужина уйдет, но Наташа опередила его. Она встала, бросила салфетку на поднос и сказала:

— Поднос поставишь на стол. Дверь внизу я закрыла на ключ. Располагайся на этом диване. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответил Антон. Ему лень было просить Наташу открыть входную дверь. Пришлось бы объяснять, почему он хочет уйти, врать, поскольку правда для подобного объяснения не годилась.

Наташа вышла из комнаты, закрыла за собой дверь, и Антон остался наконец один. Некоторое время он сидел, тупо уставившись на старинный барометр в бронзовом корпусе. Точно такой же когда-то он видел в Политехническом музее, и это воспоминание вызвало у него острый приступ ностальгии по школьным годам. Затем он растянулся на диване, но пролежал недолго. Встав, Антон подошел к окну, потрогал раму и попытался ее открыть. Это удалось ему без труда. В комнату вошли змеиное шипение прибора и шелест листьев, до которых можно было дотронуться рукой.

Антон посмотрел вниз. До земли было метра три с половиной, и он, недолго думая, забрался на подоконник, свесил ноги вниз и, еще раз окинув комнату взглядом, прыгнул.

Приземлился он неудачно, на край канавки, а потому сильно потянул связки и повалился на бок под дерево, на сухую взрыхленную землю. Некоторое время он лежал, стиснув зубы от боли, боясь стоном обнаружить себя, и, когда увидел Александра, даже не удивился. Цепляясь за ствол и ветви дерева, Антон с трудом поднялся и на одной ноге прыгнул на дорожку. Александр подошел к Антону неспешной походкой хозяина дома, выражая всем своим видом неприязнь. Затем, остановившись, он сказал:

— Ты давно мне надоел, папочка.

— Ты мне надоел не меньше, сынок, — стараясь удержать равновесие, ответил Антон. — Видимо, в той своей жизни я не успел тебе объяснить, что человеку, который подвернул ногу, надо помочь, а потом уже... — Антон не успел договорить, как Александр вдруг резко ударил его кулаком в зубы. Антон упал на спину, раскинув руки в разные стороны.

— Тебе еще какая-нибудь помощь нужна? — спросил Александр.

Антон сел, вытер губы тыльной стороной ладони и ответил:

— Нет, спасибо. Если бы я знал, что ты вырастешь такой тварью, я бы удавил тебя в колыбели.

Александр сделал шаг вперед, и Антон громко сказал:

— Давай, давай, гад! Пользуйся, что я не могу встать. Ну и повезло же тебе, сволочь!

— Что ты орешь, — испугался Александр. — Ладно, не трону. Иди отсюда, и чтобы больше я тебя никогда не видел здесь. Это мой дом, и я не хочу, чтобы разная шантрапа по ночам прыгала из окон.

— Ты же ходишь вокруг, как пес, дом сторожишь. Значит, видел, как мы с Наташей пришли полчаса назад. А из окна я выпрыгнул потому, что не хочу ночевать в твоём доме, а будить никого не хотелось. Хотя, что я тебе объясняю? Сейчас уйду.

Антон встал вначале на четвереньки, затем поднялся на одну ногу и, преодолевая боль, заковылял к выходу. Александр молча шел за ним. Закрывая за собой калитку, Антон сплюнул через забор и на прощание сказал:

— Я понимаю, ты рос безотцовщиной, но оказался все же лучше, чем на первый взгляд. Я думал, ты начнешь меня обыскивать.— Антон вывернул карманы пиджака и брюк.— Это чтобы тебе спокойно спалось.

Александр промолчал, развернулся и так же медленно пошел к дому.

До своей каморки Антон добирался часа три. Он снял туфли и носки и долго шел по мелководью, остужая большую ступню. Вскоре ему полегчало, и, слегка прихрамывая, он почти позабыл о ноге, начал разговаривать сам с собой, обращаясь к себе на «ты».

— Ну что, получил, жертва собственной гениальной теории? В пятой пляжной кабине оказался не перстень с бриллиантом, а мина с часовым механизмом. Зачем ты выпрыгнул из окна? Глупости тоже надо делать с умом. — Сказав это, Антон громко рассмеялся. — Ерунду какую-то несешь: глупости с умом! Беги отсюда. Зачем ты сюда приехал? Ты же прекрасно знаешь, что ничего не сумеешь сделать, да и не надо ничего делать. Тебе не надоело? Ты нашел свой маленький уголок рая, садись там и сиди, а Она придет к тебе незаметно, под видом почтальона или грабителя, и заберет тебя. Иди скорее. В каморке лежит все, что тебе нужно.

Когда Антон доковылял до дома и вошел во двор, в соседней каморке зажегся свет и из-за цветастой ситцевой занавески показалось женское тело, обтянутое тренировочным костюмом. Тело встало в классическую позу ночной бабочки и знакомым голосом спросило:

— У вас закурить не найдется?

— Нет, я не курю,— ответил Антон.

— А выпить? — насмешливо спросила соседка.

— Выпить тоже нет, — мрачно ответил Антон и, усмехнувшись, добавил: — И потрахаться, к сожалению, тоже нет.

— Да? — рассмеялась соседка. — А у меня этого добра навалом.

Антон быстро вошел к себе, на всякий случай закрыл дверь на задвижку и, не включая свет, повалился на кровать.

— Господи, куда мне столько, — доставая из-под кровати кейс, тихо проговорил он. Раскрыв чемоданчик, он дрожащими руками сделал себе укол, швырнул шприц назад и уже словно во сне услышал, как кто-то скребется в дверь.

— Парень, — зашептала соседка в щель. — Слышишь, парень? Я принесла потрахаться. Будешь брать?.. А то унесу.

3

Антон проснулся далеко за полдень, и разбудил его легкий стук в дверь. Он перевернулся на спину, заложил руки за голову, хриплым голосом сказал: «Войдите» — и вспомнил, что вчера закрыл дверь на задвижку. Ему очень не хотелось вставать и тем более с кем бы то ни было разговаривать. Антон любил понежиться в постели, вспомнить сон и поразмышлять, действительно ли виденное во сне имеет отношение к реальной жизни или это всего лишь беспорядочное мелькание картинок, как если бы их вытаскивали из коробки вслепую.

После того как стук повторился, Антон встал, охнул, наступив на больную ногу, отодвинул задвижку и снова залез под одеяло. Каково же было его удивление, когда в каморку вошла Ниночка — внучка Елены Александровны.

— Здравствуйте, — сказала Ниночка. — Еле нашла вас. Меня прислала к вам Наташа. Сама она лежит, плохо себя чувствует, а меня вот попросила вас навестить. Я вам поесть принесла. — После этих слов Ниночка поставила на тумбочку полиэтиленовый пакет и выложила оттуда два свертка. — Это бутерброды, — показала она на один из свертков. — А это пирожки с яблоками.

— А как же горошек с маслицем? — улыбаясь, спросил Антон.

— Какой горшочек? — не поняла Ниночка.

— Если ты помнишь, Красная Шапочка несла своей бабушке пирожки и горшочек с маслицем. Пирожки есть, а горшочка я что-то не вижу. Или дедушкам не положено масло?

Поняв, о чем идет речь, Ниночка рассмеялась и ответила:

— Для моего дедушки вы чересчур молодой. А во все эти перерождения я не верю.

— А во что же ты веришь? — поинтересовался Антон. — В вечную жизнь после смерти? Или ты атеистка?

— Я верю только в то, что вижу вокруг себя, — ответила Ниночка.

— Да-а? — воскликнул Антон. — В таком случае ты живешь не на планете Земля, и не в России, и даже не в Гагре, а там, где находишься в данный момент. Нет никакой Африки, Америки, нет острова Гренландия, а Вселенная — это всего лишь черная тряпка в белый горошек, которую на ночь кто-то набрасывает на небо. Это чтобы вы не чирикали, а спали. Ты живешь в маленьком волшебном мире, в котором неизвестно откуда появляются и куда исчезают люди, поезда, корабли и прочее. Вот ты пришла ко мне, и я появился, ты уйдешь, и меня не станет, я растворюсь в вакууме, который окружает твой замечательный мир.

— Не совсем так, но очень похоже, — немного кокетничая, ответила Ниночка.

— Если ты веришь только в то, что видишь вокруг себя, тогда чем в твоём мире магнит притягивает железо? — спросил Антон.

— А в моём мире нет никакого магнита, — ответила Ниночка, быстро поняв правила игры. — Покажите, где он?

— Да, действительно, — с восхищением произнес Антон. — Но появляется же иногда.

— Ну и что? Мало ли что появляется в вашем мире. Вы же не интересуетесь, почему у меня один шнурок зелёный, а другой — красный.

— Да я и не заметил, — ответил Антон.

— Я видела, как вы посмотрели на мои ноги, а шнурки как раз там, на ногах. Вот и я вижу и интересуюсь только тем, что мне интересно. А чем магнит притягивает железо, не знаю и знать не хочу, потому что не вижу.

— Да, — немного обескуражено сказал Антон. — Это действительно замечательный мир. В нём, наверное, происходит много интересных вещей.

— Очень много, — ответила Ниночка. — Из ниоткуда вдруг появляется поезд, сделанный нигде, и оттуда выходят люди, приехавшие из ниоткуда.

— Да, но если для тебя существует только то, что ты видишь, стало быть, твой мир состоит из роботов, которые умеют только ходить, издавать звуки, есть, пить и зачем-то плескаться в море. Они не умеют любить, ненавидеть, сострадать и мечтать. И во всех их действиях и передвижениях нет никакого смысла. Твой мир — это отдельные камни, отдельные деревья, отдельные люди-роботы, снующие, как завод-

ные медведи. И все это никак между собой не связано, потому что связь тоже глазами не увидишь. Это не веревка.

— Нет, в моем мире есть все: и связь, и чувства, и все остальное. Вот вчера я видела любовь.

— Да-а? Это что же такое надо принять внутрь, чтобы она материализовалась? — удивился Антон.

— Я ходила за хлебом, — сделав ударение на последнем слове, сказала Ниночка, — и встретила одного знакомого. Я по глазам вижу, что он в меня влюблен. Так что чувство можно увидеть и даже потрогать.

— Потрогать? — поразился Антон. В голове у него моментально всплыл анекдот про поручика Ржевского, который заканчивался словами: «Офицеры, молчать!»

— Да, он мне подарил три розы.

— Нет, в твоём мире это должно выглядеть не так, — сказал Антон.— Бесцельно перебирая ногами, некая биологическая единица случайно наткнулась на тебя и так же бесцельно сунула тебе в руку растение. При этом глаза у нее были широко раскрыты и немного блестели от ветра. А ты сейчас занимаешься тем, чем в твоём мире заниматься запрещено: ты придумываешь всему этому какой-то смысл.

— Нет, не придумываю, — улыбаясь, ответила Ниночка. — А еще он пригласил меня сегодня вечером покататься на корабле.

— На корабле?! — не переставая удивляться, спросил Антон.— На большом? Наверное, у него своя яхта?

— Нет, это маленький такой катер, вроде речного трамвайчика. У него дядя работает на нем. Хотите, вместе покатаемся? Я ему уже рассказала о вас.

— И что же ты рассказала? — спросил Антон.

— Описала вас. Между прочим, в моем мире ревность тоже существует. Я ее видела и даже потрогала.

— Это как же? — оторопело поинтересовался Антон, прикидывая, как можно потрогать ревность.

— Видела на лице, а потом он показал мне кулак, а я его разжала. Он еще совсем мальчишка. Мне приходится опекать его. Просто так, по-дружески. Чтобы не наделал глупостей.

— Ну, если уж ему суждено надеть глупостей, он их надевает. И опекать здесь бесполезно. Спасти овечку, для которой уже готовы костер и вертел, невозможно. Поверь мне, своему дедушке.

— Я уже один раз спасла его от смерти, — сказала Ниночка.

— Глубочайшее заблуждение. Хочешь, я расскажу тебе одну очень поучительную историю?

— Давайте, — охотно согласилась Ниночка.

— Тогда садись на край этой больничной койки — стулья для отдыхающих не предусмотрены — и слушай.

Ниночка села у Антона в ногах, сложила руки на коленях и приготовилась слушать.

— Можно начинать? — спросил Антон.

— Даже нужно, — ответила Ниночка.

— Значит, так. Одному человеку, назовем его Иваном, как-то с четверга на пятницу во сне явилась его собственная бабушка, которая умерла много лет назад. Надо сказать, что Иван был человеком суеверным. Верил во всякую ерунду, в том числе и в сны. И приснилось ему, будто сидит он со своей покойной бабушкой дома, и та говорит ему:

— Пришла я, Ваня, навесить тебя. А еще хочу я забрать к себе правнука, твоего сына Сашку. Скучаю я по нему. Мальчик он слабенький, пусть поживет у меня, свежего молочка попьет, сил наберется.

— Так ты же умерла давно, — ответил Иван.

— Это ничего, — сказала бабушка, — у нас здесь тихо, спокойно, есть где побегать. В общем, в воскресенье я за ним приду.

Проснулся Иван, вспомнил сон и ударился в панику. До этого он много слышал страшных историй о том, как покойники за кем-нибудь приходят во сне и как после этого тот, за кем приходили, умирает. Испугался Иван, рассказал обо всем жене.

— Это очень нехороший знак, — сказал он ей. — Сейчас главное — не сидеть сложа руки. Надо действовать. Ясно, что здесь, в городе, гораздо быстрее может произойти какое-нибудь несчастье. Мы живем на восьмом этаже. Сашка может открыть окно и вывалиться наружу. В Москве не бывает землетрясений, но кто его знает, случится, потом поздно будет говорить об этом. — Иван ходил по комнате, возбужденно размахивал руками и придумывал, что может произойти с сыном в городской квартире. — Представь, он откроет газ. Или отравится, или весь дом взлетит на воздух к чертовой матери.

Жена испуганно смотрела на Ивана и лихорадочно соображала, какая еще беда может стрястись с их семилетним сыном.

Около часа они перебирали возможные несчастные случаи, придумали их несколько десятков, и после этого Иван решил, что Сашку надо отвезти на выходные дни в деревню, и там, в одноэтажном домишке под присмотром отца, сын переждет злосчастное воскресенье, а в понедельник утром оба вернутся домой.

— Судьбу можно переломить,— воспрянув духом, сказал Иван.— И если ангел-хранитель оставил нашего сына, я буду его ангелом-хранителем на эти несколько дней. Я сделаю все, чтобы с ним ничего не произошло, а просто так человек не может умереть, для этого нужна серьезная причина.

В субботу утром они собрали вещи, Иван на всякий случай взял с собой двустволку от лихих людей, поскольку дом у них находился в глуши на границе с Владимирской областью, и они тронулись в путь. Добирались, как всегда, электричкой, решив, что в субботу ничего такого не должно произойти, коль бабка обещала прийти за Сашей в воскресенье. Затем они благополучно доехали до деревни на автобусе и пройдя с полкилометра по лесу, добрались наконец до своего дома. Это был их первый приезд в этом году. Дом стоял целехонький, заколоченный, и пока Иван отдирал от двери доски, жена держала сына за руку, чтобы он, не дай Бог, не сбежал на речку. Гуляя с Сашей по саду, они хотели было зайти в сарай, но Иван запретил.

— Не ходите туда,— крикнул он,— сарай старый, может завалиться!

В общем, все шло хорошо, и Иван с женой немного успокоились. Вечером растопили самовар под старой липой у крыльца, хорошо и вкусно поужинали и легли спать.

Воскресное утро выдалось пасмурным и холодным. Дул сильный ветер. Он по-волчьи завывал в печной трубе, рвал с деревьев и кустов молодые клейкие листочки и дребезжал стеклами.

Иван проснулся с тяжелым чувством предстоящей беды и, послав жену готовить завтрак, запретил сыну вставать с постели. Он обложил его книжками, высыпал на одеяло безопасные игрушки, а сам вышел на крыльцо. Старая, раскидистая липа у крыльца скрипела под напором ветра, как несмазанная телега, по небу с запада на восток с огромной скоростью неслись сырые, грязные тучи. Горизонт на западе почернел, ветер вначале ослаб, а затем и вовсе стих.

— Наверное, гроза будет! — крикнул Иван в дом.

И действительно, через пару минут по деревенской улице пронесся предгрозовой смерч. Несколько мощных, тугих порывов ветра подняли в воздух бог знает откуда взявшийся мусор. Тонкие деревца разом приникли к земле, а на соседнем участке с силой захлопнулась дверца сарая и, ударившись, упала на землю. Черная клубящаяся туча со скоростью курьерского поезда надвигалась на деревню.

— Сашка в уборную хочет! — крикнула Ивану жена.— Сходи с ним!

— Дай ему горшок, — ответил Иван, но, вспомнив, что как раз этот предмет они и не взяли, добавил: — Дай ему какую-нибудь банку или чугунок. Сейчас гроза начнется.

Чувствовал Иван, что неспроста пришла эта гроза, что приближающаяся туча есть не что иное, как вызов ему, решившему сразиться с неизведанной силой, зовущейся роком. И вместе с тем он понял, что может противостоять этой силе. Ему даже понравилось, что она решила проявить себя вот так, открыто, давая шанс победить в честной борьбе. Почувствовав некий азарт от этой игры, он крикнул в дверь:

— Ладно, пусть быстро идет сюда, пока гроза не началась!

Саша вышел вместе с матерью, укутанный в одеяло. Иван поставил его на крыльцо, загородил собой от ветра и сказал:

— Давай быстрее. Кажется, сейчас здесь такое начнется!..

В этот момент ударил сильный порыв ветра, небеса словно разверзлись и оттуда слепящим жидким огнем, будто из миллионов орудий, ударила молния. В то же мгновение Иван успел рвануть на себя сына и, прижав его к животу, влетел в сени и повалился на пол, оглушенный и ослепленный, будто у него перед глазами взорвалась граната. Лежа на полу, Иван, как сквозь вату, услышал какой-то грохот. Затем дом трянуло словно при землетрясении. Сашка закричал от страха и расплакался.

— Вы живы? — услышали они испуганный голос жены.

— Все в порядке, — ответил Иван. У него как-то сразу отлегло от сердца. Он чувствовал не просто радость, ему казалось, что он совершил нечто из ряда вон выходящее, подвиг, по своему значению несоизмеримый со всеми поступками, которые ему когда-либо приходилось совершать.

Вскочив на ноги, Иван поднял плачущего сына и показал его жене.

— Живой, голубчик! — радостно крикнул Иван и передал плачущего сына матери.

Липа упала точно на крыльцо, туда, где стояли Иван с сыном, и не только обрушила навес, но и начисто снесла дверь. Кроме того, ветками выбило одно окно, стекла разлетелись по всему полу, и в доме как-то сразу сделалось холодно и неуютно. Ветер принялся гонять по комнате бумажки и прошлогоднюю пыль, начавшийся вслед за разрядом молнии дождь наискось хлестал на пол. Жена Ивана бросилась искать что-нибудь закрыть окно и принесла из сеней большой фанерный лист.

— Чуть было сам не угробил сына, — сказал Иван, радуясь, что так легко отделался. — Бабка держит слово, но и мы не лыком шиты.

Окно Иван забил, распилив фанеру на нужные куски. Жена собрала осколки стекла, вынесла их в сени и вернулась к керосинке готовить завтрак. Первый в этом году ливень бушевал так, словно Господь Бог решил еще раз утопить все живое на Земле.

После завтрака, когда дождь немного поутих, Иван принялся чинить сорванную дверь. Саше строго-настрого было наказано сидеть в комнате и играть. Несколько раз Иван бросал свою работу и заглядывал к сыну посмотреть, чем он занимается. Все было спокойно до тех пор, пока Саша не нарушил запрет. Воспользовавшись тем, что мать занялась приготовлением обеда, он вышел в сени, обнаружил там длинные и острые, как сабли, осколки оконного стекла. Саша выбрал себе один, наиболее похожий на клинок, несколько раз рубанул им воздух и крикнул:

— Ура, смерть фашистам!

Иван, увидев в руке у сына страшный осколок, выронил молоток и осипшим голосом тихо сказал:

— Брось стекло.

— Не брошу, — ответил Саша и, засмеявшись, убежал в дом.

В два прыжка Иван пересек сени и увидел, как сын, добежав до двери в соседнюю комнату, обернулся, зацепился ногой за порожек и, держа стеклянную саблю у живота, упал на пол. Произойди с ним подобное в любой другой день, Иван так не перепугался бы, а сейчас он вскрикнул, закрыл лицо руками и сполз по дверному косяку вниз. Из кухни с ножом и наполовину очищенной картофелиной выскочила жена. Она бросилась к сыну, подняла его на ноги и только сейчас заметила на полу разлетевшуюся на части стеклянную саблю. Хорошенько отшлепав сына, она отобрала у него осколок и тщательно осмотрела руку сына. В этот момент к ним подошел бледный, испуганный Иван. Сорвавшись, он надавал Сашке подзатыльников, накричал на жену за то, что она совершенно не смотрит за ребенком, и после этого еще долго не мог успокоиться — ходил по комнате и разглагольствовал, как надо воспитывать детей.

До вечера в доме все было тихо и спокойно. Саша играл, его мать остаток дня посвятила уборке, приводя в порядок дом после зимы. Пужинав разогретой картошкой, каждый занялся своим делом. Иван достал из чехла ружье, разломил его, заглянул в стволы и загнал туда патрону. До конца этих ненормальных суток оставалось чуть меньше трех часов. День измотал Ивана постоянным ожиданием несчастья, время тянулось чудовищно медленно, и Иван чувствовал, что все решится в ближайшие два часа. Он был готов ко всему: к нападению вол-

ков, вооруженных грабителей и космических пришельцев. Ему даже хотелось, чтобы наконец появился тот, кто, по замыслу рока, должен сыграть главную роль в финальном акте. Он был готов встретить его, кем бы тот ни оказался, и сорвать спектакль. Иван так долго и напряженно ждал появления злодея, что, когда в дверь постучали, он чуть было не пальнул в нее из обоих стволов. Внутри у него похолодело, ноги сделались ватными, и он хрипло крикнул жене:

— Открой и сразу отходи!

За дверь оказалась соседка, которая, увидев в окнах свет, зашла посмотреть, свои ли пожаловали в такое раннее для дачников время.

Услышав ее голос, Иван несколько раз глубоко вздохнул, тряхнул головой и, перекрестившись, чего раньше за ним не наблюдалось, встал и вышел в сени. Он поздоровался с соседкой, когда она уже вошла. Вместе они направились в дом, и в ярко освещенной комнате, застыли у порога, онемев от ужаса. Саша сидел на диване и, зажав ружье между ног, заглядывал в черные дырочки стволов. При этом пальцами ног он елозил по дужке, прикрывающей курки.

Молчание длилось не более двух секунд, а Ивану показалось, что прошло по меньшей мере часа два. Глядя на сына, он чувствовал, как обесцвечиваются его волосы, к горлу подступила тошнота, сердце бухало неровно и так больно, словно в груди у него колотился острый осколок льда. Наконец жена Ивана тихо выдохнула:

— Сашенька, не трожь...

— Положи, милый. Положи, — поддержала ее соседка.

— Я хочу посмотреть, — ответил Саша и, заметив ужас на лицах взрослых, испугался сам. Он медленно отвел от себя стволы и прислонил ружье к дивану, как оно и стояло.

Полчаса после этого Иван не мог прийти в себя. В голове у него что-то жужжало, руки и ноги тряслись мелкой противной дрожью, а в памяти снова и снова всплывали слова бабки: «Я в воскресенье зайду за ним».

Кое-как двум женщинам удалось привести Ивана в порядок. Они поставили чайник, собрали на стол, а пока чай закипал, соседка сбегала домой и принесла бутылку самогона.

Где-то в половине двенадцатого Сашу уложили спать. Иван, слегка захмелевший после двух рюмок, минут пять посидел с ним на краю кровати. Саша ныл, что не хочет спать, что боится оставаться один, а Иван уговаривал его, мол, они рядом, в соседней комнате, и теперь уже точно ничего не случится.

— Все, — без всякой радости сказал он, — день прошел. — Уходя, он дал сыну конфету, похлопал его по хилому детскому плечу и хорошо укрыл одеялом.

Саша уснул быстро. Он лежал с открытым ртом на боку и тихонько посапывал. Затем, без трех минут двенадцать, Саша перевернулся на спину и тяжело вздохнул. На улице завывал ветер, на керосинке шумел еще раз поставленный чайник, и никто из взрослых не слышал, как за дверью на кровати сучит ногами Саша, который во сне вместе с воздухом втянул в легкие недососанную конфету.

— Вот так, Ниночка, — закончил Антон.

— Это правда было? — через некоторое время ошеломленно спросила Ниночка.

— Я всегда рассказываю только правдивые истории, — ответил Антон. — Конфеты не надо в постели сосать. Ну, теперь-то ты поняла, что судьба не тетка?

— Да ну вас, — с некоторым облегчением сказала Ниночка и встала. — У меня до сих пор коленки трясутся. Не надо больше рассказывать мне такие страшные истории.

— Не буду, — пообещал Антон. — Буду рассказывать тебе только веселые истории. Вот сегодня на корабле я расскажу, как когда-то целых три месяца работал скрипачом в симфоническом оркестре. У них не хватало людей, и я должен был сидеть со скрипкой в руках, изображать музыканта за восемьдесят рублей в месяц. Ты не передумала взять меня покататься на корабле?

— Нет, — ответила Ниночка. — А вы что, не умеете играть на скрипке?

— Ты так спрашиваешь, будто не умеешь играть на скрипке — это что-то неприличное. Да, не умею. Зато я хорошо играю в карты, умею колдовать и могу приготовить приворотное зелье. Отворотное тоже. Нужно?

— Себе приготовьте, — ответила Ниночка. — От вас же ушла жена.

— Ушла, — несколько смутившись, подтвердил Антон. — Но мне оно не поможет. Приворотное зелье не действует на тех, кто прожил вместе больше десяти лет. Здесь не приворот нужен, а машина времени, а ее-то как раз у меня и нет. Память, она штука противная. Там такое хранится, что любое зелье превращается в воду. Ладно, Ниночка, черт с ним, с приворотным. Когда грузиться на корабль?

— Если вы точно решили, давайте встретимся у причала в семь вечера. Нас там, наверное, будет много. У друга Зураба день рождения, а это значит, что мы устроим танцы.

— Стало быть, и корабль, и бал, — сказал Антон. — Заметано.

— Тогда я побежала, — сказала Ниночка. — Мне еще надо в магазин и на вокзал за газетами.

После ухода Ниночки Антон побрился, зная, что после укола он забудет это сделать, позавтракал принесенными пирожками, а потом достал из кейса стерилизатор. Последнее время он все чаще задумывался о том, что его ждет в ближайшем будущем, и ответ на этот в общем-то простой вопрос мучил его своей незамысловатой однозначностью. В нем как бы боролись два человека. Один требовал, чтобы он избавился наконец от этой зависимости и необходимости таскать с собой металлический стерилизатор, другой опасался перемен, боялся того разумного, ограниченного реальностью мира, который он когда-то покинул. Оба оппонента приводили одинаково весомые доводы. Если первый рисовал страшные картины будущего, причем уговаривал его знакомыми, штампованными фразами, взятыми из популярных брошюр о наркомании, то второй пугал не менее страшными вещами — беспросветным существованием в рамках законопослушного гражданина, не очень понимающего, зачем все это нужно. Второй просто убивал его своим непоколебимым фатализмом. Он говорил, что невозможно начать новую жизнь, поскольку для этого придется убить всего себя старого. А если он все же это сделает, то от него ничего не останется, и тогда некому будет начинать сначала.

Зависимость от морфия тяготила его; и в ту самую минуту, когда он приступал к этой несложной процедуре, Антон не раз обещал себе бросить колоться, как только у него кончатся ампулы. Эти секунды физических страданий и душевной борьбы вмещали в себя столько ярчайших переживаний, что в промежутках между уколами, собственно, вся его остальная жизнь начинала казаться ему унылым, бесцельным времяпрепровождением, земной карой за все совершенные грехи.

После укола Антон некоторое время лежал на кровати, а когда окружающий мир приобрел знакомые очертания, сел, достал бумагу и принялся писать письмо.

«Лена!

Это мое последнее письмо, в котором я хочу попрощаться с тобой. Мне давно следовало бы это сделать, но целесообразность, как и великое, видна только на расстоянии.

Я не считаю, что, приняв, с твоей точки зрения, важное решение бросить колоться, сильно изменю свою жизнь. Я вообще не верю в то, что крупные события играют сколько-нибудь серьезную роль в нашей жизни. Это ерунда. Чем незаметнее, незначительнее событие, тем

большее значение оно имеет. Со своей первой женой я познакомился потому, что вышел из трамвая не через переднюю дверь, а через заднюю. Зато развелся из-за того, что сидел на толчке и не успел подойти к телефону. Так и все остальное. Например, важное событие — получение диплома — положило начало самому длинному и скучному периоду моей жизни: сторублевой зарплате при полном ничегонеделании. Зато глупая фраза преподавателя, что, мол, у меня хороший слог, перевернула всю мою жизнь с ног на голову. Трагедия графомана со стороны кажется ничтожной, над ним все смеются. Человека, исписавшего тысячу страниц, не читает никто, кроме рецензентов. И чем дальше ты находишься в неведении относительно своих способностей, тем труднее понять, что ты занят не своим делом. Всю нашу с тобой жизнь я недосыпал, тратил себя на сочинительство, и все впустую. Если бы эту энергию я использовал на зарабатывание денег, мы бы давно были миллионерами. А теперь я никто. В свои сорок лет я даже не начинающий литератор, потому что навсегда покончил со всем этим... Из всей своей многолетней возни я вынес лишь одно убеждение: нет правых и неправых дел — они существуют только в нашем воображении. И помог понять мне это один человек, девушка. Она сделала мне укол морфия и сказала, что отныне я перестану заниматься не своими делами, поскольку человеческая жизнь — не мое дело. Отныне я буду думать только об одном: как достать это вещество, которое позволяет на некоторое время выйти из жизни и постоять по ту сторону, отдохнуть и подышать воздухом вечности. Может быть, поэтому я хочу дорассказать тебе историю, которую я начал в первых двух письмах.

...Под утро, умирая от страха и усталости, я заснул в подъезде какой-то пятиэтажки, на последнем этаже, на грязных, заплыванных ступеньках. Мне снились кошмарные сны, и, похоже, я кричал во сне. Разбудило меня чье-то прикосновение. Испугавшись, я вскочил на ноги и увидел перед собой девушку с лицом настолько же ангельским, насколько у Клары оно было блядским. Наверное, у меня был очень испуганный вид, потому что девушка со снисходительной улыбкой сказала мне:

— Не бойтесь, я не из милиции.

Я ответил, что не боюсь милиции, а она оглядела меня с ног до головы и спросила:

— Кого же вы тогда боитесь? Грабителей? Если бы у вас были деньги, вы бы здесь не сидели. Взгляд у вас затравленный. Знаете, испуганный зверь обречен на погибель.

— А я не считаю себя зверем, а милицию — обществом охотников и рыболовов,— ответил я.

Девушка опять улыбнулась и сказала:

— Именно поэтому вы и обречены. Но я попытаюсь вас спасти.

Затем она пригласила меня к себе, сказала, что у нее я смогу выпиться, а то скоро жильцы дома пойдут на работу и кто-нибудь, увидев меня на ступеньках, обязательно настучит в милицию, а там вряд ли мне удастся хорошенько поспать. Наверное, она приняла меня за начинающего бродягу, и я не стал ее разубеждать. Мне не хотелось рассказывать незнакомому человеку о том, что со мной произошло, поэтому я просто поблагодарил девушку и согласился отдохнуть у нее.

Входя в квартиру, я подумал, что, наверное, опять сейчас увижу своих старых знакомых — усатого кавказца и блондинку, но в квартире, кроме хозяйки, никого не было.

Жилище девушки оказалось маленькой однокомнатной квартирой с ободранными разрисованными стенами и самой что ни на есть дрянной мебелью: засаленной и разбитой, словно собирали ее по помойкам после того, как вещи провалялись там не один месяц.

Я не знаю, чем занималась хозяйка квартиры, пока я спал. Мне кажется, ничем. Я прожил у девушки неделю, и за все это время она только один раз уходила куда-то на несколько часов и вернулась с хлебом и целлофановым пакетиком анаши. Она не спрашивала у меня денег, да у меня их и не было, но несколько раз в день она ловко набивала две папиросы анашой. Мы их не торопясь выкуривали, а потом она садилась у окна и смотрела не вниз, где худо-бедно текла какая-то жизнь, а вверх верхушек деревьев, куда-то за горизонт или на небо. Что она там видела, я не знаю. Разговаривали мы мало, да в этом и не было необходимости. Нам не о чем было говорить. В первый же день, выпавшись, я все же рассказал ей о том, что со мной произошло, и, выслушав меня, она сказала, что именно поэтому не выходит на улицу. Не любит, когда с ней что-нибудь происходит, когда посторонние вмешиваются в ее жизнь и заставляют ее действовать, принимать участие в их идиотской жизни. Она сказала, что в свое время тоже жила как все, училась в школе, была комсомолкой и мечтала поступить в университет, но потом поняла, что всеобщие мечты о счастье — это мраморное стойло для сытых баранов, призрак, который, как Лапутия, витает над головами и смущает нестойкие и развращенные души, охочие до дармовщины. У нее была какая-то своя мечта, но оказалось, что в этом городе достичь желаемого невозможно, а удовлетвориться общепринятым она не хотела.

— И тогда я вышла из этого поезда, который едет на большую богатую свалку, — сказала она. — и пошла пешком совсем в другую сторону.

Мы часто играли с ней в шахматы, и мне редко удавалось выиграть. Мы ложились на диван, расставляли фигуры и закуривали по папиросе с анашой. Играли не торопясь, иногда по полдня одну партию, и, если кто-то один засыпал за игрой, другой не будил его. Бывало, что после выкуренной папиросы, закрыв глаза, я обдумывал ход, а потом наблюдал, как фигура, которой я собирался пойти, сама перебирается на нужную клетку. Это никого не удивляло. Наоборот. Один раз, когда я случайно подставил ей слона, она обратилась не ко мне, а к шахматной фигуре.

— Уйди, — сказала она слону. — Моя королева, — так она называла ферзя, — на этот раз прощает тебя. — И слон вернулся на свое место.

После суетной московской жизни эта неделя показалась мне годом, проведенным на необитаемом острове. В душе я совершенно безболезненно расстался с «поездом, идущим на богатую свалку», и вскоре понял, что разруха, царящая в доме, и не разруха вовсе, а среда обитания хозяйки квартиры, очень удобная для такого образа жизни. Так кочевник-бедуин проводит свою жизнь в седле, привыкнув к дневной жаре и ночному холоду пустыни. Так обыватель окружает свою жизнь доступным ему уютом. Так же и здесь квартира представляла собой нечто среднее между самодвижущимся жилищем бедуина и застывшим гнездышком обывателя.

Я довольно быстро привязался к хозяйке квартиры, но через неделю она сказала мне:

— Уходи. Я начинаю привыкать к тебе, и это заставляет меня думать о той, старой жизни. Ты все равно когда-нибудь уйдешь. Лучше, если это произойдет сейчас.

Я согласился с ней и хотел было уйти сразу, но она остановила меня, сказав, что на прощание хочет что-то показать мне.

— Ты не бойся, — успокоила она меня, — это недолго. Я покажу тебе дорогу, по которой иду. Куда она ведет, я не знаю, но это намного интереснее, чем всю жизнь зарабатывать маленькую пенсию на лекарства.

Она усадила меня на диван, вышла из комнаты и вскоре вернулась со шприцем. Я ни о чем не спрашивал ее, поскольку сам обо всем догадался.

Она очень профессионально сделала мне укол в вену, и, открыв глаза, я увидел совершенно другую комнату. Казалось бы, меня окружали те же вещи, но выглядели они иначе. До сих пор они были обращены ко мне лишь одной своей стороной, а теперь я получил возможность видеть их сразу со всех, объемно. Кто не испытал этого, не поймет, как красив сломанный стул с продавленным сиденьем в развернутом виде, когда он обращен к тебе всеми своими плоскостями.

— А теперь закрой глаза, — приказала она, — и иди за мной.

Больше всего меня поразило то, что я видел ее и с закрытыми глазами, причем видел отчетливо каждую клеточку ее тела, видел ее спокойное красивое лицо и не узнавал этого лица. От привычного оно отличалось примерно так же, как на ощупь воздух отличается от батиста. Она смотрела прямо перед собой, а я видел ее анфас и оба профиля.

— Вот эта дорога, — сказала она, указывая вперед в ультрамариновую бесконечность. — Здесь дороги не уходят, как на земле, за горизонт, поэтому я вижу ее всю, до самого конца. А вон и твоя дорога, — сказала она.

— Где? — ничего не видя, спросил я.

— Дорога всегда начинается там, где ты стоишь, — ответила она, и я вдруг понял, что мы находимся в одном из уголков Вселенной и под ногами у нас струится уходящая во все стороны гладь.

Вечером этого дня я ушел от нее. Она объяснила, как доехать до пансионата, и я почти сутки добирался до Севана, но тебя там уже не застал.

С тех пор я много раз пытался оказаться в том месте, где мы с ней побывали, но безрезультатно. Похоже, я крепко привязан к земле, хотя и не чувствую этой привязанности.

На этом моя история кончается. Для чего я рассказал ее тебе? Я хочу, чтобы в том, что произошло, ты увидела не только мою «слабость», «беспринципность» и «злой умысел», но, может быть, и желание понять, где те пределы, за которыми человек избавляется от животных инстинктов и становится просто разумным существом».

Дописывая последнюю строчку, Антон подмигнул листу бумаги, затем залихватски расписался и швырнул ручку в кейс.

Закончил писать он в шестом часу. Сложив письмо вчетверо, Антон оделся и, немного прихрамывая, вышел на улицу. Опустив письмо в почтовый ящик, он вспомнил, что на корабле будут праздновать день рождения, и вернулся за шампанским. Затем Антон отправился на вокзал, выпил там чашку плохо сваренного кофе, после чего взял такси и доехал до пристани. До встречи с Ниночкой оставалось около получа-

са. Жара уже начала спадать, но солнце так раскалило камни, что до ночи о прохладе нечего было и мечтать. Антон маялся в своем мятом, грязном костюме, ловил на себе недоумевающие, а иногда неприязненные взгляды и про себя чертыхался, жалея, что согласился на эту дурацкую прогулку по морю. В конце концов он подошел к киоску, где в розлив торговали коньяком и портвейном, взял сто граммов безбожно разбавленного коньяка в большом граненом стакане и устроился под старым, в два обхвата, платаном. Отсюда ему была видна вся пристань, и, попивая коньяк мелкими глотками, он принялся разглядывать празднующихся курортников и местных то ли искателей приключений, то ли мелких мафиози, работающих больше за право называться таковыми, чем за деньги.

От коньяка Антону сделалось еще хуже. Пот стекал у него между лопатками и по лицу, и Антон часто вытирал лоб и щеки рукавом или полой некогда белого смокинга.

Наконец на набережной появилась Ниночка в белых джинсах и такой же белой блузке. И тут же откуда-то из кустов выскочил молодой человек в джинсах и майке, на которой по-английски было написано: «Привет участникам Лондонской конференции по проблемам экологии». Он подошел к Ниночке одновременно с двумя такими же загорелыми молодыми людьми, закурил и сразу начал что-то рассказывать, в основном пользуясь жестами.

Антон стоял в своем укрытии и решал, присоединяться ему к компании или нет. Ему не понравились Ниночкины друзья. Эти молодые люди были из тех, что в Москве зиму проводят в подъездах в бесконечных пустых разговорах, а летом — у тех же подъездов, на старушечьих лавочках, под неумелое брэнчание гитары. Говорить с ними можно было только о «телках» и «шмотках», к тому же только на понятном им языке. Всякое отклонение от данной темы встречало либо абсолютное неприятие, либо равнодушие. Поцыкивая сквозь зубы, они выслушивали говорившего, но при этом зевали, почесывались и вертели головами, а затем, будто и не было ничего сказано, возвращались к своим излюбленным темам, начиная всегда одинаково: «Я, бля...». Когда-то, еще учась в школе, Антон думал, что между собой они общаются как-то иначе и лишь при появлении чужого начинают валять дурака. А когда убедился, что ничего они не «валяют», что это не маска, а их настоящее лицо, навсегда потерял к ним всякий интерес.

Решив, что все равно надо будет как-то занять вечер, Антон допил коньяк, вышел из-под платана и, прихрамывая, направился к Ниночке.

— Ой, где это вы так испачкали костюм? — спросила Ниночка, когда он подошел.

— Здравствуйте, — сказал Антон и представился молодым людям.

Ниночкин ухажер, демонстрируя неудовольствие, отвернулся и буркнул:

— Зураб.

— Я, Ниночка, сегодня всю ночь рыл подземный ход в Турцию, — ответил Антон. — Рыл в этом самом смокинге. И вот результат. — Слово что-то смахивая с себя, он указал на пятна. — А утром пришла ты, пригласила меня прокатиться на корабле, и я понял, что зря старался. В Турцию мы уйдем на катере. А это, — продемонстрировал он бутылку шампанского, — мы выпьем с турецкими экологами за дружбу народов.

— Это пятна от вина, — ткнув пальцем, показал Зураб.

— Какая пронизательность! — дурачась, воскликнул Антон. — Кстати, что вы там решили на конференции? Будете Темзу поворачивать на юг? Или пусть пока так течет? Я интересуюсь, потому что сам собираюсь заняться экологией. Мне небезразлична судьба этой великой великобританской реки. Там, говорят, ерши водятся размером с нашего судака.

Зураб непонимающе смотрел на Антона, было видно, что вся эта болтовня начинает его злить. Ниночка почувствовала напряжение и, решив предотвратить ссору, сказала:

— Дедушка шутит.

— Какие уж здесь шуточки, — сказал Антон. — Вот тут, — он ткнул пальцем в надпись на майке, — написано: «Привет участникам Лондонской конференции по проблемам экологии».

— А, это, — махнула рукой Ниночка. — Это ерунда. Ну, мы идем на корабль или нет?

— Идем, — ответил Зураб, повернулся на каблуках и пошел на пирс.

По дороге на катер к ним присоединились еще несколько молодых людей. Один тащил тяжелую сумку, из которой торчали горлышки запечатанных бутылок, другой нес большую круглую коробку из-под юбилейного торта. От коробки исходил такой аппетитный, завораживающий запах шашлыка, что рот Антона моментально наполнился слюной.

На катере их уже ждали. Внизу, в салоне, куда почти не попадал солнечный свет, в духоте и полумраке уже кто-то танцевал. Чувствуя себя лишним в этой компании недавних выпускников школы, Антон вручил Зурабу шампанское и сказал, что пойдет на корму подышать свежим воздухом. К его неудовольствию, Ниночка радостно объявила,

что тоже хочет остаться наверху. Ее обожатель мрачно последовал за ней, и втроем они расположились на задних скамейках так, чтобы было видно, как винт взбивает воду.

Антон сидел через проход от молодых людей и чувствовал, как от Зураба исходят волны недоброжелательности. Он догадывался, что нарушил какие-то его планы, а своим внешним видом лишь усугубил неприязнь Ниночкиного ухажера.

«Надо уезжать в Москву, — думал Антон. — Единственное, что я приобрел за последние несколько лет, это способность быстро опускаться. Через два-три дня меня в моем костюме не пустят в поезд или побьют камнями на вокзале».

Уже давно стемнело, на палубе горело несколько тусклых лампочек, свет которых не доходил до задних скамеек. Компания, покинув душный салон, перебралась на верхнюю палубу вместе с магнитофоном, вином и закусками, сваленными в круглую картонку. Антон отвернулся от молодых людей, молча смотрел на бегущую за бортом воду и пытался вникнуть в текст песни. Под грохот гитар и космическое завывание синтезатора певец жаловался на девичье непостоянство и тем не менее клялся неверной подруге в вечной любви. Танцевала только одна пара. Какие-то молодые люди пили вино и хвастали, кто ловчее носком ботинка собьет финтифлюшку со стойки, расположенной на высоте полутора метров. Остальные парочки разбрелись по всему катеру и целовались в темных углах. То один, то другой разгоряченный поцелуями юноша возвращался к компании, наливал себе полстакана вина и быстро уходил к своей возлюбленной.

Впереди уже виднелись огни Пицунды. Катер пошел к берегу, и вся компания перебралась на нос. Ниночка предложила Зурабу и Антону присоединиться к остальным, но Антон отказался, и молодые люди ушли без него. Вскоре Зураб вернулся на корму и, подойдя к Антону вплотную, торопливо сказал:

— Чего ты сюда приперся, дедушка? Тебя звали?

— Если бы не звали, не приперся бы, — спокойно ответил Антон и отвернулся.

— Слушай, выходи здесь, автобусом доедешь, — зловецким шепотом сказал Зураб. — А то, знаешь, можешь и не доплыть до Гагры.

— Успокойся, мальчик, — ответил Антон. — Вы меня сюда привезли на этом катере, на нем я и уеду обратно. Если я тебе мешаю, я уйду в каюту. И не кипятись. Я тебе в отцы гожусь, как это ни прискорбно.

— Скажи спасибо, что Нина здесь, — ответил Зураб. — А за мальчика ты еще ответишь. Я тебя предупредил.

— Отвечу, отвечу, — устало сказал Антон.

И тут послышался голос Ниночки:

— Эй, где вы там? Зураб!

Этот idiotский разговор вконец расстроил Антона. Он уже решил было сойти на берег, но передумал, не желая выглядеть в глазах этого мальчишки трусом.

В Пицунде катер стоял долго. Вначале из него выгружали какие-то мешки, потом старший брат Зураба исчез и появился только через полчаса. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы собрать молодежь. Антон все это время сидел на своем месте и, устав проклинать себя за глупость и недалёковидность, вел воображаемый диалог с Леной. Наиболее удачные ответы он повторял по два-три раза, чтобы запомнить, и к моменту отплытия он так скомпоновал и отточил свою речь, что убедить её можно было даже самого скептически настроенного человека.

На обратном пути компания снова перебралась в салон, где молодые люди разделились на две группы: одни сели допивать вино, другие повалились спать. Зураб с Ниночкой даже не появились на корме, что вполне устраивало Антона.

Примерно на полпути к Гагре Антон услышал громкий смех с девичьим повизгиванием, а затем магнитофон включили на полную мощность. «Как они это выдерживают?» — подумал он, оглянулся и увидел, что к нему приближаются трое молодых людей.

Антон сразу сообразил, что они идут разбираться. Со страхом и тоской он подумал, что ему обязательно расквасят физиономию, и хорошо, если ограничатся кровью, а то ведь повалят на палубу и ботинками повышибают зубы.

Не дожидаясь, когда те подойдут, он поднялся и встал спиной к перилам, решив во что бы то ни стало удержаться на ногах. Главное было не подпустить к себе всех троих, а по одному он мог бы долго удерживать их на расстоянии вытянутой ноги. Но молодые люди подошли к нему как ни в чем не бывало, будто и не собираясь с ним разбираться. Не доходя двух метров до Антона, они остановились, все трое прикурили от одной спички, и Антон увидел их симпатичные, слегка косые от выпитого вина лица. Он немного расслабился, запустил одну руку в карман брюк и принял непринужденную позу, однако сразу понял, что совершил ошибку. Эти два метра ребята преодолели за какие-то доли секунды. Антон даже не успел достать руку. Двое ухватили его под колени и подняли над перилами, третий сильно толкнул руками в задни-

цу, и Антон полетел в белый пенящийся след, растопырив, как лягушка, руки и ноги.

Лететь до воды было недалеко, и все же Антон глубоко погрузился под воду, а когда вынырнул, катер отошел метров на тридцать. Антон выплюнул воду, хотел было закричать, но понял, что это бессмысленно — на катере играла музыка. Кроме того, ему совсем не хотелось выглядеть перед честной компанией пострадавшим. Он даже представил себе их презрительно-снисходительные улыбки. Затевать же с ними драку не имело смысла: их было много и каждый из этих молодых людей был, во всяком случае, не слабее Антона.

Оказалось, что береговые огни почти не заметны с поверхности воды. Изредка невысокая волна приподнимала Антона на несколько сантиметром вверх, и тогда он видел примерно на одинаковом, пугающе большом расстоянии, справа и слева от себя, маленькие светящиеся звездочки фонарей. До тех и до других было страшно далеко, и Антон мгновенно понял, что в одежде он ни за что не доплывет, даже если правильно угадает самый короткий путь.

От обиды Антон начал колотить кулаками по воде и выкрикивать ругательства. Чего-чего, а такой подлости он от них не ожидал. Расчет их был правильным, все было сделано так быстро и тихо, что никому и в голову не придет, куда на самом деле делся Ниночкин гость. Все просто подумают, что он вышел в Пицунде и до дома добрался на автобусе, тут уж, конечно, найдутся свидетели, которые это подтвердят.

Антон проплыл несколько метров, остановился, стянул с ног свои замечательные белые туфли и, выругавшись, пустил их ко дну.

— Сволочи! — взбивая воду по-собачьи, крикнул он вдогонку катеру, а затем спокойно добавил: — Собственно, утопленнику туфли и не нужны. Да и смокинг тоже. Если останусь жив, — пробормотал он, отплевываясь от соленой воды, — никогда больше не пойду на день рождения к незнакомым людям, ноги моей не будет на всех этих плавающих корытах. Лучше уж авиакатастрофа или сосулька с крыши, хотя, конечно, и это нежелательно.

Болтая в воде ногами, он обыскал карманы смокинга, переложил намокшие документы и деньги в задний карман брюк, а потом снял смокинг и пустил его по воде.

— Бляди! — еще раз крикнул он в сторону катера. — Подонки, сопляки паршивые!

На всякий случай сняв и носки, Антон поплыл дальше, но хватило его ненадолго, и вскоре он перевернулся на спину. Работая руками и

ногами, он лежал вверх лицом, смотрел в темное, мутное небо и, тяжело дыша, бормотал:

— Ловко они меня. Завтра будут хвастать, что мужика в море скинули. Утром меня уже будут жрать скумбрия и бычки, а потом одна из этих рыбок попадет на стол к Лене. Она будет ее есть, нахваливать и даже не узнает, что жирок свой эта рыбка нагуляла на моих тощих боках.

Антон перевернулся, снова поплыл, но через некоторое время ему показалось, что он плывет не в ту сторон. Понимая, что паника может его погубить, Антон остановился, несколько раз глубоко вздохнул и огляделся. Едва заметная серая полоска над поверхностью воды могла быть просветом, тонкой прослойкой между облаками и морем, а могла быть и слабеньким заревом от немногочисленных фонарей окраины Гагры. Отличить тучи от гор было невозможно, давно скрылся с глаз злополучный катер, и только желание жить, какое-то слепое безотчетное чувство подсказывало ему, что плыть надо туда, где темень густа как сажа, потому что там берег.

Уговорив себя, что он знает нужное направление, Антон опять перевернулся на спину. Обида пополам с отчаянием не давали ему сконцентрировать все свое внимание на главном, мешали взять себя в руки и плыть к берегу. Антон был близок к истерике, в голову ему лезли самые невероятные истории, в которых потерпевшего выуживали из воды в самый последний момент.

— Ну, кому было плохо от того, что я живу? — отплевываясь, бормотал он. — Даже моей бывшей жене уже хорошо. Больше я никому не мешаю. Нет, русалочка в меня не влюбится и не спасет. Разве что какая-нибудь зеленоволосая карга позарится на мое бедное тело. Эй! — крикнул он и ударил ладонями по воде. — Где вы, Бегущие по волнам, Маленькие Принцы, Летучие Голландцы и добрые Морские Дьяволы? Кто бы мной сейчас занялся? Эй, вас ждет клиент! Я не бревно, долго не продержусь! Я гораздо тяжелее воды!

Плыть было утомительно — мешали брюки и сорочка. Отдуваясь и выплевывая воду, Антон греб по-лягушачьи, широко разводил руками и ногами в разные стороны, вытягивал шею и вглядывался в темноту. Он старался не думать о бездне, над которой барахтался. Об этой колоссальной массе соленой воды и ее обитателях. Тех, кого никто никогда не видел, фантастических чудовищах, рожденных страхом и больным воображением, не имеющих ни конкретной формы, ни размеров. И все же он ощущал их присутствие, они окружали его со всех сторон, бесшумно скользили под ним черными тенями справа и слева. Наконец Ан-

тон не выдержал. Он заорал что было силы и принялся колотить руками и ногами по воде.

— Уйдите! — кричал он. — Уйдите, сволочи! Кыш, собаки!

Накричавшись, Антон успокоился, снова перевернулся на спину и, отдышавшись, прошептал:

— Интересно, о чем думают нормальные люди перед смертью? В кейсе остались еще четыре ампулы. Если бы кончились, можно было бы спокойно умереть. Не жалко. Кто бы мог подумать. На тростниковом плоту океанов не пересекал, в Бермудский треугольник не лазил, в круизы не плавал. Разве это справедливо? Не моя это смерть, чью-то чужую по ошибке зацепил. Теперь какой-нибудь пьяный матросик не кувыркнется через перила в воду и не попадет на обед к акулам, а помрет дома. Возьмет свою морячку за широкую талию, посинеет и откинется. Напутали там что-то наверху, поторопились со мной.

— Эй! — крикнул он в темноту. — У меня еще четыре ампулы в кейсе. Дайте догулять. Завтра сам скажу: берите меня грешного, все равно все пошло наперекосяк. Ну не готов я: не покаялся, долги не раздал, последних распоряжений о накопленных миллионах не сделал. Дайте еще хотя бы двадцать четыре часа. Какая вам разница?

Вся эта болтовня и барахтанье в воде только отнимали у Антона силы, и вскоре он почувствовал, что страшно устал. Ему одновременно было холодно, жутко и тоскливо. Одежда тянула вниз, все больше сил нужно было, чтобы удержаться на поверхности, и все меньше их оставалось. Антон начал задыхаться, в ребра бешено колотилось сердце и вместе со стуком, в такт ему, в голове у него завертелись строчки детского стихотворения: «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Смерть стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне».

Неожиданно Антон ощутил, как два человека, всегда мирно сосуществовавших в нем, вдруг отошли друг от друга. И тогда один из них сказал: «Все, надоело, устал». А второй, против обыкновения, не стал его подзуживать, не вспылил и не принялся уговаривать, а просто сказал: «Как хочешь. Твое дело».

Антон греб из последних сил, все чаще переворачивался на спину, чтобы отдохнуть, и в конце концов остановился в последний раз, решив больше не сопротивляться судьбе. Его сильно трясло, замерзшие руки и ноги едва ворочались, и всех его усилий едва хватало только на то, чтобы оставаться на поверхности. Единственное, что удерживало Антона от последнего шага, так это страх перед умиранием, перед последними секундами. Он представил, как холодная соленая вода заливает его легкие, как он бьется из последних сил, пытаясь вытолкнуть

из себя воду и набрать в легкие воздуха. Представил, как он идет ко дну еще живой и теплый, как он судорожно рвет ногтями кожу на своем лице, и вода вокруг него окрашивается в бледно-розовый цвет. От ужаса Антон быстрее заработал руками и ногами. Тараша глаза в небо, он вдруг стал прощаться с жизнью, стуча зубами, торопливо забормotal, словно молитву:

— Господи, я отвратительно жил. Если ты есть, прости меня. Только у тебя прошу прощения, потому что перед людьми я ни в чем не виноват. Я жил по их законам, не делал ничего такого, чего бы не делали они. Я не был героем и не брал даже того, что мне полагалось. Я не был и юродивым, потому что мне все время хотелось больше того, что я имел. Я часто поминал тебя все и только сейчас, перед смертью, обращаюсь к тебе как разумное существо к разумному существу. Не превращай мои последние минуты в пытку, я и так получил в этой жизни достаточно. Дай мне умереть спокойно. Только ты и я знаем, сколько стоит моя жизнь...

В этот момент на небе у горизонта вспыхнула зарница, и что-то большое и тяжелое ткнуло Антона в плечо. Сердце у него нырнуло вниз, и без того окоченевшее тело покрылось мурашками, а в голове прормелькнуло: «Вот оно! Все! Конец!»

Пытаясь защититься, полумертвый от ужаса, Антон быстро перевернулся на бок и ударил рукой по нападавшему. И тут же страх отпустил его, он понял, что это пришло спасение, ухватился за бревно обеими руками, повис на нем и от радости несколько раз стукнулся лбом о мокрый шершавый ствол.

До берега Антон добирался долго. Он оседлал бревно и, дрожа всем телом, греб то одной, то другой рукой и думал, что умирать в водной пустыне ничуть не лучше, чем в песчаной, снежной или какой-либо другой, что человек погибает в тот миг, когда на него сваливается много чего-то одного, больше, чем он может осилить. Он вспомнил притчу о царе Мидасе и подумал, что для жизни лучше, когда имеешь всего понемногу, и чем больше составляющих частей, чем раздробленнее жизнь, тем она стабильней. «Абсолютная свобода,— думал он,— та же пустыня, в которой умирают от самого себя. Заманчиво, конечно, бросить все и уйти в это безлюдье, куда не доберется ни одна душа, но для этого надо сжечь все мосты и быть готовым к тому, что там нет таких вот спасительных бревен. И если ты не чувствуешь себя там как рыба в воде или не можешь, как бедуин, распознать по едва заметным приметам, где под толстым слоем песка находится источник, свобода убьет тебя. Любая из пустынь покажется раем в сравнении с этой, где

все тебя будет убивать одновременно: холод одиночества, жажда жизни и разряженный воздух свободы».

Неожиданно Антон увидел светлую полосу берегового песка, за которой по едва заметному шевелению угадывались заросли тростника, росшего почти вдоль всего берега на этом краю Гагры.

Антон поплыл быстрее и вскоре соскользнул с бревна, похлопал его на прощание и поблагодарил:

— Спасибо тебе, бревно. Ты очень вовремя появилось. Я бы сделал из тебя большого сильного Буратино, но не умею. Так что плыви, спасай ночных пловцов. — Антон оттолкнулся от бревна и почувствовал под ногами твердое дно.

Антону повезло, он вышел из воды в сотне метров от дорожки, ведущей к дому его хозяйки. Встряхнувшись, как собака, он попрыгал вначале на одной ноге, затем на другой, вытряхивая из ушей воду, и быстро, почти бегом, отправился в свою каморку.

Во дворе у хозяйки его ждал сюрприз: его домишко был закрыт на височий замок, а вещи — кейс и коробка — стояли тут же у запертой двери. Ничего не поняв, Антон потрогал замок, попытался его снять, затем проверил, его ли это вещи, и, убедившись, что он ничего не перепутал, посмотрел на хозяйские окна. Видимо, его уже не ждали, решив, что он заночевал где-то в другом месте. Свет в доме был погашен, и только в каморке у Арландины из-под двери выбивалась тонкая полоска света.

Какое-то время Антон провел в размышлениях: надо ли разбудить хозяйку и выяснить, что она имела в виду, выбросив его вещи и заперев дверь. Но подобного рода разговоры ему всегда были противны. Он понял, что в его отсутствие здесь произошло нечто, заставившее хозяйку отказать ему в ночлеге. Выяснить что-либо сейчас ему не хотелось. Мокрый, босой и уставший, он мечтал лишь об одном — согреться и уснуть. Антон представил себе заспанную, раздраженную тетку, орущую из окна, чтобы он проваливал на все четыре стороны, и решил не отравлять себе остаток ночи, а попробовать узнать у соседки, какая в его отсутствие разыгралась трагедия.

Постучался он тихо, и через некоторое время без всяких вопросов соседка открыла ему. Она отодвинула занавеску на двери, приложила палец к губам и прошептала:

— Проходи скорее

Антон вошел, окинул взглядом такую же убогую комнатушку, как и та, в которой он жил, и тихо просил:

— Ты не знаешь?..

— Знаю, знаю, — ответила соседка. — Она ждала тебя до двух ночи.

— Кто? — не понял Антон.

— Хозяйка, — шепотом ответила Арландина. — Ругалась страшно. Всем соседям рассказала. Хорошо хоть милицию не вызвала.

— Что рассказала? — ничего не понимая, спросил Антон.

Соседка вдруг фыркнула, развела руками и ответила:

— Что ты наркоман, рассказала. Она у тебя в портфеле нашла коробочку со шприцем и морфием.

— Она что, ко мне в кейс лазила? — удивился Антон.

— Я не знаю, — ответила соседка. — Вполне может быть. Человек она простой, могла и поинтересоваться.

— Сволочь какая, — возмущенно прошептал Антон. — Пойду убью ее. Я пойду сейчас и скажу ей...

— Не надо никуда ходить, — остановила его соседка. — Ты что, скандала хочешь? Ну, выгонят тебя. Куда ты пойдешь? Ложись лучше спать, а утром разберешься. Где-нибудь на другой улице снимешь такую же халупу, и все.

— М-да, пожалуй, ты права, — сразу успокоился Антон. — А что, у тебя можно переночевать?

— Да уж ночуй, — ответила соседка. — Только все мокрое сними с себя. Ты что, купался в одежде?

— Нет, — ответил Антон, — в Болгарию поплыл, да вот пограничники вернули. Говорят, без визы нельзя..

— А ботинки где и этот красивый пиджак с атласными лацканами? — не унималась соседка.

— Пришлось отдать начальнику пограничного отряда, — ответил Антон. — В виде штрафа. Хотели еще брюки с меня снять, пожалели бедолагу.

— Ладно, путешественник, раздевайся и ложись, — усмехнулась соседка. — Три часа ночи уже. Сейчас тепло, высохнет быстро.

— Вообще-то у меня все мокрое. Что ж, мне все и снимать? — спросил Антон.

— Снимай, — ответила соседка. — Не бойся, лезть к тебе не буду.

— Да я и не боюсь, — пожал плечами Антон. — Неудобно как-то.

— Неудобно — спи на улице, — ответила соседка.

Антон стащил с себя мокрую сорочку и бросил ее на спинку стула. Затем он снял брюки, бросил их туда же и сел на кровать. Соседка в это время нагнулась, сунула руку под кровать и достала оттуда распечатанную бутылку водки.

— Погреться хочешь? — спросила она, но увидела, что Антон сел, и громким шепотом возмутилась: — Ну-ну, ты мне белье намочишь. Снимай трусы. Хочешь, я тебе женские дам?

— Нет, спасибо, — ответил Антон. — У меня размерчик не тот.

— Давай-давай, снимай. Я отвернусь.

Антон снял трусы, скомкал их и засунул в карман брюк. После этого он быстро залез под одеяло.

— Спасибо тебе, — сказал он. — Не знаю, что бы я без тебя делал. Теперь можно и водки. Я замерз как собака, очень долго плыл.

— Ну да, Болгария-то далеко. А ботинки утопил, что ли? — спросила соседка, подавая ему стакан с водкой. Она зашуршала бумагой, затем протянула ему бутерброд с колбасой и села на край кровати.

— Утопил, — ответил Антон. — Между прочим, как тебя зовут?

— Вера меня зовут. Пей, у меня только один стакан.

— А меня Антон, — представился он и поднес стакан ко рту.

— Я знаю, что Антон. Я теперь все про тебя знаю.

— Все про себя даже я не знаю, — проговорил Антон. Он выпил, сморщился, понюхал тыльную сторону ладони и после этого взялся за бутерброд.

Вера налила себе, быстро опорожнила стакан, закусила кусочком хлеба, затем встала и погасила свет.

— Двигайся к стенке, — сказала она. — Я люблю с краю.

Ничего разглядеть в такой темноте Антон не мог. Он услышал лишь шуршание одежды, затем Вера откинула одеяло и легла рядом. Кровать была узкой, под тяжестью двух тел панцирная сетка сильно провисла, и они тут же очутились посредине, прижатые друг к другу, словно два бутерброда. Антон просунул руку ей под голову. Вера устроилась поудобнее, и некоторое время они лежали молча, не шевелясь. Затем она принялась гладить его по спине, приговаривая:

— Замерз, бедняжка. Холодный как лягушка. Сейчас я тебя согрею.

— Неудобно трахаться в таком мешке, — обреченно проговорил Антон.

— Неудобно спать на потолке — одеяло падает, — ответила Вера.

— Ты мудрая женщина, — сказал Антон. — На потолке действительно неудобно спать. Хотя я и не пробовал.

Водка и горячее тело Веры быстро согрели Антона, и вскоре он почувствовал, что задыхается от тесноты. Ему совсем не хотелось шевелиться и отвечать на ласки этой горячей как печка бабы. А она, видно, вошла во вкус, теребила его, тяжело дышала и пыталась перевернуть Антона на спину, окончательно подмять под себя. Перестав сопротив-

ляться, Антон лег так, как ей хотелось, закрыл глаза, и тут же голова у него закружилась. Он увидел белый треугольник, который, медленно вращаясь, уплывал вдаль, пока не превратился в яркую звездочку. Затем от звезды отделилась красная точка. Увеличиваясь в размерах, она приближалась к нему, и вскоре Антон увидел, что это губы. Красные, сочные, чувственные губы юной сладострастницы. Затем губы раскрылись, и в темном проеме Антон увидел ту самую звездочку, которая засияла пуще прежнего.

— Ты что, импотент? — сквозь дрему услышал он.

Антон удивился тому, что губы заговорили с ним, и тихо ответил:

— Нет, я очень устал. Долго плыл.

— Да? — услышал он, и через некоторое время губы сказали: — Ну да, ты же наркоман.

— Я просто устал, — повторил Антон.

Почувствовав, как его толкнули в бок, он подвинулся, и Вера легла рядом.

— Вот так всегда, — прошептала она. — Как красивый мужик, обязательно слабак. Перевелись красивые самцы. Одни импотенты да небритые дворняги остались. А не устал ты, голубчик, херней заниматься? — спокойно спросила Вера. — Колешься всякой дрянью.

— А чем надо колотиться? — без тени иронии поинтересовался Антон.

— Хочешь я тебя за неделю половым гигантом сделаю? — предложила хозяйка каморки.

— Нет, не хочу.

— Ты что, не веришь? — спросила Вера.

— Верю. Ты можешь. Расскажи лучше что-нибудь, — попросил Антон. — Ты человек рискованный, наверняка с тобой случалось всякое.

— Всякое-то случалось, — вздохнув, согласилась Вера. — Со мной такое случалось, какое тебе и не снилось. С моей жизни можно роман писать. Сказка, а не жизнь. Вот я сюда и приехала, чтобы отдохнуть от этой сказки. Почему-то одни живут и ничего с ними не происходит. А на других, на меня, например, валится все, что ни попадя. Чего я только не делала: с квартиры съехала, на другую работу устроилась, даже фамилию два раза меняла...

— Бесполезно, — откликнулся Антон. — Это судьба. Единственное, с чем не надо бороться в этой жизни, так это с судьбой. Ее надо принимать такой, какая она есть. Ладно, уговорила, я расскажу тебе историю одного моего знакомого. Будешь слушать?

— Давай, — разочарованно ответила Вера.— С паршивой овцы хоть шерсти клок.

— Ну тогда слушай. Один мой знакомый, Иван, с самого детства мечтал о дальних странах, хотел стать путешественником или на худой конец звероловом. Впервые он убежал из дома, когда ему не было еще и семи лет. Его сняли с поезда и вернули домой. Дома отец как следует выдрал его, и он не мог сидеть целых две недели. Через месяц родители потеряли бдительность, и Иван снова попытался убежать, и снова его вернули и наказали. Когда он вырос и ему больше не надо было спрашивать родительского разрешения, чтобы куда-то уехать, он вспомнил о своей детской мечте. Иван решил податься на Дальний Восток, поближе к океану, где, по его разумению, можно было наняться на большой корабль. В первом же заграничном порту он собирался сойти на берег и больше никогда домой не вернуться. Уволившись с работы, Иван собрал вещи, купил билет на самолет и, попрощавшись с родными, отправился в аэропорт. Он вышел из дома с большим запасом, но целый час проловил такси и в конце концов решил ехать обычным транспортом. С метро-то все и началось. Поезд почему-то полчаса простоял между станциями. Потом экспресс, который должен был доставить его в аэропорт, сломался на дороге, и он опоздал на самолет. Решив, что все это мелочи по сравнению с предстоящим путешествием, Иван обменял билет и сутки провел в аэропорту. Его следующий самолет задержался на несколько часов, а за это время он успел сломать себе ногу — бродил в окрестностях аэропорта и не заметил траншеи.

В больнице за ним ухаживала хорошенькая медсестра. Иван не собирался заводить семью, но так получилось, что, когда он выписался, все произошло само собой — он женился. А потом пошли дети. Жена уговорила его закончить бухгалтерские курсы, и на долгое время Ивану пришлось отказаться от любых путешествий. Несколько раз он все же пытался переломить судьбу, но как только Иван покупал билет в один из уголков нашей необъятной родины, любой вид транспорта переставал действовать.

Во второй раз он сломал ногу, когда попытался уйти пешком. Вернувшись через неделю из больницы на костылях, он пообещал жене больше никогда не делать этого. Так и прожил он большую часть своей жизни, не выезжая за пределы области, пока не встретил в пивной такого же обиженного на свою жизнь, закоренелого неудачника. Тот пил пиво, ел креветки и бормотал себе под нос:

— Разве ж это пиво? Это же не креветки, а тараканы!

За кружкой они разговорились, и Иван пожаловался незнакомцу на свою судьбу, рассказал, что когда-то мечтал стать путешественником, но все годы проработал бухгалтером и теперь считает жизнь загубленной, прожитой неинтересно и совершенно зря. Незнакомец внимательно выслушал Ивана и, вздохнув, рассказал ему следующую историю. Он рос домашним ребенком. Его невозможно было уговорить пойти погулять. Он любил что-нибудь мастерить, хорошо рисовал и много читал. Но судьба посмеялась над ним. Вначале она хорошенько вываляла его в подушках да перинах, и продолжалось это ровно восемнадцать лет. А затем для пробы судьба бросила его в тюрьму. Это темная история. Все знали, что он не виноват, и все же посадили. И пошло-поехало. В лагере набирали экспедицию на Сахалин, то ли алмазы искать, то ли нефть. Пообещали скостить срок, и начальник партии взял его на работу простым рабочим.

Работал он хорошо, начал уже подсчитывать дни, оставшиеся до освобождения, но как-то они переплывали на фелюге из одного лагеря в другой и попали в жестокий шторм. Их долго мотало по морю, суденышко грозило развалиться в любую минуту, но им повезло — команду подобрало японское военное судно. Когда их доставили на берег, в Японию, вопреки расхожему мнению о патриотизме советских граждан, возвращаться на родину никто не захотел. Исключением был наш рассказчик, он рвался домой, но его не отпустили. Об этом потом писали все советские газеты.

Пройдя двухмесячный карантин, они получили полную... почти полную свободу, и каждый был предоставлен самому себе. А нашему рассказчику предложили на выбор: остаться в Японии, улететь в Америку или на Филиппины. И он рассудил примерно так: из Японии не отпускают, а ему очень хотелось вернуться; до Америки слишком далеко, а с Филиппин в конце концов можно будет либо сбежать, либо, когда о нем забудут, обычным путем переправиться на континент. Сказано — сделано. Путешественник был отправлен на эти райские острова. Там, под наблюдением местной службы безопасности, помотавшись месяц-другой, он нанялся на пароход, идущий в Новую Зеландию. С тех пор всякая его попытка вернуться в Россию заканчивалась тем, что судьба забрасывала его в такие края, откуда не то что вернуться — попасть куда можно было только случайно, при самых невероятных стечениях обстоятельств. Корабль, следующий в Европу, неожиданно бросало на рифы где-нибудь в южных морях. Самолет, который должен был доставить его из Мехико в Варшаву, почему-то упал в джунглях Бразилии. Он целый год прожил с индейцами Амазонки, кочевал по Большой пус-

тыне с аборигенами Австралии, полгода провел среди пигмеев в Западной Африке. Всю жизнь он мечтал обзавестись семьей и жить где-нибудь на берегу моря в собственном домике. Однажды его мечта чуть было не сбылась. Он познакомился с молодой симпатичной вдовой, которая согласилась стать его женой. Дело шло к свадьбе, родственники невесты определили его на работу и — не зная, с кем имеют дело, — попросили его слетать в Нью-Йорк утрясти кое-какие дела. Назад путешественник не вернулся. Самолет, на котором он летел, захватили воздушные пираты, и он едва-едва спасся. В перестрелке были убиты оба пилота, и ему, как наиболее опытному, пришлось сажать самолет на воду, в километре от берега и в двух тысячах километров от дома своей невесты.

До России путешественник все же добрался, где он и встретил Ивана в одной из московских пивных. Этот старый бродяга ненавидел свою судьбу и уже не верил, что когда-нибудь заведет свой дом и заживет в нем нормальной человеческой жизнью.

Иван с восторгом выслушал рассказ путешественника, а едва тот закончил, с завистью сказал:

— Как бы мне хотелось поменяться с вами судьбой. Все считают меня домоседом и хорошим семьянином, а я не такой. Я не люблю свой дом, а значит, и семьянин из меня никудышный. Просто я не показываю это своей жене. Она очень добрый, милый человек и не виновата в том, что я такой неудачник.

— Увы, — ответил путешественник, — мне тоже хотелось бы поменяться с вами судьбой, но, к сожалению, это невозможно. Кстати, я собираюсь посмотреть те места, где когда-то сидел в лагере. Хотите, я возьму вас с собой? Какое-никакое, а путешествие. Прокатитесь со мной на машине. Я думаю, за пару недель мы обернемся. Ну, что, согласны?

— Да, — ответил Иван, — Только я боюсь, у нас ничего не выйдет. У вашего автомобиля заклинит мотор. Если мы полетим на самолете, он упадет сразу за Москвой, корабль утонет, не успев отойти от пристани, а поезд сойдет с рельсов.

— Ну, этого я не боюсь, — ответил путешественник. — Мне не привыкать падать, тонуть и валяться под машиной. Соглашайтесь, посмотрим, чья судьба сильнее. К тому же мой «лендровер» никогда не ломается.

— Тогда я готов, — ответил Иван.

Переночевав у Ивана, на следующий день они отправились в путь на машине путешественника. Они отъехали от Москвы километров на

пятьдесят. Неожиданно мотор зачихал, а потом и заглох. Машина прокатилась еще метров пятьдесят, а перед тем, как остановиться, правая передняя шина сделала громкий выдох. «Лендровер» накренился и вильнул в сторону. Придорожный кювет был неглубоким, но поддон распорол острым камнем пополам, будто автогеном, а в лобовое стекло заехала толстая ветка и выбила его.

— Ну вот, я вам говорил, — печально сказал Иван.

— Ничего, починим, — бодро ответил путешественник.

На ремонт у них ушло полдня, а когда машина была готова, выяснилось, что весь бензин почему-то вытек в канаву. Запасливый путешественник достал канистру и заправил машину, но что-то произошло с двигателем — он отказывался заводиться. Тогда путешественник вышел на дорогу и попытался остановить какую-нибудь машину, чтобы помогли выехать из кювета. Однако автомобили проезжали мимо на большой скорости, и до самой темноты ни одна из них не остановилась.

Ночь они провели в машине, а утром, невыспавшийся и злой, путешественник сказал:

— Да, вы были правы. А теперь давайте расстанемся, пока не поздно. Понимаете, я спешу. У меня всего две недели времени.

Иван поблагодарил путешественника за приятно проведенное время, забрал свою сумку с вещами и пошел в обратную сторону. Ловя попутку, он увидел, как путешественник сел в машину и помахал ему рукой. «Лендровер» завелся с полуоборота и вскоре скрылся из виду. Вот такая штука эта судьба, — закончил Антон.

— Да, ничего история, — через некоторое время сказала Вера. — По-моему, ты ее придумал. У меня есть один знакомый, он рассказывает анекдоты, будто это с ним произошло. Очень смешно получается. Но он рассказывать умеет, а ты тянешь резину.

— Дело не в истории, — зевая, сказал Антон. — Я о судьбе. Что делать, если тебе досталась такая? Если думаешь, что судьба бывает плохой и хорошей, то ты ошибаешься. Тяжело должно быть только физически, и то иногда. А душевные муки — это от нашей бестолковости. Сгорел дом — черт с ним, построишь новый. Все равно надо что-то делать в этой жизни. Так какая разница, будешь ты строить дом или обихаживать уже построенный. Работа, она и есть работа. Стоит ли из-за этого страдать?

— А я работы и не боюсь. Было бы что строить, — заявила Вера.

— На самом деле и строить ничего не надо. Все само построится, — меланхолично проговорил Антон. — Только не мешай. И если что-то

тебе обломилось, не кричи: «Мое!» Не твое оно. И ничье. Всем, что тебя окружает, можно только пользоваться, и нельзя прирастать — больно, когда отрывают. То же самое и с людьми. Человек уходит от тебя в тот момент, когда ты начинаешь считать его своей вещью или неотъемлемой частью, как рука или нога. Ампутация, сама знаешь, штука мало-приятная. Поэтому пользуйся, но не прирастай. Мы здесь не надолго, здесь все не наше. Можно взять посмотреть, а потом надо поставить на место, иначе все равно отберут. Один мой знакомый всю жизнь вил гнездо. Золотые руки. Из обычной московской квартиры он сделал шахский дворец. Заходить было страшно. А в один прекрасный момент жена сказала ему, что не хочет с ним жить. И ушла. Через суд она поменяла две комнаты из трех на квартиру, забрала детей и была такова.

А он остался в одной из комнат этого теперь уже коммунального дворца. Первое время он гонял жильцов даже из кухни, орал, что жизнь положил на эту квартиру. А потом они начали его посылать и он запил. Дворец быстро обветшал и превратился в обычную грязную общагу, а он из хозяина — в рядового барачного алкоголика: не вынес ампутации. Когда напивается, рассказывает о том, как его обманули. Он ненавидит женщин и считает, что справедливости на земле нет. Последнее, может, и правда, но не в том смысле, какой вкладывает он. Просто для людей справедливость и собственное благополучие — это одно и то же. И вообще самые крепкие отношения — это жизнь на грани развода. Спорить с этим бесполезно. Значит, самое устойчивое состояние — это неопределенность. Откажись от всего, и все будет принадлежать тебе. Много веков назад один легендарный властитель Индии отказался от трона и пошел по дороге просить милостыню. Так вот, он сказал: «Теперь у меня нет царства, а царство мое беспрельно; теперь мое тело не принадлежит мне, а мне принадлежит вся земля». — Последнюю фразу Антон проговорил засыпая.

Шепот Веры, как шум прибоя в жару, убаюкивал его. Говорила она бесстрастно и тоскливо, и то, что она рассказывала, доходило до его спящего сознания уже не в виде словесных символов, слова складывались в знакомые образы, а те, в свою очередь, в картины, напоминающие театральное действие.

— Было у меня двое детей, и обоих я потеряла, — рассказывала Вера. — Первую застрелил какой-то подонок. Я отправила дочку к маме в деревню. Чего этот гад хотел, так и не узнали. Мама бедно жила — избушка на курьих ножках да коза. Даже икон у нее не было. А убийца и не взял ничего. Застрелил дочку, маму и соседку. Даже кошку убил. Черненькая такая, симпатичная кошечка была. Так убийцу и не

нашли. Осенью это было, дожди шли... Вначале я хотела продать мамин домишко, потом передумала, дача все-таки. А когда пожалела, поздно было. Мой младший, сын, тоже в этом проклятом доме погиб. И все из-за мужа-дурака. Если бы мы не поехали тогда в деревню, ничего бы не случилось. А ему, видите ли, сон приснился... Не могу я об этом... Как вспомню... — Вера шмыгнула носом и замолчала.

На улице начинало светать. Наступило самое короткое время суток — мышинные сумерки. По оконному стеклу, трепеща крыльями, устало елозила ночная бабочка, а где-то на соседнем дворе два раза прокричал петух. Во сне Вера положила голову Антону на плечо, а он, скользнув рукой по ее груди, пробормотал:

— Жарко.

4

Вера разбудила Антона в самый подходящий момент. Антону снилось, будто стоит он на какой-то неизвестной железнодорожной станции и никак не может уехать. Поезда проходили, не останавливаясь, один за другим, и он совсем уж было потерял надежду когда-нибудь уехать, но тут сзади кто-то потряс его за плечо. Антон открыл глаза и увидел Веру.

— Вставай, наркоман, — угрюмо проговорила Вера. — Я на пляж ухожу.

— А-а, — вспомнил Антон, где он и потянулся. — В смысле, чтобы я выметался?

— В смысле, в смысле, — ответила Вера. — Иди с хозяйкой разбейся.

— Да, — сказал Антон, — пора. Спасибо, что приютила. Отвернись, пожалуйста. Я эксгибиционист со знаком минус, стеснительный то есть...

— Ох, этого я вашего не видала, — фыркнула Вера.

— Да, видала, наверное, — ответил Антон, — но мне от того не легче, я стесняюсь.

Антон натянул на себя все еще сырую одежду, провел ладонями по груди и животу, разглаживая на сорочке образовавшиеся складки, а затем подошел к Вере, привлек ее к себе и сказал:

— Спасибо, извини, если что не так.

— Да ладно уж, иди, — смягчилась Вера, убирая его руку со своей шеи. — погоди, я посмотрю, где хозяйка. Не хочу, чтобы она видела, как ты выходишь отсюда. — Вера выглянула в окно и махнула рукой. — Давай уходи.

— Да, будь добра, — попросил Антон, — возьми мою коробку, я, может, еще зайду за ней. А то куда мне ее сейчас?

— Ладно, — согласилась Вера и подтолкнула Антона к двери.

На улице было жарко. Грязные облезлые цыплята одурело бродили по чисто выметенному двору и что-то склевывали с горячих бетонных плит. Антон подошел к своим вещам, достал из коробки две бутылки шампанского, положил их в кейс, а парчовый белый галстук снял и намотал себе на шею. В этот момент из дома появилась хозяйка. Лицо у нее было строгим и непроницаемым, как у следователя при исполнении служебных обязанностей. Она пересекла двор, подошла к Антону и протянула ему паспорт, из которого виднелся краешек розовой купюры. Антон молча забрал паспорт, сунул его в нагрудный карман и, не попрощавшись, пошел к калитке.

— Я наркоманов не держу, — беззлобно сказала ему в спину хозяйка.

— Я это уже понял, — не оборачиваясь, ответил Антон. — Только в чужих вещах копать не надо.

— Я не копалась, — неожиданно остервенела хозяйка. — Я убирала комнату! Я здесь хозяйка! Скажи спасибо, что в милицию не заявила.

— Спасибо, — ответил Антон.

— Жить надо по-человечески, тогда выгонять не будут, — крикнула она вдогонку. — Иди-иди откуда пришел, а я наркоманам не сдаю. Вон, у нас случай был...

Антон хлопнул калиткой и, постояв у забора пару секунд, пошел по направлению к морю.

Идти было неприятно. Антон не привык и не любил ходить босиком. К тому же после вчерашнего многочасового купания у него болели мышцы, а в носоглотке ощущалось какое-то подозрительное свербение. Охая и приседая на каждом незамеченном камешке, он вполголоса ругал хозяйку и придумывал ей самые изощренные пытки. Впрочем, делал он это рассеянно и беззлобно, скорее для того, чтобы как-то занять себя, отвлечься от главного: ему надо было решать, что делать дальше. Попутно он вспомнил об Амиде, который так легкомысленно дал обет не достигать состояния Будды до тех пор, пока все люди не смогут возродиться в Чистой земле. Это навело его на печальные мысли, что мир скверны скорее всего вечен, но все же он попытается приблизить спасение героического Амиды и бросит стерилизатор в болото. После этого Антон рассмеялся и, несмотря на то что ему было очень плохо, почувствовал некоторое облегчение.

Уступив дорогу двум загорелым молодым девушкам в шортах и маечках, Антон поймал на себе их насмешливые взгляды и вдруг почувствовал себя ущербным перед этими благополучными, уверенными в себе курортницами. Ему захотелось загорать, как и все, на пляже, ходить на гору в лес, который отсюда, снизу, казался густым голубоватым лишайником. А затем, вернувшись в город, сидеть над берегом в кафе, лениво есть мороженое и говорить о том, сколько в универмаге стоит постное масло или мороженые креветки. Он понимал, что все это для него безвозвратно ушло и тоскует он не по пустым разговорам и хлопотам, которые всегда и для всех легко достижимы, если соблюдать до отвращения простые правила игры. Понимал, что подобная ностальгия — штука коварная, и всякое возвращение к прошлому чревато лишь новыми разочарованиями. Но, за неимением другого опыта, жалеть ему больше было не о чем, к тому же он себя неважно чувствовал. Антона слегка трясло и подташнивало, а укол избавил бы его от всех этих болезненных ощущений. Дабы не испытывать судьбу, Антон решил немедленно утопить стерилизатор в болоте. Подобрал по дороге половинку кирпича, он дошел до загаженного канала, вода в котором по цвету и консистенции напоминала нефть, и сев на корточки, раскрыл кейс. Резиновым жгутом Антон крепко прикрутил стерилизатор к кирпичу, завязал жгут на два узла и, убедившись, что поблизости никого нет, бросил его в черную, покрытую ряской жижу.

На пляже Антон бесцельно побродил по горячему песку, посидел на сломанном стуле неработающего кафе, которое днем почему-то всегда было закрыто и оживало только ближе к вечеру. Посидев в тени, Антон двинулся дальше, а когда ему надоело жариться на солнце, свернул под деревья и вскоре дошел до рынка.

Обилие продуктов на прилавках напомнило Антону, что он давно ничего не ел. Тогда он залез в задний карман брюк и убедился, что деньги на месте.

В уличном кафе, где вместо стульев и столов стояли тяжелые, отполированные задами колоды, жарили шашлык, и дым из жаровен гулял по всей округе, заставляя прохожих принохиваться и вертеть головами.

— Побывать на Кавказе и не поесть шашлыка, — сказал себе Антон, — это все равно, что лечь с девой и... — Не закончив фразы, Антон рассмеялся и добавил: — Ну уж, шашлыку-то я точно поем.

Взяв два шампура с дымящимся ароматным мясом, Антон тут же решил, что погорячился — такого количества мяса он не осилил бы даже в былые времена, когда имел привычку есть по три раза в день.

Шашлычник предложил ему взять водки, но Антон отказался, сославшись на жару.

— Тогда возьми вина, — не отставал тот. — Шашлык без вина — обычное мясо.

— Я не пью, — поморщившись, ответил Антон. — И не курю.

— Молодец. Долго жить будешь, — равнодушно похвалил его шашлычник и, потеряв к клиенту всякий интерес, занялся своими делами.

Антон устроился в тени под стеной. Он вертикально воткнул один шампур в колоду, а за второй принялся с энтузиазмом, достойным великого обжоры — Гаргантюа. Он громко и смачно чавкал, закатывал глаза от удовольствия, сопел и даже постанывал перед тем, как проглотить разжеванный кусок.

Взявшись за второй шампур, Антон решил немного передохнуть, тем более что первый голод он уже утолил, и теперь можно было не спеша наслаждаться всем сразу: относительной прохладой буквально в метре от дымящегося асфальта и беспощадного солнечного света, приятным чувством занятости, тем более что всего пятнадцать минут назад он не знал, куда себя деть, и даже некоторым оупением, наступившим благодаря съеденному шашлыку. Он перестал так остро ощущать драматическую неопределенность своего положения. Хорошо пережеванное мясо легло тяжелым балластом в его желудок, и у Антона появилось чувство устойчивости, а вернее, сытое равнодушие ко всему происходящему.

Он вцепился зубами в мясо и сорвал с шампура первый кусок, когда увидел посреди рыночной площади свою бывшую жену Лену. Она стояла с авоськой, из которой торчали перья лука, обмахивалась журналом и, по-видимому, кого-то ждала.

Антон выплюнул кусок мяса на землю, положил шампур на колоду и как загипнотизированный, не спуская с Лены глаз, пошел к ней, на ходу убыстряя шаг.

Появление Лены сильно взволновало Антона. Он даже почувствовал, что немного задыхается. В горле у него не то что пересохло — там непонятно из чего как бы возникла и встала поперек какая-то геометрическая фигура с острыми углами.

Вытерев жирные губы тыльной стороной ладони, а руку о брючину, Антон миновал табачный ларек и остановился перед Леной в тот момент, когда она повернула голову в его сторону.

— Ой! — испугалась Лена и прижала руку с журналом к груди. — Это ты.

— Да, я, — расстроено проговорил Антон, чувствуя, что своим внешним видом окончательно убедил бывшую жену в правильности того, что она сделала.

Лена оглядела его с ног до головы, еще больше удивилась и спросила:

— Что это за вид? Ты что, живешь в мусорном контейнере?

— А как я должен выглядеть на курорте? — раздраженно ответил Антон. Он пошевелил пальцами ног и сказал: — Хожу босиком. Говорят, полезно. Сегодня постираюсь, и все будет в порядке.

— Честное слово, ты меня напугал, — ища, что сказать, нервно проговорила Лена. — Ты в зеркало давно смотрелся?

— Давно, — поморщившись, ответил Антон. — У меня нет зеркала. И в том поганом курятнике, который я снял, тоже нет зеркала. Люди в них просто смотрят друг на друга и причесываются. А мне не на кого смотреть, я один живу.

— Да? — с сомнением в голосе спросила Лена. — Ну и чего ты хочешь?

— Ты даже не поздоровалась со мной, — напомнил Антон.

— Ты тоже, — ответила Лена.

— Да, здравствуй, — смутился Антон. — Я приехал повидать вас. Хотел поговорить с тобой. Может, даже погулять по городу.

Лена пожала плечами, взглянула в сторону рынка, и Антон догадался, что на рынок она пришла не одна.

— Откровенно говоря, я надеялся, что уговорю тебя, даже если стал тебе противен. Ну, можно же договориться двум нормальным людям.

— Нет, нельзя, — решительно отрезала Лена. — Раньше надо было договариваться.

— Раньше, — тихо сказал Антон. — Раньше я ничего этого не знал. Человеку мало сказать, что он не прав, он должен это почувствовать.

— Ну вот я и помогла тебе почувствовать, — ответила Лена. — Благодарить не надо.

— Ты знаешь, я бросил колоться, — не обращая внимания на сарказм, сообщил Антон.

Лена усмехнулась и подчеркнуто равнодушно спросила:

— И давно?

— Давно, — соврал Антон. — Вернее, недавно. Три дня назад.

— Что-то не верится, — сказала Лена и опять посмотрела в сторону рынка.

— Верится, не верится, — раздражился Антон. — Перестань ты говорить со мной таким тоном.

— Ладно, я пойду. Мне только твоей истерики не хватало. Бросил и молодец. Ты прав, мне не до тебя. Попробуй начать все с самого начала. Ты еще молодой. А я уже не хочу обратно в эту клетку.

— Да?! — тихо, с отчаянием в голосе воскликнул Антон. — Ты когда-нибудь умирала?

— Нет, не приходилось, — начиная терять терпение, ответила Лена.

— Но болела ведь? И вот представь себе, после тяжелой болезни ты выздоравливаешь и говоришь человеку, которого считаешь самым близким: «Я выкарабкалась». А он отвечает тебе: «Мне все равно».

— А ты вспомни, — не выдержав, почти закричала Лена. — Со мной это было много раз. Хотя что ты можешь помнить, кроме своего кайфа?! Сколько я болела! И в маленькие промежутки, когда у тебя не было морфия, я надеялась, что вот, наконец ты бросил. И когда я говорила тебе об этом, ты смеялся, и начиналось все сначала. Так что насчет болезни помолчи. Я свое отболела, и не тебе упрекать меня в равнодушии.

— Мне очень трудно без вас, — неожиданно сказал Антон.

— Это твои проблемы. Женись на какой-нибудь вдове, они терпеливые. Я видела тебя позавчера с красивой женщиной. Вы очень хорошо смотрелись. А как она тебе — слушает, раскрыв рот?

— Дура, — с ненавистью сказал Антон.

— Сам дурак, — спокойно ответила Лена.

— Я не то хотел сказать, — спохватился Антон.

— А я — то. Все, я пошла. Передай своей мадам, что я одобряю ее выбор и очень завидую ей.

— Подожди. — Антон взял ее за локоть, но Лена вырвала руку. — Я хочу тебе сказать на прощание: — Этот, — Антон показал в сторону рынка, — рано или поздно поступит с тобой так, как ты поступила со мной.

— Это не твое дело. Не тебе читать мне мораль, — ответила Лена.

— Я просто предостерег тебя.

— Предостерегай свою шлюху в белом платье. Ты ее здесь подцепил или с собой привез?

— Этот тип тоже тебя подцепил, ты же не считаешь себя шлюхой, — сказал Антон.

— Прощай, желаю тебе хорошо провести время, — сквозь зубы процедила Лена. — Да, письма твои я прочитала. Очень трогательные.

Ты меня разжалобил. И историю ты сочинил очень красивую, но ты забыл, что я знаю этого кавказца и его блондинку. Это Ашот со Светой. Наркотики отбили тебе память. Это они всегда брали с собой на природу ковер. А писать мне больше не надо. Тебе нужно беречь силы для этой старой нешлюхи.

— Ты знаешь, я совершенно позабыл, что у тебя такой злой язык, — сказал Антон.

— Ну да, мы же так давно не виделись, — ответила Лена и пошла было к рынку, и тут Антон увидел, как сверху по ступенькам спускается его давнишний приятель Стас, который в последнее время почему-то перестал к ним заходить. Увидев его, Антон моментально все понял и почувствовал, как у него деревенеют мышцы лица. От удивления он пару раз открыл и закрыл рот, но затем совладал с собой, шагнул к нему навстречу и, раскинув руки, громко воскликнул:

— Кого я вижу! Стас! Вот так встреча!

Рыночные торговцы, все, кто имел возможность слышать разговор Антона с Леной, медленно повернули головы в сторону третьего действующего лица, так неожиданно появившегося на сцене.

— Так это ты, голубчик, увел у меня жену, — сказал Антон. — Ну тихоня, ну молодец. А я смотрю, что это ты в гости зачистил, а потом неожиданно пропал.

Не успев взять себя в руки, с нескрываемым отчаянием на лице, Стас быстро спустился и, испуганно поглядывая на любопытствующих торговцев, попросил:

— Антон, давай отойдем...

Но Лена подхватила Стаса под руку, и яростно прошипела:

— Не о чем тебе говорить с ним.

Она потащила его прочь, и Стас послушно поплелся за ней, непонятно для кого пожимая плечами.

— Ну что ж, я могу и отойти, — согласился Антон, передвигаясь как-то боком, лицом к Стасу с Леной. — Значит, говоришь, стесняешься знакомиться? — со зловещей веселостью продолжил Антон. — Молодец, а здесь и не надо, вроде бы уже знакомы.

— Антон, — совершенно расстроенный, взмолился Стас.

— Как же ты, такой стеснительный, не постеснялся ко мне в постель залезть? — слишком громко спросил Антон, когда они уже миновали базарную площадь и вышли к крайним ларькам. — Ну да, ты же мне как-то говорил, что тебе жалко мою жену. Ну и как жалеется? Жалелка еще не болит?

— Хватит, Антон, — не выдержав, крикнул Стас.

— Отстань от нас! — сорвалась на крик Лена. — Это я его соблазнила. Все. Разговор закончен.

— А ты не боисься, что его точно так же соблазнит любая другая? — усмехнувшись, спросил Антон. — Подружек у тебя много.

— Не боюсь, — ответила Лена. Выйдя за пределы площади, она остановилась. — И вообще это не твое дело. Ты что, ненормальный? Мы с тобой расстались. Ты свободен. Хочешь, с Машей, хочешь, с Дашей живи. Меня это больше не интересует. Ради Бога, оставь нас в покое. Ты же взрослый человек, считаешь себя умным.

Последний аргумент как будто возымел действие. Антон по очереди посмотрел на обоих, сунул руки в карманы и спокойно сказал:

— Ладно. Прощайте, голуби. Только помните: недолго вам вместе гнездо вить. Леночка, насколько я знаю, в мужике твердое плечо ценит. а ты же не плечо, ты слизняк. Да и Леночка не твой идеал.

— Пошел ты, наркоман проклятый, — выкрикнула Лена. — Идем, Стас. Что ты стоишь как идиот?!

Они пошли дальше, прижавшись друг к другу плечами так, будто оба боялись упасть, а Антон вслед им громко сказал:

— Ты же знаешь, он жалостливый очень. На словах. Держи крепче. Попривыкнет, пойдет жалеть напропалую кого попало.

Антон не пошел за ними. Он еще долго стоял на дороге, провожая их взглядом, и бормотал:

— Как жалостливый, так сволочь, пробу ставить некуда. Собственно, какая ей разница? Кто подвернулся, к тому и ушла. Ей главное сейчас, что не я.

Антон двинулся по улице к морю, насвистывая какую-то детскую песенку. Его охватило даже и не равнодушие, а скорее ледяное спокойствие, затишье, как перед бурей. Он даже испугался этого. Слишком уж тихо, мертво было у него на душе.

«Черт возьми, — думал он на ходу, — как все просто. Надо обязательно убедить себя, что так и должно быть. Надо уговорить себя: так и должно быть. Должно быть и точка. Сволочь, Стас. Такие жалеючи залезают в душу и, увидев, что там то же самое, что и везде, бегут, вытоптав все живое. Хотя для жизни он, может, и удобней. А ей он и нужен для жизни. Не для смерти же. Для смерти удобней я. Ладно, только не надо напускать на себя инферность. Тоже мне, Абадонна паршивый».

Антон шел по загаженному пляжу и старался размышлять о чем-нибудь постороннем. Совсем не думать он не мог, мысли о Лене доставляли ему почти физическую боль, и он уцепился за первое, что пришло

в голову. Тяжелый кейс с шампанским оттягивал руку, и Антон соображал, как избавиться от шампанского, не выбрасывая его и с максимальной пользой. Можно было предложить выпить кому-нибудь из загорающих, пристроиться к молодой женщине или небольшой компании. Антон оценивающе приглядывался к одиночкам и парам, когда его окликнул знакомый голос.

— Антошка, — пьяно позвала Вера. — Иди к нам.

Под чахлым, ошипанным деревцем, на тканевом розовом одеяле он увидел Веру и двоих немолодых курортников, которые с пьяным любопытством смотрели на него. Один, разобравшись, кого дама зовет, махнул ему рукой, приглашая присоединиться к компании. Мысли о шампанском настолько завладели Антоном, что он на ходу расстегнул кейс, достал бутылку и, если бы не занятые руки, принялся бы открывать ее.

Завидев шампанское, Верины ухажеры загоготали, начали расчищать место на краю одеяла и, когда Антон подошел, приняли его как старого знакомого, усадили, и один из них, протянув руку, представился:

— Николай Иванович. А это, — кивнул он на своего друга, — Алексей, Леша. Я бы даже сказал, Леша Незаменяемый. Это как Константин Багрянородный или Василий Великий.— Николай Иванович рассмеялся собственной шутке и пощелкал пальцем.— Стакан, стакан давайте гостью.

Леша был никак не моложе Николая Ивановича, такой же облезлый и пузатый, и Антон подумал, что скорее всего начальник какого-нибудь стройтреста Николай Иванович приехал в командировку со своим подчиненным Лешей, а заодно использует его как холуя.

Судя по закускам, разложенным на одеяле, Николай Иванович любил вкусно поесть и пустить пыль в глаза. Закусок было не очень много, но экзотических блюд в таком ассортименте Антону еще не приходилось видеть на одном столе. Причем, за исключением черной и красной икры, это были не простые консервы, а все свежие диковинные кушанья, которые не едят, а пробуют, а потом долго делятся впечатлениями.

Курортники уже распили бутылку столь же экзотической водки, Леша выставил на середину одеяла вторую, но Николай Иванович взял из рук Антона бутылку шампанского и разлил его по стаканам.

— Гость не должен сам разливать вино, это дело хозяина, — любовно глядя на Антона, сказал Николай Иванович.

Своим появлением Антон оживил компанию, заскучавшую было от долгого общения друг с другом. Но сам он, однако, не только не чувст-

вовал никакого интереса к этим людям, но даже содрогнулся при мысли, что с ними надо будет говорить и слушать их пьяные речи. Он судорожно выпил стакан шампанского, чем вызвал беспричинный, по его мнению, хохот у сотрапезников, затем вылил остатки вина себе в стакан и так же жадно выпил.

— Наш человек, — загоготал Леша.

— Нет, он не наш, — возразила Вера и подмигнула Антону, явно намекая на тайну, которую она узнала вчера вечером благодаря хозяйке дома. — А Антон сегодня полночи купался, — будто хвастаясь собственными подвигами, сказала Вера. — Тонул, наверное. А может, утопиться хотел, но кишка оказалась тонка. Да, Антон, топился?

— Я? — удивился Антон. — С чего ты взяла? Стоило ли ехать так далеко, чтобы здесь утопиться?

— Да? — лениво кокетничая, спросила Вера. — А для чего ты сюда приехал?

— Во всяком случае, не для этого, — с напускной беспечностью ответил Антон, потянувшись за долькой ананаса.

— Зачем Антоша сюда приехал, мне известно, — самодовольно сказал Николай Иванович. — У меня глаз наметан. Хочешь скажу? — спросил он у Антона.

Антон внимательно посмотрел на него, затем на Веру и попытался вспомнить, не говорил ли он ей что-нибудь о своих неприятностях.

— Ну-ну, это интересно, — кивнул он.

— Женщина, — лежа в позе патриция, ответил Николай Иванович. — В мире есть только две силы, способные расшевелить даже самого ленивого мужика. Это женщины и деньги. Ты приехал сюда за женщиной, но она, похоже, не очень-то обрадовалась тебе.

— Ну, это совсем просто, — сказал Антон. — Обычное случайное попадание. Если с экрана телевизора сказать: «Гражданин с голым торсом, перестаньте ковырять в носу», — тысячи мужиков перед телевизором вынут палец из носа и покраснеют.

— Да, это действительно просто, — милостиво согласился Николай Иванович. — Все наши беды от женщин. Правда, Вера? — Николай Иванович захохотал. — Все преступления совершаются или из-за них, или ради них. Когда человек целиком отдается какой-нибудь страсти, его ангелом-хранителем становится бес, а ангел-хранитель соответственно превращается в искусителя. Человек часто и не догадывается, кто в данный момент охраняет его, а кто искушает. — Он поднял стакан с шампанским, пожелал всем здоровья и отпил.

— Совершенно верно, Николай Иванович, — подмахнул ему Леша. — Давайте выпьем за ангела-хранителя, с какой бы стороны он ни находился. Я теперь ни через левое, ни через правое плечо плевать не буду, коль уж оба они, родимые, пекутся о моем благополучии.

— Где это ты видел, чтобы бес заботился о твоём благополучии? — усмехнулся Николай Иванович. — Он никогда не делает этого, да и не может по природе своей. Дьявол не любит человека. А за что ему любить нас? Он восстал против самого Создателя, и ему непонятны и противны наши мелкие страстишки. Вот на это он нас и ловит. Страсть — его оружие.

«А ты не так прост, пузатый», — подумал Антон.

— У меня был один пациент — алкоголик, царствие ему небесное. Незадолго до смерти он рассказал мне свою историю...

— Пациент? — перебил его Антон.

— Да, я врач-нарколог, — многозначительно посмотрев на Антона, ответил Николай Иванович. — Хотя сам люблю выпить, беса, чтоб опекал, стараюсь к себе не допускать. Ну, так слушайте. Человек этот работал на рынке товароведом. На водку не тратился — несли каждый день кто ни попадя. Сами знаете, за место или помощь с медицинской справкой. И в один прекрасный день его уволили за пьянку. Не просыхал мужик, пил ее, халявную, пока не завалился под стол. Ну и погубила его жадность. После рынка он устроился работать в магазин, затем в магазинчик, но и оттуда его вскоре выперли. Тут-то он впервые и задумался о своей жизни. Некоторое время крепился, привел себя в порядок, устроился работать в котельную оператором, но в первый же день так надрался с напарником, что неделю не мог остановиться. С работы его, разумеется, выгнали, а он, протрезвев, вдруг понял, что очень крепко сел на мель. Мужик он был неглупый, жизнь мог просчитать на десяток ходов вперед, а там на десяток и не надо было; и дураку понятно, что еще шаг и он окажется за пределами доски, а обратно на доску не возвращаются. Он сам пообещал жене вшитья, две недели перед этим сидел дома — вешал полки, чинил стулья, — в общем, привыкал к трезвой жизни. Благо, жить было на что — скопил денег, пока работал на рынке.

Через две недели ему зашили в задницу пилюлю, он вернулся домой и затосковал. Надо было начинать все сначала, восстанавливать связи, объяснять, что он завязал, при этом жизнь, которой теперь ему предстояло жить, казалась чудовищно скучной и бессмысленной. Он понял: единственное, что раньше привлекало его в этой работе, — это застолья, непрекращающийся праздник, хоровод собутыльников и со-

бутылниц и пьяная болтовня. Остальное было таким же скучным, как и работа оператора котельной или дворника. Кроме того, ему заново пришлось знакомиться со своей женой, которая с возрастом не стала ни симпатичней, ни покладистой. Наоборот, с годами она как-то усохла и озлобилась от его пьянок на весь человеческий род. Жена, как это водится, все время упрекала его, что он погубил ее жизнь, в открытую говорила, что ненавидит его, но на развод и размен квартиры не соглашалась, а у него не было сил. К тому же, оставшись один, он обязательно сорвался бы и запил.

В общем, он устроился на работу, около двух месяцев исправно ходил на свой рынок, бегал от выпивок, и даже дома у него стало немного поспокойнее. Жена подобрела, успокоилась. Правда, ближе она ему не стала. После стольких лет пьянки он видел в ней лишь чужую склочную бабу, с которой вынужден жить из-за невозможности немедленно разъехаться.

Как-то утром, по дороге на работу, он долго не мог поймать такси. Машины проезжали мимо, даже не останавливаясь. И он вдруг поймал себя на мысли, что ненавидит весь этот мир, готов разорвать его собственными руками, точно воблу. Сердце от гнева билось часто, как после недельной попойки, внутри все напряглось, да так сильно, будто его растянули на дыбе. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы немного остудиться — уж слишком все это напугало его. Не удивительно, что он почувствовал непреодолимое желание напиться и после этого умереть. Жизнь — на те десять ходов, которые он видел — ужасала его своей убогостью и бессмысленностью. В ней не было ничего, кроме грязной комнатенки на рынке — его кабинета — и унылой квартиры, где его ждала некрасивая, глупая жена.

— Господи, убей меня, — тихо сказал он вслух. — Неужели все так живут?

В этот момент перед ним остановилась машина. Он открыл дверцу, сел на переднее сиденье и с ходу предупредил водителя, чтобы тот остановился у ближайшего магазина, купить водки. Бес знал, какую машину ему подогнать. Водка была куплена. Он отдал водителю все деньги, что были у него с собой, велел подъехать к институту Склифосовского и сказал:

— Если увидишь, что я кончаюсь, позови врача. — После этого он открыл бутылку и винтом влил в себя водку. Но допить не успел.

Откачать-то его откачали. Торпеду ему вырезали и посоветовали обратиться к психологу. Есть такие общества бывших алкоголиков. Они

там учатся получать удовольствие от обычной жизни. Самые старательные выкарабкиваются.

Ни к какому психологу он не пошел. Вшился еще раз, но через месяц понял, что жить так больше не может, и теперь уже окончательно решил покончить с собой.

Купив бутылку водки, он закрылся дома, написал жене прощальную записку, всплакнул над своей юношеской фотографией и залпом выпил стакан водки. Посидев немного, он налил еще, выпил и лег умирать на диван.

Разбудила его жена. Он очень удивился, обнаружив, что загробный мир ничем не отличается от того, который он только что покинул. Жена кричала на него, плевалась и швыряла ему в лицо предметы своего туалета. Немного погодя он сообразил, что его надули, то есть ему надрезали задницу и зашили, ничего туда не положив. В общем, возвращение на этот свет нельзя было назвать приятным.

Из дома он ушел, не выдержав скандала. И представляете, еще не опомнившись от воскрешения, в автобусе он встретил свою бывшую одноклассницу, в которую когда-то был влюблен. Слово за слово, оказалось, что она тоже недавно развелась. В общем, конец у этой банальной истории самый тривиальный — он переехал жить к ней. Бросил пить, хотя первое время запирался в ванной и рычал там в полотенце звериным рыком, обливался горячим потом и пел псалмы. Одноклассница его оказалась верующей, ну и его к этому приспособила. — Николай Иванович взял стакан с шампанским и допил вино.

Уже было заскучав, Антон с облегчением вздохнул и из вежливости поинтересовался:

— Значит, все закончилось благополучно?

— В общем, да, — зевнув, ответил Николай Иванович, — если это считать концом.

— Какой же конец у этой истории? — спросил Антон.

— Если помнишь, в самом начале он просил у Господа смерти. Так вот, Господь услышал его.

— Он снова покончил с собой? — удивился Антон.

— Нет, его зарезали, — лениво ответил Николай Иванович.

— Что, просто так, на улице?

— Нет, не просто так и не на улице, — ответил Николай Иванович.

— Его зарезали в подъезде. Он же не дворником работал, а на рынке товароведом. Держал в своих руках важные нити, наделал долгов, по его вине сорвалось несколько крупных сделок... Да и многое знал, а во многом знании, как известно, немалая опасность. Если в лесу есть вол-

ки — а в нормальном лесу должны быть волки — больной заяц обречен. Вот так-то.

— И что, преступника нашли? — спросил Антон.

— Какой там. Чисто сработали. А все она, проклятая. — Николай Иванович кивнул на бутылку водки. — Так что, если у тебя есть какие-то проблемы с этим делом, обращайся ко мне, Антоша. Я помогу. Ко мне на прием многие мечтают попасть. Запиши мой телефон, свой продиктуй. Встретимся в Москве, поговорим.

В этот момент Антон периферийным зрением заметил какое-то шевеление и посмотрел на Веру. Воспользовавшись тем, что Леша потянулся за мясом, она делала ему какие-то знаки и строила страшные рожи.

— Да нет, спасибо, — ответил Антон, догадавшись, что Николай Иванович не тот, за кого себя выдает.

Николай Иванович тоже взглянул на Веру. Чтобы скрыть свой испуганный взгляд, она наклонила голову, будто рассматривая что-то у себя на груди. С лица Николая Ивановича будто сползла маска, изображавшая добродушие. Что-то случилось с кожей вокруг его глаз, одни морщинки исчезли, другие появились, отчего взгляд сделался холодным и жестким.

— Бабы дуры, — немного погодя, спокойно произнес он. — Добрые, но дуры. Разве я могу сделать плохо человеку, который угостил меня шампанским? Я же здесь на отдыхе.

— То, что вы не врач, я и так понял, — признался Антон.

— Да? Это как же? — поинтересовался Николай Иванович.

— Можно допустить, что врач-нарколог каким-то образом узнал о гибели своего пациента. Наверное, их снимают с учета. И то, что его зарезали, нетрудно было узнать. А вот за что его зарезали, судя по вашему рассказу, не может знать никто, кроме исполнителя. Никого же не нашли.

— А ты наблюдательный, — усмехнулся Николай Иванович. — Я бы даже сказал: неосторожно наблюдательный. Зачем же ты свои карты раскрываешь? Ты прав, конечно, но, кроме исполнителя, есть еще люди, которые этого исполнителя наняли.

— И это я понял, — сказал Антон. — Не будет же человек вашего масштаба в подъезде пырять ножом бедолагу-алкаша.

— Ты мне нравишься все больше и больше, Антоша, — удовлетворенно произнес Николай Иванович. — Умеешь вежливо разговаривать. За это я хочу сделать тебе королевский подарок.

— Спасибо, конечно, — пожалв плечами, растерялся Антон. — Все, что мне нужно, у меня есть. — Антон хлопнул по кейсу и вспомнил, что совсем недавно утопил стерилизатор в болоте.

— Не отказывайся, Антоша. Тем более что ты не знаешь, от чего отказываешься. Ради нашей дружбы я отпускаю тебя с миром, Но, если не хочешь, можешь не уходить. Выпьем, закусим, пульку распишем.

— А если бы не отпустили? — усмехнувшись, спросил Антон. — Что, неужели сами меня?..

— Ты много задаешь неудобных вопросов, Антоша, — рассмеявшись, ответил Николай Иванович. Он кивнул кому-то поверх плеча, Антон посмотрел в ту сторону и увидел, как один из загорающих поднялся и пошел в их сторону. Это был красивый молодой человек с могучей грудью атлета. Его бицепсы в окружности были никак не меньше Антоновой ляжки. Шел он медленно и даже лениво, равнодушно поглядывая по сторонам, и Антон подумал, что с такой же ленцой и равнодушием этот красавчик одним ударом кулака выбил бы из него дух где-нибудь на окраине и утопил в грязном болоте.

— Да, Николай Иванович? — подойдя, спросил красавчик.

— Пошли кого-нибудь за шампанским, — ласково сказал Николай Иванович. — Видишь, не взяли, а теперь что-то захотелось. Антоша нам перебил водку.

— Хорошо, Николай Иванович. — Красавчик кивнул кому-то за деревьями и так же медленно ушел отдавать распоряжение.

— Славный ответ, — серьезно сказал Антон. На иронию у него не хватило смелости, остаться здесь он тоже не мог. Антон понял, что вести себя так же естественно, как раньше, до рассказа Николая Ивановича он не сможет. Либо сломается и, потеряв над собой контроль, залезет, либо, наоборот, начнет демонстративно хамить, бравадой и фамильярностью заставит этого человека «забрать» свой подарок, а это было форменным самоубийством. — Ну, так я пойду, Николай Иванович. Спасибо за подарок, действительно королевский оказался. — Антон встал и протянул руку.

— Значит, не хочешь остаться, — лениво ответил Николай Иванович и, подумав, слабо пожал ему руку. — Мое предложение остается в силе. Будет желание, приходи к Вере, пульку распишем. И не надо меня бояться. Не суй нос не в свои дела, и все будет в полном порядке.

— Может, зайду, — неопределенно пообещал Антон. — И последний вопрос, Николай Иванович. Почему вы, человек с такими возможностями, по ночам играете в карты в каком-то клоповнике? Там и сесть-то не на что.

Взгляд Николая Ивановича потеплел, складка на переносице разгладилась, и он ответил:

— Эх, Антоша. В этом клоповнике прошла вся моя студенческая молодость. Хозяйка дома, Маруся, совсем молодой была. Я как раз тогда в первый раз женился. Глупая такая была бабенка, капризная не в меру, хотела получить все сразу и натурально не понимала, как это я — здоровый молодой мужик — трачу время на учебу, вместо того чтобы создавать ей шикарную, по ее понятиям, жизнь. Вот я и создавал — каждый год месяц отдыхали здесь. Привычка, Антоша. А насчет моих возможностей — у тебя что, денег нет на новые портки и тапочки?

— Есть, — ответил Антон.

— А почему же не купишь?

— Я как-то не думал об этом, — пожал плечами Антон.

— Вот и я такой же артист, деньги вроде есть, а хожу в рваных сандалиях. Ладно, ступай, Антоша, коль собрался.

— И последний вопрос, можно? — спросил Антон.

— Ты у меня что, интервью берешь? — засмеялся Николай Иванович. — Давай, все равно делать нечего.

— Я же сейчас уйду... — начал Антон.

— Не продолжай, — перебил его Николай Иванович. — Я тебя, Антоша, зауважал до того, как ты к нам подошел. Я зауважал тебя, когда узнал, что ты свою машинку с марцефалем собственноручно в канале утопил. Ладно, все. Передавай привет своей Леночке.

— Иди, иди, Антон, — неожиданно влез в разговор Леша. — Ты Николая Ивановича расстроишь, а нам еще шампанское пить.

Сбитый с толку осведомленностью Николая Ивановича, Антон улыбнулся одними губами, махнул рукой и, тяжело ступая, пошел по направлению к вокзалу. «Значит, они за мной следили, — думал Антон. — Зачем? И кто такой этот Николай Иванович? Ах, ну да, живу рядом, проверяли, не засланный ли».

Разобравшись с Николаем Ивановичем, Антон снова мысленно вернулся к разговору с Леной и Стасом. Это воспоминание, словно порыв жгучего ветра, выдуло из него лихорадочный озноб. Антону сделалось душно, обида, казалось, находилась где-то в желудке и не помещалась там, давила на диафрагму, затрудняя дыхание. Он почувствовал сильную, тянущую боль. Природу этой боли Антон до конца не понимал, поскольку вызвана она была чем-то, не имеющим отношения к его живым болящим органам. Болело, как после сильного удара в солнечное сплетение, а в паху у него словно кто-то накручивал колки, на которые вместо струн наматывались нервы. Антон даже чувствовал внутри себя

вибрацию натянутых струн, похожую на гудение высоковольтных проводов. Испугавшись, он попытался переключиться на другие мысли и, превозмогая слабость, пошел вперед.

Очень скоро Антон вышел на дорожку, ведущую к дому, где он снимал халупу. Когда Антон сообразил, где находится, понял, зачем сюда стремился. Не отрывая взгляда от черной, покрытой ряской воды, он замедлил шаг и мысленно попытался объяснить свое появление здесь: «Там всего четыре ампулы. Сейчас они мне нужны как никогда. Нельзя лишать себя всего сразу, надо по очереди заполнять образовавшиеся пустоты. Иначе я не выдержу. Это не поражение. Это тактический маневр. И черт с ним, с уважением Николая Ивановича. Я беру передышку, чтобы постепенно справиться со всеми неприятностями».

Он остановился на том месте, откуда, как ему казалось, бросил стерилизатор в воду. Время давно перевалило за полдень. Жаркий воздух, словно закипающая в чайнике вода, уходил вертикально вверх. Мертвая утрамбованная земля будто до предела была насыщена кислородом, и, выходя из нее, он клубился, искажая очертания предметов до неузнаваемости.

Антон бросил кейс в высокую траву, растущую вдоль канала, спустился вниз и потрогал ногой воду. Он не почувствовал ее, но содрогнулся от отвращения, когда по ковру из ряски прошла едва заметная волна. Отступать он уже не собирался, поскольку считал, что некуда. Ему необходимо было передохнуть, сойти с дистанции и накопить сил даже для такого простого дела, как отъезд. Он просто не в состоянии был пойти на вокзал, купить билет, а затем неизвестно сколько ждать поезда. Ему казалось, что мир выталкивает его за собственные пределы, и Антон был бы рад покинуть его, но не мог это сделать, не прибегая к помощи морфия. Раздражение его росло. Ключик от спасительной дверцы лежал рядом, в металлической коробке, на дне грязного канала. Нужно было только решиться и прыгнуть. И Антон прыгнул.

Вода тошнотворно пахла канализацией, тиной и имела сладковатый вкус. Антон барахтался посреди канала, остервенело отплеивался и шарил руками и ногами по мягкому илистому дну. Он боялся вставать на ноги, испытывая детский ужас перед засасывающей донной грязью.

Гладкие предметы, на ощупь похожие на стерилизатор, попадались часто. Он выкинул на берег несколько банок и бутылок, причем сильно порезал ладонь о горлышко бутылки. Встав, наконец, на дно он прополоскал рану и принялся слизывать кровь с порезанной ладони. Вода вокруг него сделалась совсем черной, кровь капала в воду и моментально растворялась в густом маслянистом бульоне.

Он шарил по дну руками, медленно продвигаясь вперед. Тщательно ощупывал каждый найденный предмет, будто толком не знал, что ищет, а ощупав, бросал на дно. Вынырнув, он увидел идущих по дороге мальчишек, услышал смех и крики:

— Смотри, смотри, поймал кого-то. Тащит.

— Во дурак. Он пьяный в жопу.

Антон хотел было встать и наорать на детей, прогнать их, но решил, что только потеряет с ними время да привлечет к себе внимание взрослых, которые неизвестно как отнесутся к его купанию в этой сточной канаве. Нырнув еще раз, он проплыл над дном метра полтора и наконец нащупал рукой что-то, очень знакомое по форме. Прижав к груди стерилизатор с кирпичом, Антон вынырнул из воды и снова услышал смех, но мальчишки его больше не интересовали.

Антон долго сидел в тростнике, высасывая кровь из раны, и думал, как ему такое могло прийти в голову — бросить стерилизатор в болото. А главное, чего ради? «Начать жизнь сначала можно только отыскав это начало, — думал он. — Я чуть было не остался один на один со всеми этими людьми, с их писаными и неписаными законами, с их играми в семью, в карьеру, в мораль. Это все равно что прийти в зоопарк и навсегда остаться там жить, изредка меняя одну клетку на другую».

Антон открыл стерилизатор и осмотрел его содержимое. Шприц был полон грязной болотной воды; все остальное не пострадало, хотя он волновался, что от удара могут разбиться ампулы.

Закрыв стерилизатор, Антон встал и, пригибаясь, чтобы не было видно с пляжа, пошел вдоль берега. Он добрался до тех мест, где уже не было загорающих. Здесь Антон оставил свои вещи, взял с собой только шприц, иглу и, разбежавшись, головой вперед нырнул в мелкую подошедшую волну. Отплыв подальше от берега, он опустился метра на два под воду и несколько раз промыл шприц водой. На этом стерилизация закончилась. Антона не пугала перспектива подхватить какую-нибудь заразу, хотя это было более чем реально. Он был из тех людей, которые следят за своим внешним видом до первого пятна на одежде, и, как только это пятно появлялось, он вообще переставал обращать внимание на грязь. Мог спокойно вытереть черную от мазута руку о собственный пиджак, если до тряпки нельзя было дотянуться не сходя с места.

Более-менее отмывшись от черной грязи и ряски, Антон выбрался из воды и вернулся в заросли тростника. Там он, торопясь, перетянул себе руку резиновым жгутом и сделал укол. И сразу мир как будто перевернулся, изменилось освещение, в голове у него пронесся черный

смерч, который вобрал в себя все его мучения, заботы и боль,— все, что имело отношение к развенчанной им жизни. Антон понял, что больше не хочет возвращаться в нее. Там его никто не ждал, тогда как здесь он ни в ком не нуждался. Он вспомнил слова Николая Ивановича, что, если в лесу есть волки, больной заяц обречен, и рассмеялся.

— Больной заяц и так обречен уже потому, что он больной, — сказал он вслух.— И здоровый обречен, даже если это саблезубый заяц о восьми лапах.

Из забытья Антона вывел громкий смех. Он осторожно приподнялся над тростником и увидел своих старых знакомых, которые, вероятно, возвращались от Ниночки. Зураб, энергично жестикулируя, рассказывал коротконотому спутнику историю своей любви.

— Я, бля, уже трусы с нее стянул. Ее мать помешала. — Передразнивая мать, он перешел на фальцет: — Ниночка, Ниночка, что вы там делаете? Я, бля, завтра с ней в лес пойду. — Зураб громко рассмеялся. — Сиськи мягкие-мягкие.

— Я с тобой пойду, — сказал его спутник.

— Э, ты все испортишь, — ответил Зураб. — С тобой она не даст.

Антон проводил молодых людей взглядом, сел поудобнее, протер глаза кулаками и, вздохнув, произнес:

— С возвращением тебя. Этот мир легко узнать по первому слову первого встречного. И слово это — «бля». Магическое слово со скользким смыслом.

Убрав в кейс стерилизатор, Антон осмотрел свои когда-то белые брюки, сбил щелчком пару листочков ряски и поднялся. На душе у него было пасмурно и мерзко. Одновременно хотелось есть, пить и плакать. Прежде чем уехать отсюда, Антон решил попрощаться с Еленой Александровной и Наташей. Ему не хотелось встречаться с Александром, но он знал, что в присутствии матери тот не станет затевать склоку.

Антону повезло: как и в первый раз во дворе он увидел Наташу. Он снимала с веревки белье и складывала его в большую картонную коробку.

— Здравствуй, дочка, — громко сказал Антон, подходя к дому. Наташа обернулась, удивленно посмотрела на Антона и заулыбалась.

— Заходи, пропащий, — внимательно разглядывая Антона, пригласила Наташа. — А мы уже переволновались за тебя. Куда ты пропал с катера?

— Сошел в Пицунде, — ответил Антон. — Хочу попрощаться. Я уезжаю в Москву.

— Что это у тебя за вид? — удивленно спросила Наташа.

— В канаву свалился, — ответил Антон. — Знаешь, там есть такая грязная канавка вдоль дороги. Ночью возвращался к себе, впереди шла парочка. К ним пристали какие-то два подонка — пришлось вступить. Одного я толкнул в канаву, второй меня вслед за ним туда отправил. Ноги в ил засосало, пришлось оставить там туфли. А носки я выбросил. Без обуви они как-то не так смотрятся — это тебе не дома на ковре. Тот, которому я помог, тоже москвичом оказался. Хороший мужик, на Таганке живет. В честь такого случая мы с ним решили выпить, за знакомство. Нашли чачу в каком-то доме — поздно уже было — и не рассчитали. Помню, где-то повесил свой пиджак на ветку, а где — черт его знает. Хорошо хоть москвича встретил, а не москвичку, а то бы и брюки потерял.

— Ты знаешь, — медленно, с нескрываемой досадой проговорила она, — мне почему-то кажется, что мы с тобой знакомы очень и очень давно. За один вечер ты умудрился показать себя со всех сторон. Поэтому я и думаю, что ты врешь сейчас, как...

— Ну хочешь, я тебе другую историю расскажу, более правдоподобную?

— Не надо, — тяжело вздохнула Наташа, — и эта сойдет. Пойдем в дом, мы как раз собираемся ужинать. Уже все готово.

— А твой брат не закатит истерику? Я как-то не при параде сегодня.

— Пойдем. Ты же попрощаться пришел. Мама будет очень рада. Все эти дни она только о тебе и говорила.

Они прошли в дом; как и в первый раз, Наташа раскрыла дверь в гостиную и как можно веселее сообщила:

— А вот и он.

Сидевший за столом Александр присвистнул и медленно положил вилку в тарелку.

То же самое сделала и Ниночка.

— Ого! — воскликнула она и с изумлением добавила: — Вы все-таки вырыли подземный ход в Турцию?

— Почти. — Антон пожал плечами, а Елена Александровна встала, пошла ему навстречу и спросила:

— Что произошло, Антон? Почему у тебя такой вид?

За Антона ответила Наташа:

— Мама, Антон пришел попрощаться с нами. Его надо накормить, а потом он расскажет тебе, что с ним произошло. Посмотри, какой он зеленый. Наверное, не ел с того самого вечера.

— Да, да, да, — закивала головой хозяйка дома. — Проходи, Антон. У нас сегодня по-простому, обычный семейный ужин.

— Здравствуйте, Елена Александровна, — запоздало поздоровался Антон. — Ради Бога, извините меня за такой вид. Я мог бы, конечно, взять у знакомых хотя бы резиновые сапоги, но позабыл это сделать. Я не надолго, только попрощаться, — едва ли не про слогам сказал он, адресуя последние слова через голову Елены Александровны ее сыну.

А Александр вдруг повеселел, по-хозяйски кивнул на стул и сказал:

— Давай, давай, садись, папуля. Мы уж не знали, что и подумать. Пропали, понимаешь ли. — Похоже было, что внешний вид Антона вполне удовлетворил Александра. Сейчас Антон полностью соответствовал тому образу, который Александр создал, описывая его домочадцам. Хозяин дома победил и, как всякий уверенный в себе победитель, желал добить противника собственным великодушием. Он даже налил Антону вина и подвинул к нему хлебницу. — Да, видик у вас, папуля, прямо скажем, отвратительный, — не удержался Александр.

— Александр! — слабо вскрикнула Елена Александровна.

— Ничего, ничего, — попытался успокоить ее Антон. — Он прав. Если бы вы, Александр, знали обо мне побольше, вы бы на порог меня не пустили.

— Не беспокойтесь, — вальяжно развалившись на стуле, ответил Александр. — Знаю я вашу главную тайну.

Антон вопросительно посмотрел на Наташу, та, занервничав, на Елену Александровну.

— Вы подслушивали под дверью наш разговор с Еленой Александровной? — поинтересовался Антон.

— Упаси Боже, — всплеснул руками Александр. — Мама с Наташей сегодня говорили о вас. Не затыкать же мне уши в собственном доме. А насчет порога, — кто вы мне такой, чтобы вас не пускать на порог? Вы ешьте, ешьте, путь до Москвы неблизкий, а в вагонах-ресторанах так накормят, что потом неделю с толчка не слезешь.

Елена Александровна тревожно всматривалась в лицо Антона. Глаза у нее были красными и влажными, она по-старушечьи жевала губами и иногда прикладывала к ним носовой платок.

Усмехнувшись, Антон принялся за еду, а на Александра, видимо, napало вдохновение: он болтал, не умолкая. Начал Александр издалека, с того, что он атеист, но вполне понимает верующих любого вероисповедания, а закончил прямо противоположным по смыслу, хотя и в духе этой семьи, пассажем.

— Человек любит свое прошлое, но только в пределах одной жизни, — гоняя горошину по тарелке, мечтательно сказал он. — Память о предыдущих жизнях может свести человека с ума или толкнуть на самоубийство. Потому что бесконечный переход из одной жизни в другую начисто обесмысливает ту одну, ценную для него жизнь, которую он в данный момент имеет. Человек как бы сливается с бесчисленным множеством чужих ему людей, коими он был раньше, теряет собственную индивидуальность, а это единственное, чего у него никто не может отнять. Только Бог может позволить себе быть всем, везде и во все времена и знать об этом.

— Вы же атеист. О каком Боге, о каких других жизнях вы говорите? — жуя, спросил Антон.

— Атеисты тоже бывают разные, — ответил Александр. — Одни просто не верят, другие не договорились с Богом, третьи не докричались до него.

— И к каким же вы себя причисляете? — спросил Антон.

— Будем считать, что я не договорился с ним. Ну бог с ним, с Богом. Извините за каламбур. Я хочу выпить за то, чтобы мы не драматизировали нашу жизнь. — Александр поднял фужер с вином. — Не забежали вперед и не копили негативный опыт, чем, как мне кажется, занимается Антон. Все мы собираем или копим то, что соответствует нашему душевному складу. Одни коллекционируют острые ощущения, другие — женщин, третьи — свои несчастья. Острые ощущения лучше, чем несчастья, женщины, — Александр усмехнулся, — лучше, чем острые ощущения, ничего не коллекционировать лучше, чем всю жизнь таскаться по бабам. Если хочешь увидеть все, не сосредоточивай внимания на частностях.

— Выпить я согласен, — сказал Антон, подняв фужер. — А насчет меня вы ошибаетесь, Александр. Я ничего не коллекционирую и не накапливаю. Это вас ввел в заблуждение мой внешний вид. И невзлюбили вы меня именно потому, что вам когда-то внушили, что человек в грязном смокинге — не в робе, а именно в смокинге — может быть только подонком. Смокинг говорит о том, что я бездельник, грязь на смокинге — опустившийся бездельник. Так?

— Не совсем, но почти так, — ответил Александр. — Заметьте, вы сами вынуждаете меня быть откровенным. Далась вам эта откровенность. Да, вы мне сразу не понравились, и не последнюю роль в том сыграл смокинг, хотя к любой одежде я отношусь терпимо.

— Один мой знакомый ненавидел людей на велосипедах, потому что в детстве мать не могла купить ему велосипед.

— Не надо заниматься психоанализом, Антон, — спокойно ответил Александр. — У вас это плохо получается. Нас в детстве одевали, как и всех детей. Не хуже, не лучше. Просто я не люблю слишком раскованных людей с плавающим взглядом. Я понятно изъясняюсь?

— Да, конечно, — ответил Антон. — В конце концов мне все равно, любите вы меня или нет. Я даже не обижаюсь на вас, вы такой, какой есть.

— Ну и отлично, — оживился Александр. — Тогда давайте наконец выпьем за то, что мы есть. Я считаю, что быть или не быть — не проблема для мужчины. Конечно же, быть. — Александр отпил два глотка и поставил фужер на место.

Антон и Наташа выпили вино до дна.

— Каждый вкладывает в это свой смысл, — поставив фужер, сказал Антон. — Я хотел бы перефразировать Платона. Бог создал архетип понятия «быть», философ — подобие архетипа, художник — подобие подобия.

— Ну и к чему все это? — спросил Александр.

— А к тому, что лично я не знаю, что такое «быть». Сейчас можно только догадываться, какой смысл вкладывал Бог в это понятие. Я, конечно, тоже за «быть», но даже не встречал людей, которые бы знали, что это такое. Хотите, я расскажу историю об одном своем знакомом?

— Знаем, знаем, — почти в один голос произнесли Наташа и Ниночка. Затем Ниночка добавила: — Вы расскажете нам о своем друге Иване?

Наташа рассмеялась, а Антон серьезно сказал:

— Нет, на этот раз я расскажу о другом своем знакомом. Его звали Василий.

— Если его «звали», значит, страшная история, — сказала Наташа.

— Ну, это как посмотреть, — ответил Антон. — Во всяком случае, это типичная история с нетипичным концом.

— Как много у тебя неблагополучных знакомых, — с улыбкой заметила Наташа.

Антон пожал плечами и спросил:

— Так рассказывать или нет?

— Давайте, — опять подала голос Ниночка. — Только про мертвцов не надо.

— Хорошо, — с улыбкой пообещал Антон. Чувствуя какую-то болезненную слабость и озноб, он обернулся и посмотрел на дверь. Ему казалось, что оттуда тянет холодом. Убедившись, что дверь закрыта, он начал: — Василий был человеком вполне заурядным. Считал, что мод-

ная одежда выделяет человека из толпы, хотя все происходит с точностью наоборот. Любил сплетни погрозней об известных людях — рассказы из лакейской. Он даже институт окончил только потому, что в нашей среде считалось модным что-нибудь закончить. Он был неплохим специалистом-электронщиком, но во всем остальном полный профан. Я знаю, что он никогда не читал стихов, а из прозы предпочитал самую низкопробную фантастику и детективы. В общем, рядовой гражданин с рядовыми запросами. Его представления о жизни тоже не отличались оригинальностью. Он считал, что мужчина обязан иметь друга, работу, семью и любовницу — традиционный набор. Все это у него имелось. И он — не знаю, врал или нет, — считал себя счастливым человеком, а потому никогда не задавался вопросом: быть или не быть. Не знаю, зачем судьбе понадобилось ломать ему жизнь. Жил себе человек в своем придуманном мире, никого не трогал, раз в три года давал потомство и не подозревал, что он всего лишь до поры до времени забытая на краю доски пешка. И вот однажды судьба включила его в игру. На собрании он не поддержал своего начальника, чего прежде, как человек осторожный, никогда не позволял себе. Он был дисциплинированным работником, медленно, но уверенно продвигался по службе и даже в точности до месяца знал, когда получит следующее повышение. Но черт его попутал, и он поссорился со своим благодетелем. Начальник, пьяница и вор, в похмельной депрессии долго кричал на него в своем кабинете, говорил о долге чести — не совсем понятное мне словосочетание — и в конце сказал, чтобы Василий увольнялся, потому что дальше работать вместе они не смогут. Василию бы покаяться, но он полез в бутылку, отказался увольняться, и тогда начальник принялся выживать его. Он с такой изобретательностью это делал, что уже через две недели Василий вынужден был написать заявление об уходе, иначе его уволили бы с формулировкой: «не соответствует занимаемой должности». Это было очень большим ударом для Василия. Другой бы плюнул и спокойно занялся поисками работы, а он пошел искать правду, но не успел найти ее. Ему, человеку, привыкшему к механическому ритму, это казалось верхом несправедливости, трагедией, по сравнению с которой предательство дочерей Лира выглядело мелкой семейной ссорой.

Жена его, романтическая особа, начитавшись глупых любовных романов, постоянно требовала от него красивой любви. Ей хотелось, чтобы он все время чем-то жертвовал ради нее, все равно чем, важен был сам факт жертвы. Василий в меру своих сил и способностей соблюдал правила игры; даже если звонил ей с работы, обязательно говорил, что

пожертвовал ради звонка обеденным временем. Эта ленивая сладострастница представляла себе любовь некой бочкой с медом, из которой можно было черпать всю жизнь, была бы ложка. Она искренне считала, будто всю себя без остатка отдает мужу, требовала того же и очень удивлялась, если он так же искренне не понимал, что она отдает ему и где лежит то, что она отдала. Единственное, что он действительно получал в избытке,— это постоянные упреки в бесчувственности и нежелании жить лучше. В день, когда Василий уволился, он узнал, что у жены тоже есть любовник и она уходит к нему, так как тот жертвовал ради нее собственной семьей. Василий как-то упустил из виду, что у жены могут быть похожие взгляды на жизнь.

Не менее страшным ударом было для Василия то, что любовником жены оказался его лучший друг. Представления о дружбе у него были самые традиционные, почерпнутые из литературы. Василий требовал от дружбы того же, чего требовала от него жена, то есть жертв и доказательств верности. И его не смущало даже то, что сам он не очень-то соблюдал эти правила.

Гораздо больше, чем предательство, Василия поразило лицемерие друга, который совсем недавно сочувствовал ему и хвастался своей женой, крикливой, работающей бабенкой с милицейскими замашками. Подумав, Василий решил, что друга толкнуло на это, во-первых, ложное чувство новизны, а во-вторых, обычная лень, нежелание поискать себе подругу где-нибудь на стороне.

Три удара такой силы за один вечер вывели Василия из унылого, пассивного состояния. Желая отомстить, он сообщил жене, что едет к любовнице, но та даже обрадовалась, сказала, что давно знает о ее существовании от того же друга.

Не предупредив о приезде, Василий нагрязнул к своей возлюбленной в самый неподходящий момент — у нее кто-то был. Его молодая любовница тоже имела самые чудовищные представления о жизни, почерпнутые из тех же глупых книжек, фильмов и рассказов подруг. Она считала, что дарит ему самое драгоценное, чем обладает человек — свое молодое тело, и относительно себя была, конечно, права. Она действительно представляла собою тело без каких-либо признаков одушевленности. Девушка требовала за свою любовь довольно большую плату в денежном эквиваленте. Василий давно уже залез в долги, часто перезанимал, чтобы отдать, но долги росли, их накопилось так много, что, перезанимая, уже нельзя было отдавать.

Василий потребовал, чтобы девушкапустила его, но возлюбленная устроила ему скандал прямо на лестничной площадке. Она обозва-

ла его старым, облезлым козлом, и Василий догадался, что в данный момент у нее в постели лежит молодой волосатый «козел», скорее всего тот самый друг детства, которого он уже однажды видел в этой квартире.

Весь вечер и всю ночь Василий ходил по городу и думал. Думал он не о работе, не о жене, не о друге и не о любовнице. Он думал о себе, о том, к чему пришел в свои сорок лет и чем он был для этих людей, которые, будто сговорившись, бросили его в один и тот же день. Эти события помогли ему увидеть себя совершенно в ином свете. Василий понял: жизнь потрачена впустую, все эти годы он обманывал себя, и судьба правильно поступила, вывернув наизнанку все, что он считал незыблемым и ценным. Это было пятым и, пожалуй, самым сильным ударом для Василия. Как ни странно, переоценка ценностей укрепила его дух, и он решил, что каждое из этих пяти событий стоит того, чтобы покончить с собой. — Антон увидел, как Елена Александровна подалась вперед, развел руками в стороны и продолжил свой рассказ: — Впервые в жизни он, может быть, что-то по-настоящему почувствовал. Василия как будто посетил гений, который до сих пор либо совершенно не интересовался своим подопечным, либо не имел возможности себя проявить. В общем, Василий придумал нечто очень оригинальное. Он решил выйти ночью на мост через реку, съесть две упаковки быстродействующего снотворного, привязать к перилам моста слабую веревку, надеть на шею петлю, выстрелить в голову и, упав с большой высоты, утонуть.

Елена Александровна вскрикнула, сильно побледнела и откинулась на спинку стула. Она закатила глаза и начала медленно сползать вниз. Все, кто был в комнате, повскакали со своих мест и кинулись к ней. Антон хотел было помочь, но Александр вклинился между ним и матерью и прошипел:

— Я же говорил тебе, чтобы ты не приходил сюда.

Елену Александровну унесли в спальню, и Антон остался один. Некоторое время он сидел, не зная, что делать: уйти или дожидаться каких-нибудь сведений о Елене Александровне. Наконец из спальни вышла Наташа. Она молча села на стул и протянула Антону исписанный лист бумаги.

— Ради бога, простите меня, я не думал, что этим все кончится, — забормотал Антон.— Я совершенно не понимаю, что произошло. Эта дурацкая история...

— Прочти вот это, поймешь, — ответила Наташа. — Это прощальное письмо папы. Все читать не нужно, оно очень длинное и личное.

Начни вот отсюда. — Наташа ткнула пальцем в строчку, и Антон принялся читать.

«...Мне не хотелось уходить из этого мира, пошло удавившись, и с синим высунутым языком висеть посреди комнаты, как разделанная коровья туша. Не хотелось заливать комнату кровью, так же пошло вышибив себе мозги пулей. Мне противно было думать о том, как я, будто забеременевшая брошенка, наглотаюсь таблеток и сдохну от слабости в собственной блевотине. Скучным мне казалось и сигануть вниз с десятого этажа, словно сорвавшийся с балкона алкаш. Ну а топиться моряку вообще как-то не пристало. Но собрать все это вместе, убить себя всеми пятью способами одновременно казалось мне верхом смелости. Это был бы не малодушный порыв, не минутная слабость, а сознательный холодный расчет. Но в тот вечер, когда я собирался все это проделать, когда уже были написаны прощальные письма, дети спали, а тебе я сказал, что пойду прогуляюсь, меня посетила сама смерть. Она пришла ко мне в нашу маленькую кухню, и я сразу узнал ее. Бледная, с ввалившимися глазами, она села напротив и сказала мне следующее: «Ты так упорно искал меня, что я пришла сама. Нравлюсь ли я тебе? Нет? Тогда слушай. Ты сюда не просился, но и уйти отсюда по собственному желанию не можешь. Как это ни глупо звучит, здесь, в этом мире, живут только те, кому на роду написано жить. Кому суждено было умереть — умерли, кто должен умереть сегодня — умрет сегодня. Давай договоримся: я приду к тебе, когда у тебя не останется ничего, что удерживает человека не этом свете. Когда ты избавишься от всех своих желаний и привязанностей». Сказав это, она исчезла. Не ушла, а именно растворилась в воздухе. И вот сейчас это время настало...»

Антон перевернул страницу, но Наташа забрала у него из рук письмо и сказала:

— Все, дальше читать необязательно. Теперь ты понял, почему мама потеряла сознание?

— О, господи! — закрыв лицо руками, прошептал Антон. — Кто же знал, что такое может произойти. Это — обычное совпадение. Я выдумал эту историю. Не было у меня никогда никакого знакомого Василия.

Наташа пожала плечами и равнодушно ответила:

— Я знаю. Какая разница, Антон?

— А почему вы не вызовете врача? — спросил Антон.

— Потому что сюда никто не поедет, — ответила Наташа. — Это же не Москва. К нам даже дороги нет. Ничего, маме уже лучше. Она пришла в себя.

Антон трясло, словно в лихорадке. Причем недомогание и дрожь появились у него давно, но он приписывал это усталости, а сейчас он вдруг понял, что у него самый настоящий жар.

Узнав, что Елене Александровне лучше, Антон встал, немного помялся и неуверенно произнес:

— Тогда я пойду. Может, все-таки вызвать врача? Я сбегаю. — Сказав это, он тут же понял, что как раз сбежать у него не получится. Ему было трудно даже стоять, и он оперся о спинку стула.

— Не надо, — ответила Наташа. — Это не в первый раз с ней. Саша делает уколы лучше любого «мясника» из «Скорой», а больше они ничего и не могут.

Из спальни вышла Ниночка. Видно было, что она плакала, и Антон с новой силой ощутил свою вину перед этим семейством. Он еще раз извинился, пожелал всем спокойной ночи и отправился было к двери, но остановился и сказал:

— Ниночка, можно тебя на минуту?

Ниночка удивленно посмотрела на него и подошла.

— Не ходи завтра с Зурабом в лес, — на ухо прошептал Антон. Нина испуганно посмотрела на него, а он добавил: — И вообще Зураб — сволочь. Будь с ним осторожнее, а лучше пошли его подальше. — Не дожидаясь вопросов, Антон тихо закрыл за собой дверь и вышел из дома.

На улице Антон почувствовал себя еще хуже. Жар сменился ознобом, теплый ветер обжигал тело холодом, и оно моментально покрылось гусиной кожей. Антон, как пьяный, наклонился вперед и, едва успевая переставлять ноги, почти побежал в сторону Гагры. Он торопился на вокзал, надеясь успеть сесть на любой из проходящих поездов хотя бы и без билета. Он даже представил себе полутемное, душное купе с постелью на второй полке, мягкое покачивание вагона и перестук колес. Картина была такой яркой и приятной, что Антон совсем позабыл о темном пляже, по которому шел. Неожиданно он споткнулся о камень и упал. Песок, не успев остыть, был теплее воздуха, и Антон прижался к нему всем телом, начал подгрести его под себя, чтобы согреться. Он расслабился, и это немного помогло ему — дрожь уменьшилась. Антон впервые задумался, что с ним произошло. Перебрав в уме вынужденное долгое купание ночью, завтрак, сидение на солнце, Антон вспомнил грязную болотную воду, попавшую в шприц. Он прижался щекой к теплему песку, закрыл глаза и подумал, что из этой переделки он вряд ли выплывет, потому что больше бревна не будет. Но это несколько не напугало его. Наоборот, он подтянул к себе кейс, с

трудом сел и после долгих неловких приготовлений сделал себе укол. Через некоторое время он сделал себе второй укол, а затем и третий. Затем, отбросив шприц, Антон достал письмо Елены Александровны и закопал его в песок.

Как он и хотел, в купе был полумрак. Антон лежал на мягкой постели на верхней полке и покачивался вместе с вагоном: вверх-вниз, вправо-влево. Правда, не было слышно перестука колес, поезд шел в абсолютной тишине, словно на резиновых шинах по ковру. В окно светили невероятно крупные звезды, каждая величиной с яблоко.

— Какие огромные, — восхитился Антон.

— Да, — ответил ему голос снизу из темноты.

— А что это за поезд? Куда идет? — спросил Антон, воспользовавшись тем, что сосед по купе не спит.

— В Бардо, — ответили снизу.

— Бардо, Бардо, — забормотал Антон, вспоминая, где слышал это слово. — Название вроде бы украинское.

— Тибетское, — ответил голос.

— Да, кажется, тибетское, — успокоился Антон и с удовольствием перевернулся на спину. Глаза его сами собой закрылись. Он вспомнил Елену Александровну, свою последнюю историю и подумал, что, наверно, воспоминание о смерти — это единственное что остается у человека в памяти о прошлой жизни.

1992

□□□□□

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Мансуров

ЩЕНОК АКУЛЫ

3

«ВСЕ ДИНОЗАВРЫ — ПРИДУРКИ!»

16

Дмитрий Учитель

ЧЁРТОВО КОЛЕСО (ВМЕСТО КИНО)

33

Ерофим Сысоев

АВОКАДО (*Тантра*)

36

Наталья Разувакина СТИХИ	50
Константин Кравцов СТИХИ	69
Ольга Иванова СТИХИ	85
АММОНАФА И СИГИЦ ФРАНЦУЗСКИЙ НА МАРОСЕЙКЕ	99
Дина Дронфорт СТИХИ	188
Владислав Козьминых СТИХИ	194
Сергей Калабухин СТИХИ	198
Дмитрий Учитель СТИХИ	208
Андрей Саломатов СИНДРОМ КАНДИНСКОГО	210



**Литературный
альманах
«ЭДИТА» 2025-2**

**ЛИТО
«Edita Gelsen»**

edita gelsen

logobo2023@gmail.com

ISBN 978-3-911546-23-2